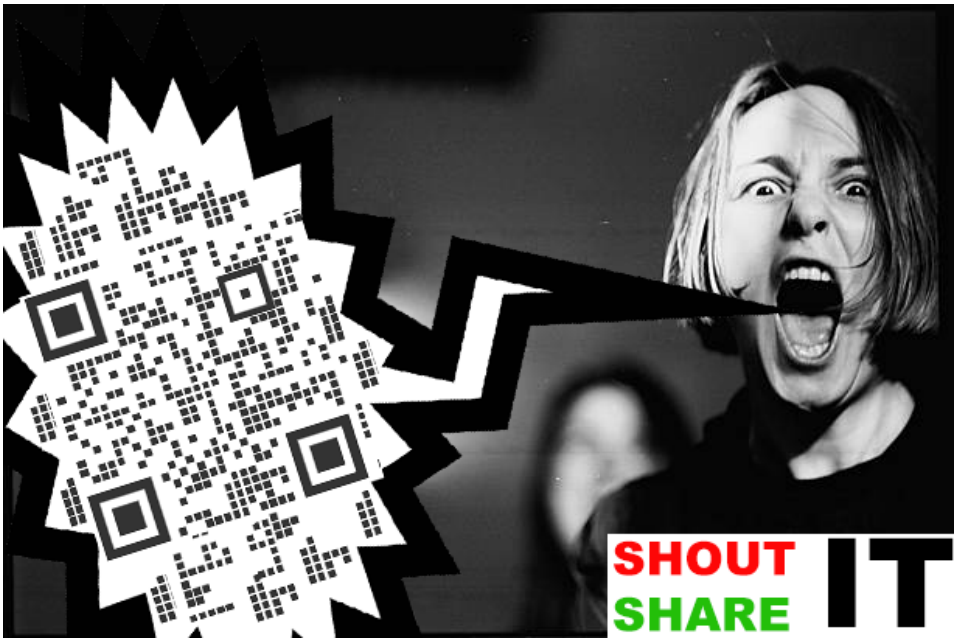
СЕЛИМ ЯЛКУТ

ЛЬВОВСКИЙ ПЕЙЗАЖ С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге собраны написанные в последние годы повести, в которых прослеживаются судьбы героев в реалиях и исторических аспектах современной украинской жизни. Автор — врач-терапевт, доктор медицинских наук, более тридцати лет занимается литературой. В издательстве «Алетейя» опубликованы его романы «Братья», «Ампрант», «Ходили мы походами» и «Скверное дело».

- Селим Ялкут
  - Человек с планеты Черновцы
  - Соседи
  - Львовский пейзаж с близкого расстояния
  - Кременец — вид с горы и на гору
  - Уроки колдовства
  - Сказанного достаточно, чтобы сделать любые выводы
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Селим Ялкут
Львовский пейзаж с близкого расстояния

Человек с планеты Черновцы
Авантюрно-документальная повесть

Сочетание слов — *авантюрно-документальная* кажется неожиданным. Но более точного определения к этой истории не подберешь. Еще одна ее особенность — отсутствие вымысла, повесть достоверна, насколько может служить документом рассказ о собственной жизни.

Автор сохраняет глубокое уважение к своему герою. Некоторая ирония, присутствующая в отдельных эпизодах, соответствует ироничной интонации самого рассказчика. Пока длилось повествование, его главный и единственный персонаж лежал, покуривал, посмеивался, пил кофе и спокойно дожидался смерти.

Прошлым летом я побывал в Черновцах. Была какая-то необходимость в такой поездке, хоть объяснить я ее не мог. К тому же просидеть лето на одном месте, если к этому не вынуждают обстоятельства, обидно и несправедливо. С годами увлечение краеведением утрачивает праздную беззаботность и приобретает личный характер. Оно может быть исполнением мечты, может быть бегством, той самой осознанной необходимостью, которая заменяет поиски свободы. Достопримечательности нового места оказываются второстепенными в сравнении с другим и главным. Затертому среди привычных каждодневных обязанностей, мне хотелось обнаружить новую ноту, цвет, настроение. Так вытаскивают карту из колоды — наудачу, в надежде на неопределенное авось. В незнакомом городе случается пережить это особое ощущение, которое заменяет в зрелом возрасте охоту к приключениям.

С Черновцами ничего стоящего, на первый взгляд, не вышло[1]. Не нашлось знакомых, чтобы устроиться на квартире — в месте, вводящем прямо в городскую среду. Гостиница убивала надежду. Вечером почти все окна оставались темными. Судя по вывескам, несколько этажей сдавалось разным фирмам. Казенным видом, запахами сырого белья, коридорной пыли и ресторанной еды, собранными в один букет, гостиница отвергала мысль о легком, досужем прожигании времени. Это было место для командировочных или бизнесменов, пожалуй, чуть ниже среднего. Приметы сервиса указывали на это с обескураживающей прямотой. Это был знак. Наверно, поэтому и прочие впечатления были разрознены, банальны и не сулили

ничего интересного. Город был наполнен провинциальной скукой. Наступала осень, бессолнечный полдень нагонял уныние. Троллейбус долго простаивал на остановках и тащился, раскачиваясь на вековой мостовой. Качество укладки дорожного камня скрепляет в Европе не только пространство, но само время, у нас мостовые перебирают постоянно. Проплывшая за окном парикмахерская звалась «Авесаллом». Крестьянского вида парень, переругиваясь в толчее, тащил наружу ухарский барабан с приделанными поверх тарелками. От Кафедрального собора разносились во все стороны звуки воскресной службы, а с тыла за оградой бодро дудел, укрывшийся под тентом, диксиленд. Я заглянул внутрь в поисках недавнего парня с барабаном (такие находки-совпадения в чужом городе радуют и запоминаются), но здесь были ребята рангом повыше в рубашках с отложным воротником и глаженых брючках, бравые сорокалетние улыбчивые мальчики. Джаз омолаживал их, как рекламное средство от простатита. Кларнет взвыл. Молодожен вынес невесту из Дворца бракосочетания под звуки марширующих святых.

Улицы подальше от центра пустовали, несмотря на погожий воскресный день. Два бородача, устроившись под стеной, срисовывали в блокноты здание старой синагоги, похожее на кубик с большой розой окна. Архитектура синагог не подчинена единому канону и привлекает досужий взгляд неожиданно. Во дворе напротив с запущенными до жути парадными громко стонала женщина. Большой двор был пуст, как вывернутый наизнанку карман, песочница, качели, скамейки застыли, как в музее под открытым небом. Вместо банальной картины полдня, заполненной играющими детьми и стариками, запасающими на зиму тепло и гемоглобин, жизнь проявляла себя мистически. Это было странно, но именно так. Сверху мужской голос невнятно бубнил, уговаривая женщину. Комната была на третьем этаже, окна открыты и даже виден был край потолка. По-видимому, женщина рожала, стоны были размерены и ритмичны. Двор внимал им в полной тишине. Окна со всех сторон, а их были десятки, глядели мертво — темные и пустые. Становилось как-то не по себе, без шуток. Более убедительный сюжет о рождении шестипалого младенца нельзя было придумать.

Дальше все тоже. Улица перетекла в другую, столь же заброшенную и пустынную. Но вот обнаружилась Никольская церковь — древняя и умилительно невзрачная. Сидя в глубине горбатого травянистого дворика, напротив распахнутых ворот, удобно было наблюдать, как бредущие в обе стороны люди — озабоченные и спешащие (так в мультиках для взрослых изображают городскую суету) останавливаются, замирают,

крестятся с кивком головы, и следуют дальше.

Приятнейшее занятие — сидеть вот так, ничего не делая, под бревенчатой церковной стеной.

Удивительное зрелище являл вокзал. Он располагался в нижней части города и был неправдоподобно пуст. Отсутствовали не только пассажиры, казалось, из гулкого зала выкачан сам воздух. Вокзал был похож на старые фотографии, невысокое здание (оно и есть тот самый *старинный* вокзал), стоящее одиноко, с паровозом, выглядывающим с тыла, и заблудившейся фигурой в служебной фуражке. Все именно так и осталось, как на старом фото, вплоть до замерших во времени прохожих. Только они оживляли картину. Здесь был конец пути, обрыв, граница. Троллейбус уходил дальше на мост через обмелевший к осени Прут, проплывал неспешно в прозрачном воздухе, делал за мостом разворот, и возвращался назад, взбираясь по булыжному спуску в город.

В кафе наверху школьницы запивали водку апельсиновым соком и танцевали, каждая сама по себе.

Черновцы всегда были с краю, такова особенная судьба этого города — на краю Австро-Венгрии, Румынии, Советского Союза, а теперь Украины. Как малая планета из фантастических рассказов, город удерживал собственную атмосферу, хранил свой воздух, свой стиль. Менялась политическая география, история, население, и только Черновцы оставались (и остаются) в стороне, поодаль от остального мира. В эпоху государственного дробления это особенно заметно. Чтобы вернуться отсюда в Киев, нужно заезжать в Молдавию и выезжать оттуда, дважды предъявляя паспорта и поклажу для досмотра. А посреди заброшенная станция, по которой бродят неприкаянные пограничники, а пассажиры бросаются покупать молдавские вина и коньяки. Здесь они, говорят, дешевле и лучше — местное *дьюти фри*, развлечение и вознаграждение за дорожную скуку.

Черновцы были похожи на человека, лежащего с повязкой от головной боли. Он может многое рассказать о себе, но сейчас не время и расспрашивать неуместно.

В здании городского музея когда-то был банк, теперь мраморные лестницы скудно увешаны картинами. Трубы отопления изношены, здание заливает, зимой здесь холодно и сыро. Залы заполнены гуцульскими вышивками и пасхальными яйцами — *писанками*. Это все, что запомнилось. Если живешь в империи, нужно быть готовым к упадку. А Черновцы жили в двух.

Интеллигентный моложавый еврей объяснил дорогу на базар. Таково впечатление, что он оставлен здесь для подпольной работы.

Город ощутимо присутствовал и оставался неуловимым. Это было мистическое ощущение, когда вытянув вперед руки, пытаешься наощупь ухватить нечто, неизвестное самому. В каком-то смысле крайняя запущенность, а она присутствовала буквально во всем, городу даже шла. В ней было безразличие и стоическая покорность судьбе. Прошлое не исчезло, оно растворилось, перешло в другое измерение. Остались улицы и дома, это сохранилось и давало ориентир с точностью стрелки компаса. Стрелка указывала в прошлое. Оставалось найти формулу измерения.

Когда я спросил, каким Ф. Б. помнит город своего детства, он не сомневался. — Ну, это Вена. Буквально, только поменьше.

Европа ушла отсюда, как вода после дождя уходит сквозь решетки мостовой. От империи Габсбургов к королевской Румынии, к Советскому Союзу и теперь — к Украине. Те, кто мог сбежать — сбежали, кто хотел уехать — уехали, а сам город оторвался от Европы, как отрывается льдина от ледового массива, унося навстречу опасному приключению оставшихся на ней людей.

Я вернулся домой, недовольный поездкой. И потому зашел к знакомому — переводчику с немецкого. Есть книжка его переводов австрийского поэта Пауля Целана. Юность Целана прошла в Черновцах. Знакомый должен был что-то знать о городе. В доме царила суета. Хозяин, скорчившись за кухонным столом, пытался работать на компьютере, заглянувшая подруга демонстрировала хозяйке новую шляпку из соломки (осень еще не торопила), юная дочь собиралась в первое взрослое путешествие в Крым, а в коридоре дальняя родственница преклонных лет пыталась сосчитать дни, чтобы не опоздать к предварительной продаже билетов. Только меня не хватало. Вопреки слабой надежде, ничего подходящего о Черновцах в доме не нашлось. Нет, было, конечно, на немецком языке, но немецкий был мне неведом. Зато я получил неопределенное обещание познакомить с директором Австрийской библиотеки, оказалась, есть и такая — дар правительства Австрии. — Но скажи, что ты хочешь? — Уточнял хозяин. Я мычал. Если бы знать самому. И вдруг его осенило. — Слушай, тебе нужно с Г. познакомиться. Ну, конечно. Поговорите. Ты ему полезен будешь, как врач, он тебе — с твоей любознательностью… И, демонстрируя не свойственную ему решимость, хозяин взялся за телефон.

Так я познакомился с Фридрихом Бернгардовичем и очень необычной историей его жизни. И, хоть его рассказ (он растянулся на много встреч) выглядел простым, без фантазии и желания, грубо говоря, приврать, многое казалось просто

невероятным. Мое уже немолодое поколение прожило спокойную размеренную жизнь, войны, казалось, остались позади, перейдя в эпос и телесериалы. Грядущими катаклизмами постоянно пугали — и раньше, и теперь, когда пришла новая эпоха (соседнюю Молдову война не миновала), но жизнь шла своя, размеренная и скучноватая. И, хоть добывание денег стало отчасти приключением, ничего опасного для законопослушного общества не случалось. По крайней мере, пока. А тут историю века я получал непосредственно от живого свидетеля. Это было просто невероятно.

Я вспомнил передачу по западному радио о Черновцах с участием этого человека. Негромкий, надтреснутый, как бы немного потусторонний голос, тихо вещавший о немыслимо далекой жизни. Кембридж, Италия, Европа, и все это в обстоятельствах одной биографии. И рассказчик не где-то *там*, а здесь, где судьбы, в конечном счете, выглядят похожими. Это надо же, — так я тогда подумал. И добраться до этого человека оказалось не так сложно.

Есть такая игра. Кольца набрасывают на торчащий из доски стержень. Так и с обстоятельствами нашего знакомства, одно точно ложилось на другое. Как-то, в те дни я чаевничал у доброй знакомой, подрабатывавшей редактурой, и назвал ей имя этого человека. Г.? — Переспросила она. — Ну, как же. Я расшифровывала его интервью.

Оказывается, несколько лет назад Г. разыскала организация, занимающаяся еврейской культурой. Ее сотрудники записывали жизненные истории. Конечно, история Г. представляла интерес. Но на беду интервьюерши, у нее оказался плохой диктофон, и ответы на многие вопросы вышли неразборчивыми. Повествования, годного для публикации, не получилось. Интервью легло на полку. — И оно у тебя? — Спросил я, удивляясь и замирая. Все оказалось на месте, расшифрованная запись с пропусками фраз и целых кусков текста, замененных многоточиями. Даже сами пленки сохранились. Добыча оказалась богатой только на первый взгляд. Разобрать намного больше, чем было уже сделано, увы, не удалось. Но появилась возможность сравнить результаты моих бесед с Г. и того давнего расспроса. Сама по себе жизнь Г. казалась настолько невероятной, что проще было поверить в выдумку, чем в реальность. Но с учетом временного интервала (за который случилась болезнь, сделавшая Г. инвалидом), выдумка должна бы себя обнаружить. Придумать и соврать не мудрено, но затвердить придуманное слово в слово, на годы вперед весьма непросто. И зачем? А пока я выяснил следующее. В свои восемьдесят четыре года мой собеседник

обладал удивительно ясной памятью. Нынешний рассказ и те прежние воспоминания совпадали в мелочах, подробностях, второстепенных фактах и фамилиях.

Но только там, где сам Г. хотел этого. Я обнаружил, что мой собеседник скрыл от меня немалую часть биографии. Несколько лет он работал на те самые *Органы*, которые видятся теперь исключительно в зловещем свете. Кое-что он рассказывал и мне, но цельная картина никак не складывалась. Г. о чем-то умалчивал, это чувствовалось. Во время предыдущего интервью он не нашел в той давней работе ничего предосудительного, зато сейчас счел за лучшее умолчать.

Теперь картина заполнилась. Черновцы и Г. соответствовали друг другу с впечатляющей точностью. Что можно сказать? Это был чужой *нам* человек, здесь подходит это слово *чужой* или даже *чуждый*, чтобы определить глубинные различия в мироощущении. Все дело в той самой предыдущей жизни. Мы не выбираем место рождения и взросления, и, как бы не были отчуждены от него последующей переменой участи — по собственному выбору или вопреки желанию, несем на себе то самое родовое клеймо. То, что осталось с детства, можно забыть, стереть с поверхности памяти, но нельзя переиначить. В отличие от Пьера Прудона, Г. не считал собственность криминалом и не видел ничего предосудительного в фабриканте, как мы не видим подобного во владении автомобилем или дачей. Тут он был гораздо последовательнее нашей номенклатуры и подсуетившихся дельцов, которые сделали всё (по отношению к соотечественникам), чтобы подтвердить радикальную точку зрения: *собственность — есть кража*. Пробыв семь лет в советских лагерях, Г. называл рабство — рабством, как понимал это с детства, и не искал смягчающих аргументов. По воспитанию, он оставался *вне* нашей истории, он просто вляпался в нее, провалился, как проваливаются в открытый канализационный люк.

И при этом многие годы он жил одной с нами жизнью. Жил и не трогался с места. Даже не собирался. С восемьдесят восьмого года, он получил возможность выезжать за рубеж, посещал Европу. Я видел его фотографии на фоне Эйфелевой башни, и рядом с флорентийским Давидом. Когда первый раз он приехал в Германию, еще были живы друзья, одногодки и совсем дряхлые ровесники его отца. Почему он не остался с ними? Его, кстати, уговаривали. Богатейшая племянница, приумножая капиталы, сновала между Тель-Авивом и Франкфуртом. Она и сейчас, наверно, жива. Я видел ее фотографию. С мужем. Румяные старики, будто с фарфора. Танцуют. С обратной стороны открытки — Дорогой Фриц… это все, что я с моим знанием

немецкого мог разобрать. И подпись — Фрида. Был еще жив его итальянский племянник, он умер совсем недавно, позвонили из Триеста, я, как раз, находился у Г. Почему он остался? Мой вопрос. Жена не хотела ехать. А потом? После ее смерти? Я вспоминал знакомых, изнывающих при мысли о заграницe, и не мог найти объяснений. Родной язык — немецкий, не нужно учить, не нужно вживаться в быт, искать (*подбирать* — как говорят наши эмигранты) жилье. Статус бывшего заключенного. Неплохое пособие. Пенсия… А на кого я оставлю собак? Это его вопрос. Всю жизнь, когда позволяли обстоятельства, он держал собак. Сейчас их было трое — Донна, Мицци и третья, имя которой я позабыл. Маленькие и мохнатые, как белки, они копошились между ним — лежащим и стеной, возле которой стояла кровать, время от времени спрыгивая на пол и забираясь назад через неподвижные ноги. На полу был расстелен большой лист полиэтилена и стояла миска с едой. За этим следила женщина, заглядывавшая на пару часов.

Его аргументы были похожи на мешки с песком на баррикаде. Они не выдерживали натиска серьезных доводов, но за ними была решимость отстоять себя, сила личности, принявшей брошенный ей вызов. Здесь оказался выстроенный им мир, здесь — могила его жены, здесь его собаки, в этой же стране родные Черновцы — детство и юность, лучше которых не будет уже ничего. Во всем этом была цельность. Куда ехать? Человек, был всю жизнь независим не для того, чтобы в ее конце изменить самому себе.

Это еще до того, как случилась беда с ногой. Потом его бездарно лечили (за деньги, так платная медицина доказывала свое преимущество над бесплатной), и он оказался прикован (очень точное здесь слово) к кровати. Брошенный людьми, на которых, казалось, мог рассчитывать, он лежал, смотрел целыми днями телевизор. Кабельное телевидение работало в его доме, как нигде в городе (тут ему невероятно повезло) — шли немецкие, итальянские программы. Он читал немецкие газеты и *Ридерс Дайджест*. Мне сообщил доверительно. — Вы себе не представляете, как трудно умереть.

Я провел с ним немало часов, как правило, по воскресеньям. Брал ключ в квартире этажом ниже, и бросал туда же, в щель почтового ящика, уходя. Пару раз соседка заносила угощение, основательные, жареные на масле пирожки. И больше никого. Телефон беспокоил пару раз за все время. Я варил кофе, мы покуривали и общались. Пирожков Г. не ел, желудок не принимал, но собачкам они были кстати. Вообще, ел он мало и несколько раз брался голодать, неделю он преодолевал спокойно и считал полезным. У него был опыт. Г. был вполне живой

человек, и, если считаться с тем, что часть естества отмирает еще при жизни, мог дать фору гораздо более молодым. Он был наделен стоическим достоинством умирающего человека. Отношение к уходящей жизни оставалось легким и даже немного капризным — почему приходится столько ждать? Все это не могло не вызывать сочувствия. Некоторая ирония, присущая отдельным эпизодам, соответствовала интонациям самого рассказа. Умер он за день до дня рождения, восьмого марта ему бы исполнилось восемьдесят пять. Он умер седьмого. Так прошло наше общее время с октября по март.

Далее следует история жизни Фридриха Бернгардовича, слово в слово.

Из анкеты. Фридрих Бернгард Гольдфрухт родился 8 марта 1918 года в городе Черновцы, в последний год существования Австро-Венгерской империи. В том же году город стал румынским, Австро-Венгрия распалась. К тому времени его отец — Бернгард Гольфрухт был врачом в австрийской армии, мать — Фаня Фридман медицинской сестрой. Отец закончил Венский университет с дипломом врача, был лучшим в своем выпуске. Родители поженились в 1900 году, в 1901 году родилась сестра. Фридрих был поздним ребенком, отцу было 50, матери — 37.

Как отец воевал. За участие в войне отец был награжден орденом Австро-Венгерской Империи *Viritute Military* — За военную доблесть. Отец — равнодушный к чинам и отличиям — этим орденом гордился и в торжественных случаях носил, даже когда Черновцы стали румынскими (во время войны Румыния воевала против Австро-Венгрии на стороне Антанты). Отец в чине полковника командовал крупным армейским госпиталем. В Карпатах шли тяжелые бои с участием кавалерии, пехоты, много было раненых, больных, обмороженных. Линия фронта часто менялась, раненые австрийцы оставались с русской стороны, русские — с австрийской. Примерно раз в месяц отец надевал парадный мундир, садился в седло. Объявляли короткое перемирие и во главе госпитального обоза с ранеными отец отправлялся на русские позиции. Там он сдавал раненых русских, а взамен получал своих. На этот счет была договоренность с противником. Лечил он всех одинаково. Русские его знали и встречали очень тепло. Врачи и сестры враждующих армий, встречаясь, обнимались, как близкие люди, будто не было войны. Все они — русские офицеры и солдаты были очень хорошими людьми, именно так — не только солдатами, но людьми, вспоминал доктор Гольдфрухт. Австрийских медиков поили чаем,

в спокойное время устраивали застолье, и всегда давали с собой сало (доктор его не ел), головки сахара, мед.

Во время войны Черновцы несколько раз переходили из рук в руки, город попеременно занимали русские, румыны или отбивали австрийцы. В самом городе боев не было. О русских сохранились наилучшие впечатления, не было грабежей, никакого мародерства (в отличие от румын, те грабили). В дела городского управления русские не вмешивались. Бургомистр, чиновники оставались на своих местах. Во время русской оккупации доктор Гольдфрухт находился со своим госпиталем в Черновцах, ходил в военном мундире, только погоны снял. В его госпитале солдаты враждующих армий лежали рядом. Вообще, для тех Черновцов национальная терпимость была естественна. И до войны в многонациональном городе было много *рутенов* — так звали украинцев, русский язык слышался на улицах. И межнациональные отношения с войной не изменились.

Отец был невысок, плотного сложения, на лошади сидел хорошо. Со времени войны осталась именная австрийская сабля. Была фотография матери в косынке с красным крестом, всю войну она была рядом с мужем.

Верните нам синагогу. Родоначальником семьи считался еврейский купец из Франкфурта. Прадед. Хасид. Дед уже имел дело в Черновцах. У них была торговля фруктами. Отсюда и фамилия — Гольдфрухт. В Австро-Венгрии богатым евреям давали титулы. Вернее так, титул можно было купить, он передавался по наследству и отношение к нему было серьезное. Дед Арон бен Ицхак стал бароном. Барон Гольдфрухт, так же, кстати, как и барон Ротшильд, тот тоже был родом из Франкфурта. В Черновцах была улица, доходные дома на которой — более чем столетней давности принадлежали Гольдфрухтам. Там же была синагога в восточном (ориентальном) стиле — с золотым куполом. Двухэтажный дом, внизу жил раввин, сама синагога наверху. Над главным входом надпись: *Синагога построена Ароном цадиком Гольдфрухтом.* Помещение небольшое, примерно на сто пятьдесят человек, всегда переполнено. Там молились хасиды. В отличие от своих родителей, Бернгард Гольдфрухт не был религиозным. Но два раза в году он обязательно посещал синагогу вместе с сыном — на Йом-Кипур и на Пейсах. У них были почетные места рядом с Торой. Сын возле Торы, отец рядом.

Синагогу разорили то ли в 40-м году, то ли позже — сразу после войны. Все это время Фридрих Бернгардович отсутствовал по независящим от него обстоятельствам, а именно, сидел в

тюрьме и лагере. Похоже, что ломать начали при румынах, а дело довершили уже наши, советские. Румыны — в силу политики государственного антисемитизма, а советские — из принципиального отношения к религии, закрывали все храмы подряд. Тору, похоже, уничтожили при Советах. Старики-евреи, воспитанные в уважении к чужой собственности, еще долго на что-то надеялись. Когда в сорок седьмом году Гольдфрухт вернулся из лагеря, к нему явилась целая делегация. Просили обратиться к городским властям, объяснить, что синагога принадлежит его семье. Пусть вернут. К тому времени единственным документом Гольдфрухта была справка об освобождении из лагеря. Но люди уговаривали, над входом в синагогу еще оставалась надпись, при желании можно легко доказать. Так рассуждали правоверные иудеи. Но сам бывший владелец уже имел представление о нынешних порядках. Никуда он не пошел. Тем более в здании синагоги к тому времени обосновалось общежитие.

Собака, которая съела луну. Дед со стороны матери снабжал австрийскую армию фуражом. В Черновцах стояло немало войск, кавалерии, спрос на фураж был большой и постоянный. Дед жил в большом доме с вензелями над входом — МФ — Мишурин Фридман. Ко времени рождения Фридриха дед умер, и мальчика назвали в его честь — еврейское — Мишурин соответствует немецкому — Фридрих. В живых еще оставалась одна из бабушек — мать матери. Маленький Фриц запомнил ее так. Старая женщина лет семидесяти. Нос картошкой. Принимала родственников, сидя в глубоком кресле, на голове парик, мальчику он казался серебряным. Жила в том самом доме с вензелями. Когда началось воспаление легких, отец забрал ее к себе. Но спасти не удалось, бабушка умерла в 1926 году. Похоронена в Черновцах.

Тогда семейной историей Фриц не особенно интересовался, он взрослел, были свои интересы. Знает, что деды с обеих сторон были двоюродными братьями. У евреев это разрешалось. Ему запомнился дядя матери — Мойша Фридман, дядя Мойша. Материнская семья была родом из Садгорода (Садогуры). Тогда это был черновицкий пригород. В этом Садогуре был раввин, который считался *бунда* — чудо раввин. Это и был Мойша Фридман — очень святой человек. Молиться рядом с ним почиталось за величайшее счастье. Со всей Буковины собирались. Дед запомнился Фрицу. Дряхлый старик, еле двигался, глаза красные, очки необычайной толщины. Сидел целый день и постоянно читал молитву, бубнил размеренно и раскачивался.

Ничто другое его не интересовало. Отец просил за ним смотреть, чтобы хоть немного ел. Благодаря этому человеку, евреи считали Садогуру святым местом. В новые времена в тамошней синагоге сделали кузницу.

Мать рожала Фрица дома, отец принимал роды. Фриц хорошо помнил себя с трех лет, когда его пытались отдать в детский сад. Из этой затеи ничего не вышло, Фриц был очень энергичный мальчик. У него была французская бонна. И еще большая собака — Мури. Как-то бонна усадила собаку на подоконник. Стены в доме были очень толстые, подоконники большие. За окном сияла луна. Потом луна скрылась за облаками, и бонна пояснила: — Это Мури съела луну.

Негативы были тогда на пластинках. Фридрих всю жизнь был большим любителем фотографии. Однажды после возвращения из лагеря он проходил по черновицкому базару. Торговали тогда, чем угодно, любым старьем. Какая-то женщина вынесла целый ящик этих фотопластинок. Фриц присел рядом и нашел среди пластинок себя, четырехлетнего.

Как отец работал. Это был известнейший человек в городе. В доме перебывал весь цвет местного общества. Репта — митрополит Буковины был другом семьи. Приходил Дори По́пович — румынский министр по делам Буковины, в Черновцах — лицо номер один, больше, чем султан, причём не пьяница, не самодур, культурный человек. Его жена Стелла была лучшей подругой матери. Заезжала почти каждый день на послеобеденный кофе. Мать много занималась благотворительностью, была распорядительницей Еврейского дома сирот и Вице-президентом Красного Креста Буковины (выше мог быть только румын). Кофепитие было не только приятным, но полезным и, если хотите, политическим.

Отец был Председателем городской коллегии врачей. Он же организовал в Черновцах *Скорую помощь*. Для начала купил военную медицинскую коляску — двуколку. Коляска стояла в пожарном депо. При ней полагались врач и санитар. Потом, за собственные деньги доктор Гольдфрухт добавил к коляске машину. Вторую машину купили уже на деньги общества. За оказание помощи денег не брали, только за перевозку, и то, если было, чем платить. Скорая помощь содержалась на пожертвования. Отец всем этим ведал, он был Председателем добровольной общины Скорой помощи.

Домашний кабинет включал операционную, лабораторию, физиотерапию. По сути это была небольшая частная клиника. Отец в день принимал до семидесяти больных. Запись велась на

неделю вперед. Своими силами доктор постоянно выезжал в села, за 10–20 километров. Отказа не было никогда и никому, причем многие случаи были исключительные. Аппендицит оперировал на дому, роды принимал. Кучер (он же дворник) запрягал, специальный экипаж (зимой — сани) всегда был наготове, и они ехали. В поездки отправлялись исключительно на лошадях, за городом была непроезжая грязь. Как-то отец выехал на трудные роды и застрял из-за пурги на три дня. Мать с ума сходила.

Когда советские войска входили в город в 40-м году, в городской тюрьме началась перестрелка с отходившей полицией и охраной, освобождались арестованные коммунисты. Все это недалеко от дома Гольдфрухтов — и лицей, где учился Фриц, и городская тюрьма, выстроенная еще в восемнадцатом веке. Гольдфрухты потом в этой тюрьме побывали. А тогда были раненые из числа заключенных. Все кругом было закрыто, врачи разбежались. Раненых принесли к отцу, он их дома оперировал.

Отец был предан медицине и полностью посвящал себя работе. Вставал в шесть. Принимал душ, одевался, и шёл в кабинет. Выписывал журнал для практических врачей «Art medisin» («Искусство врачевания»), издавался ежемесячно в Вене. Он читал его постоянно, как и массу другой литературы. Сам писал в «Art medisin». В восемь утра брился, завтракал. Завтрак был стандартный (отец был диабетиком): кружка кофе с молоком и сахарином, булочка. Ровно в десять начинал приём.

Первых блюд отец не ел, только вторые, и немного. После обеда уходил к себе, засыпал сидя, с газетой в руках. Спал двадцать минут. Можно было часы проверять. Споласкивал лицо, возвращался в кабинет и работал до вечера. Ровно в одиннадцать отправлялся спать. Исключений — ни для своих, ни для гостей не было. Ровно в одиннадцать.

При нем всегда была сумка с медицинским инструментом и необходимыми на первый случай лекарствами. Когда Гольдфрухты пытались перейти границу, сумка была при нем. Вместе с ним попала в лагерь. В лагере инструменты отобрали, но самого Гольдфрухта назначили врачом. В этой должности он пробыл три дня. Потребовал, чтобы с ними обращались как с военнопленными, по *Международной конвенции*. Действительно, в их черновицком потоке были бывшие военные, был даже престарелый генерал австрийской армии. Умер отец в лагере в начале 1942 года, почти одновременно с матерью. Об их смерти сын узнал много позже, лагеря были разные.

Несчастливая судьба. Сестру звали Хильдегард. Вообще, в доме все было немецкое, и родной язык — немецкий, и детские

имена. Здешние евреи считали себя австрийцами. Бабушка говорила на идиш, а детям запрещали. Отец лет за десять и с большим трудом выучился румынскому, а в доме говорили по-немецки.

Хильдегард была на восемнадцать лет старше брата, в детстве Фриц ее помнил мало. В 24 году она закончила немецкое отделение Пражского университета и вернулась в Черновцы с дипломом фармацевта. Отец арендовал для неё аптеку у некоего аптекаря Стофа, когда тот умер, у его вдовы.

В 25-м году в доме начались большие волнения. Хильдегард готовилась выйти замуж. Женихом был Эммануил (Имре) Кимельман — богатый помещик, владелец полутора тысяч гектаров земли неподалеку от города. Высокий, представительный, сестра была влюблена без памяти, счастлива. Накануне свадьбы, буквально за день, Имре устроил что-то вроде прощания с холостяцкой жизнью. Он был хорошим наездником, сел на любимую лошадь, как и что случилось дальше — неизвестно. Упал с лошади, сломал шею и умер на месте. Вместо свадьбы (день в день) были похороны. Для сестры был страшнейший удар, у нее началась астма. Приступы были очень тяжелые, буквально, спасали от смерти. Хорошо, что отец был рядом. Ездила в Вену на лечение. Сестра мало чем интересовалась, жила как улитка в раковине.

Но бывали светлые дни. Тогда она садилась за рояль, Фриц брал скрипку (его учили с шести лет), и дети играли для отца. Для него это было счастьем. Отец любил Мендельсона, Гайдна, регулярно бывал в концертах.

В сороковом году Хильдегард вместе со всей семьей была арестована. Последующие несколько лет провела в лагере, мать на ее руках умерла. Удивительно, но астма ее почти оставила. Из лагеря сестру перевели в Казань на химический завод, там она проработала до конца ссылки. Советского гражданства не получала и в сорок седьмом ее отправили в Румынию. Поезд больше часа стоял в Черновцах, она боялась отойти от вагона, узнала у кого-то из местных, что брат здесь. Послала за ним мальчишку. Фридрих прибежал и увидел хвост уходящего поезда. Потом они встречались в Бухаресте, сестра много болела. Фридрих нелегально переходил границу, пытался вывезти ее в Израиль. Не удалось. Умерла сестра в Бухаресте одинокой.

Место для жизни. У Гольдфрухтов было восемь домов. Все они сдавались под жилье и приносили доход. А семейная резиденция была по адресу Ратауштрассе 27 (улица Ратушная), румыны переименовали — в улицу Королевы Марии. Дом был

одним из самых заметных в Черновцах. В последние десятилетия там была лучшая черновицкая школа, Софья Ротару там училась. Дом построили в начале века, но семья долгие годы в нем не жила. При австрийцах, с началом войны в доме был штаб и офицерское общежитие. Потом, с восемнадцатого года здание реквизировали румыны и также под военные нужды (время штабов, как увидим, и дальше не переводилось). Во дворе дома были конюшни, отец держал там лошадей. В свой дом Гольдфрухты въехали только в тридцатом году.

Послевоенное десятилетие (имеется в виду первая мировая война) семья Гольдфрухтов прожила по адресу Ратауштрассе 22, как раз напротив собственного дома. Они снимали квартиру у липо-ван. Липоване — русские староверы. Богатая община — липоване сами жили за городом, имели сады, знаменитые квашеные яблоки так и назывались в Черновцах — *липованскими.*

Город делился на верхнюю и нижнюю части. Верхняя была более богатой, но бедняков хватало и там. Под Гольдфрухтами (на Ратауштрассе 22) в глубоком подвале жила немецкая семья. Отец — инвалид войны, пьяница без ноги и глаза, мать — прачка, звали Марией, тяжело работала за всю семью. Двое детей — Фердинанд и Адольф. Фердинанд рано умер от туберкулеза, а Адольф на два года старше Фридриха был его лучшим другом. Первые уроки уличного воспитания Фридрих получил от него. За проститутками подглядывали, Адольф объяснил суть профессии. Неподалеку был памятник австрийской императрице Марии Терезии. Румыны его взорвали, но не торопились вывозить обломки. Мальчишки искали клад, каждый вечер ходили в развалины, копались под постаментом. В магазины забирались, на винный склад. Первую бутылку шампанского Фридрих распил с приятелем в подъезде. Адольф уже ухаживал за девочками — горничными Гольдфрухтов. Горничные были молоденькие немки. Немецкая прислуга считалась в городе лучшей — работящей, честной и чистоплотной. И повариха была немка, замечательно готовила. В тридцатых годах немцы стали выезжать в Германию, в Фатерланд. Гитлер сплачивал немецкий народ. И Адольф с матерью уехали. После войны, в пятидесятых годах, когда Гольдфрухт уже жил в Киеве, ему передали, друг Дольфи (Адольф) приезжал в Черновцы, искал его. Спрашивал, чем помочь. Они так и не встретились. Международная переписка в те годы не поощрялась.

Черновцы был особый город. Сколько румыны не старались сделать его румынским, получалось у них слабо. Улицы переименовали, австрийские памятники снесли, взялись за городской театр. Театр был уменьшенной копией Венской оперы.

При австрийцах перед театром стоял бюст Шиллера, спектакли шли на немецком. При румынах бюст Шиллера убрали, театру присвоили имя Василе Александри — румынского писателя. Бюст сменили, но и это время прошло. Теперь (при недавней советской власти и поныне) театр стал *имени Ольги Кобылянской*, писательница восседает на месте низвергнутых немца и румына. Площадь перед театром называлась при австрийцах Фишплац — Рыбная площадь, здесь всегда проводились ярмарки. Румыны разбили сквер, все павильоны и ларьки убрали. В том же виде площадь у ног Кобылянской сохраняется и поныне.

Но сделать с городом что-то более основательное не получилось (и это большая удача, как и то, что город не разнесли во время войны). Достаточно сказать, что и при румынах в городе сохранялось очень почтительное отношение к Францу Иосифу. Во многих домах висели портреты императора (у Гольдфрухтов портрета не было). Особо его почитали карпатские горцы — гуцулы, они еще долго красовались в красных австрийских штанах и пользовались, чуть ли не до прихода советской власти, австрийскими деньгами. Франц Иосиф поощрял их вольности и многим дал дворянские звания (хоть читать умели далеко не все). Вообще, на примере Черновцов имперскую политику следует признать на редкость мудрой. Город представлял смешение самых разных национальностей, евреев — чуть не сорок процентов, украинцев — двадцать, остальные — румыны, австрийцы, немцы, поляки, венгры, цыгане. Межнациональных столкновений не было в помине, город являл поучительный пример терпимости. Каждая национальность имела свой Дом (землячество) — австрийский, польский, еврейский, румынский, украинский. У каждой национальности по одному, а у евреев — целых три.

Когда Фрицу было девять лет, его отправили в Вену. В Вене жила родная сестра матери — доктор Эрна Фридман. Для Фрица это было первое самостоятельное путешествие. Вторым классом, сидячие места, восемь человек, ночью не поспишь. В общем, ребенку не понравилось. Зато запомнился автомат в центре Вены. Бросаешь пфенинг — получаешь бутерброд или шоколадку. Внутри сидел человек, но с фасада все выглядело загадочно и впечатляюще. Фриц долго стоял, не мог отойти.

Среди городов бывшей империи Черновцы были очень похожи на Вену. Прага, Будапешт были другими. Потом Фриц много раз бывал в Вене, и на выходе из вокзала у него всегда появлялось впечатление, что он дома. В Румынии Черновцы считались культурным городом, не хуже Бухареста. На сто двадцать тысяч населения здесь приходилось шестьсот врачей и

тысяча адвокатов.

Церквей хватало — католическая, евангелическая, православные. Центральную синагогу немцы взорвали. Было две масонские ложи: французская (международная) — *фратерните*, и еврейская — *бней брит*. Отец Фридриха состоял во французской. Среди масонов особо почиталась книга *Соединенные Штаты Европы*, 1860 года издания. Люди верили в здравый смысл и торжество идеалов.

Немного об образовании . Фриц был способный мальчик, в четыре года уже умел писать и читать. Начальную школу не посещал. Занимался дома с учителями, в школу ходил на экзамены. Отец считал, так Фриц успеет больше. Дома его учили играть на скрипке, регулярно — несколько лет, не менее часа в день. Отец купил сыну скрипку, в доме был настоящий Страдивари. С каким-то существенным дефектом, но настоящий.

Начальную школу Фридрих закончил за два года вместо четырех и в девять лет пошел в лицей. В городе было несколько лицеев, у евреев свой, у поляков, у румын. Но язык преподавания везде один: государственный — румынский, немецкий — почти на равных. Вообще, разделение на землячество проходило сквозь все возрастные группы. Соперничество не носило характер антагонизма и проявлялось, в основном, в спорте. Спортивные состязания шли непрерывно.

В аттестате значились двадцать пять предметов. Даже психология и философия. Экзамены Фриц сдавал легко. Власть относилась придирчиво к изучению румынской литературы и истории. Румынскую поэзию он помнил всю жизнь.

Семья не была набожной, но Пасху и Новый год отмечали обязательно. Три раза в неделю приходил учитель и обучал Фрица ивриту. Сначала писать, потом читать, потом разговаривать. Именно в такой последовательности. Интенсивность подготовки возрастала по мере приближения к бармицве. Фриц и сам хотел поскорее стать настоящим мужчиной, поэтому готовился прилежно. Двадцатиминутную речь, которую произнес в синагоге, до сих пор помнит. Какой это был восторг — стать мужчиной.

Обучение в лицее было платное, но детям из бедных семей помогала община. Она же отсылала способных подростков дальше на учебу. Был специальный комитет, заседали открыто, публично рассматривали дела будущих стипендиатов. Отец обязательно присутствовал по праву одного из щедрых спонсоров. Никаких функций в комитете он не выполнял, не голосовал, но, естественно, проявлял заинтересованность. Он выплачивал пять

стипендий. Имена жертвователей не разглашались. Таково было строгое правило, добро должно быть анонимным.

Особо спонсорская поддержка касалась обучения медицине. В Черновцах тогда не было медицинского факультета. Был теологический (православный при румынах), философский, юридический, а медицинского не было. Кто хотел стать врачом, должен был ехать в Яссы, Бухарест или в Клуш. Но и там было строго, румыны ввели квоту для малых национальностей, потому ехали за границу, больше в Италию, в Бари. Румынский язык схож с итальянским, так что учиться было не трудно.

Вот одна история. Был такой Танненбаум. Мать бедствовала. От первого брака у нее был еще один сын. Жили в подвале. Мать зарабатывала чисткой грецких орехов для лоточников. Мальчики кололи эти орехи. Фриц с Танненбаумом дружил, отец понаблюдал со стороны и распорядился, приглашать Танненбаума два раза в неделю на обед. В течение нескольких лет Танненбаум у них столовался. Потом его отправили за общественный счет учиться в Бари на врача. Много позже, после войны Фриц встретил Танненбаума в Бухаресте. Тот был преуспевающим врачом и самоуверенным красавцем. Пользовался успехом у женщин. И одна из ревнивиц красавца Танненбаума отравила.

Комментарий. При взгляде на судьбу нашего героя, удивляет частота ее соприкосновения с историческими персонажами и событиями той эпохи, которая, как кажется, давно отошла в область преданий. Причем вовлеченность все более нарастающую по интенсивности, пока эта история не накрыла его с головой, как шторм терпящего бедствие моряка, чтобы выбросить полуживого на незнакомый берег. Это не столь невероятно, как может показаться, если учесть, что границы тогда были другими, Европа буквально кипела страстями, наш герой постоянно передвигался, а двигаться в такое время (двигаться, а не бежать), это тоже испытывать судьбу.

Поездка в Италию. В Вене жила тетка Эрна — сестра матери. Эрна была богатой женщиной и обожала разъезжать. Это она нашла Риччионе — гогдышнюю рыбацкую деревню в Италии недалеко от Римини, с огромным пляжем. Там Фриц с матерью и теткой провел несколько летних каникул. Заезжали для покупок на Ривьеру, посещали Венецию, Триест, но основное время проводили в Риччионе. Жили в гостинице — четырехэтажном доме, владеющем куском пляжа. Лодка, персональный навес от солнца, кабинка для переодевания. Питались при гостинице.

Здоровый буржуазный отдых, Фриц запомнил себя там девятилетним. Вот любопытное впечатление. Сидят мама, тетя, еще две женщины из Австрии — подруги тети и девочка по прозвищу Мимоза. Фриц возится около воды, строит замок. Неподалеку шумно веселится компания итальянцев, пьет вино. Вдруг один из гуляк срывается с места (запомнился он так — крепкий, не очень высокий, бритый наголо), хватает Фрица, забрасывает себе на плечи и с криком — Бамбино итальяно. Каро мио, влетает в воду. Сбрасывает там мальчика, ныряет с головой. Фриц — ребенок самостоятельный, обиделся страшно. Еще не умел плавать, нахлебался воды, но проявил характер, жаловаться не стал. А подруги матери, которые наблюдали со стороны, неодобрительно разъяснили. — Это Муссолини развлекается.

У Бенито в Риччионе жила любовница, приехал с друзьями погулять, машины стояли наверху на шоссе. Фриц попался под руки расшалившемуся дуче. Тогда же Фриц совершенно неожиданно научился плавать. Забрался на металлическую вышку для прыжков в воду, улегся с самого края, задремал на солнце. Кто-то через него прыгнул, Фриц свалился с трехметровой высоты, забил руками по воде и поплыл.

Судьба тетки из Вены, забегая вперед, сложилась так. Она сменила австрийский паспорт на немецкий, имя — с Эрны на Елену, стала Бондарчук и благополучно пережила войну.

Провинциальное общество . Черновцы были исключительно спокойным городом, по ночам можно было гулять совершенно безопасно. Много было домашних вечеринок. Расходились поздно. Никто никого не обижал. Город жил дружно, что-то на манер коммунальной квартиры, населенной здравомыслящими людьми. Свои театры. Еврейский, румынский, немецкий, каждая народность имела свой театр.

Ко времени первых воспоминаний Фрица, румыны правили уже несколько лет, но переиначить городские нравы так и не смогли. Город жил памятью об ушедшей Австро-Венгрии. Говорили много на немецком. Правда, румыны заявляли о себе, ходили по городу с факелами, как немцы в Германии. Колонной по двести, триста человек, пели, кричали. Зрелище было скорее театральное, агрессия не слишком ощущалась. Заразить город своим настроением им не удалось. В Черновцах был депутат от Буковины, государственная должность, что-то вроде министерской. Фамилия депутата была Робу. Робу был румынский националист, свастику носил на рубашке. Как-то днем раздался звонок, Робу спрашивал отца. Хотел лечиться только у него. Разговаривали несколько часов. О национализме, других

проблемах. Отец его обследовал, потом Робу часто обращался за помощью. Отец с него денег не брал.

Черновцы в течение столетий были известны как торговый город. Это был транзитный узел — от Одессы до Констанцы, с Черного моря и на север к Балтике — к немецким, а потом польским портам. Торговцы делали в Черновцах большие деньги. Черновицкие коммерсанты постоянно разъезжали. И не только по Европе, бывали в Северной и Южной Америке. Имели там связи. Даже с Японией общались. Все это в порядке вещей. Мир был пока открыт, такова тогдашняя европейская жизнь. В Черновцах почти не было заводов, несколько трикотажных фабрик. Была фабрика, которая делала железную посуду. И главное на то время — Буковина была очень богата лесом. Здесь рос лучший лес для изготовления мебели, для музыкальных инструментов. В Родауце, была одна из лучших мебельных фабрик во всей Европе, какой-то немец хозяйничал.

Известность приобрел поляк Подзудек. У того был домик на окраине города. Подзудек начал с того, что скупал по окрестным селам свиней и делал колбасу. Дело шло хорошо, Подзудек взял помощников и открыл цех по производству колбас. Отличная ветчина, бекон, Подзудек имел специальный рецепт (теперь бы его назвали технологией) для откорма свиней. Он делал отличное салями на манер известного венгерского. Колбасы так и назывались *салями Подзудека*. В Черновцах были два магазина Подзудека, потом такие же появились в Бухаресте, в Вене, в других городах Европы. Фриц своими глазами видел такой магазин в Лилле. В Париже был такой же. К старости Подзудек все измерял на свинину, это была его валюта. Два килограмма свинины, пять килограмм, так он считал. Большой грамотностью старик не отличался. В тридцатые годы началась компания по переселению. Особенно старались немцы — переселять в Германию. На месте, в Черновцах специальная комиссия оценивала имущество, в Рейхе выдавали компенсацию. Ехали больше бедняки, но компания проводилась активно. И поляки затеяли нечто подобное. Сыновья Подзудека решили переезжать. Старого Подзудека переселили почти насильно, он не хотел ехать.

Жулики в Черновцах, конечно, существовали, но в небольшом количестве. Случаев краж, воровства было немного, а убийство считалось преступлением почти неслыханным. Как-то убили проститутку. Она исчезла, вышла вечером на промысел и пропала. Женщину искали, по городу поползли слухи. Народ заволновался. Город, изнемогавший от провинциальной скуки, оживился, событие намечалось в духе Джека Потрошителя. На одиноких мужчин стали поглядывать с подозрением. У

маленького Фрица был преподаватель, студент. Именно такой, одинокий. Студент не умел бриться. Фриц глядел на следы порезов (на шее) со сладким ужасом, но своими сомнениями ни с кем не поделился. Начальник полиции как раз в те дни обедал у Гольдфрухтов, показывал фотографию женщины, жаловался, что не могут найти. Потом обнаружили за Прутом женский труп. Убила ее банда из Поречья — черновицкого пригорода. Полиция их окружила, два часа перестреливались, взяли всех. Начальник полиции остался при Советах. Политикой он не занимался, а профессионал был, видно, хороший, город держал под контролем. Считал, что в таком качестве может быть полезен любой власти. Его быстро арестовали, и исчез он бесследно.

Как уже упоминалось, при австрийцах был порядок покупки дворянства за деньги. Это придавало своеобразный шик местному обществу, знатность в Черновцах тесно сосуществовала с богатством. Был граф Ормузаки. Украинец. Был доктор Анхаук. Имел дворянское рыцарское звание. Мог называться фон Анхаук. Автрийцы раздали немало титулов гуцулам. Гуцулы жили в горах и не признавали никого, кроме австрийцев. Уже больше десяти лет румыны были при власти, а у гуцулов все еще ходили австрийские деньги. Румынская власть с гуцулами благоразумно не связывалась, они и в армии румынской не служили, налогов не платили. Когда повзрослевший Фриц (уже в звании молодого офицера) отправился в горы на машине, отец предупредил, не заводить шашней с гуцулками. У многих были венерические болезни, с лечением там было плохо.

Официальные праздники в Черновцах были румынские. Десятого мая, двадцать четвертого ноября. Первого мая отмечали День труда. Была разрешена социалистическая партия. Руководил социалистами еврей Вайсман. Владел типографией, издавал газету *Форвертс.* Собирал Первого мая единомышленников, шел с красным флагом по улицам, заметный сверху с балкона Гольдфрухтов по большой лысине. Никто его не трогал, все знали, идет Вайсман — борец за права трудящихся. Соратники Вайсмана встречали Советскую власть радостно, но для многих таких, воодушевленных и для самого Вайсмана радость оказалась недолгой. Его быстро арестовали.

Сутенеры разделили Черновцы в соответствии с географией — на верхнюю и на нижнюю части города. Вверху управлялся Романюк, внизу — Гуменюк. Профессия большим уважением не пользовалась, но и осуждения не вызывала. Люди, как могли, зарабатывали на жизнь. Советы только осмотрелись, всех забрали — проституток, воров, всех. Фриц сидел с ними в тюрьме — с Романюком и Гуменюком. Гуменюк был сравнительно пожилой, в

лагере быстро умер, а Романюк держался долго. Это был красавец под два метра. Арестовали его в красивом темно-синем костюме в полоску. Костюм он очень берег, рассчитывал после освобождения погулять. Даже в камере, в условиях очень трудных поддерживал у костюма приличный вид. Вообще, эти люди были поражены арестом, они считали себя вполне респектабельными членами общества. В лагере Романюк пристроился на хорошую работу, был бригадиром. Ходил в этом *хорошем* костюме. Умер в лагере.

Была танцевальная школа. Их было несколько, но Фриц посещал школу мадам Моргенштерн, бывшей балерины. Танго, вальсы, чарльстон, полный курс за два месяца. Набирали поровну девочек, мальчиков. Молодежь из хороших семей алкоголем не злоупотребляла. Пили чаще пиво, вино. С девочками отношения были невинные, ходили в кино, в театр, целовались. Но юноши посещали публичные дома. Большинство домов были на окраине, на Еврейской, Галичанской — это уже в предместье. Заходили компаниями, когда гуляли. Считалось хорошим тоном (и спокойнее для здоровья) иметь свою девочку. У Фрица была такая, лет двадцати шести, всегда с удовольствием его принимала.

Журналисты составляли небольшую, но процветающую касту. Много писали за деньги, не гнушались шантажом. Был судебный репортер Вайсблат, вел в газетах судебную хронику и имел особый нюх на грязные истории. Шел с утра в суд, выбирал *дело* поинтереснее. Суд был там, где теперь здание Облисполкома. Особенно Вайсблат любил дела о разводах среди местных богачей. Семейное белье выворачивалось наизнанку. Вайсблат слушал, внимательно записывал (чем грязнее, тем лучше), подходил к заинтересованным лицам. Вот, готовлю большую статью… Люди читали, узнавали себя, хватались за голову. Как замять? Сколько будет стоить? И улаживали за деньги.

Был Гербель. Красавец. Журналист. Увлекался конным спортом. Гербель уговорил генерала — командира кавалерийского полка организовать пробег из Черновцов в Париж. Это примерно в тридцать пятом году. Его провожали с центральной городской площади, музыка играла. Гербель восседал на лошади, сзади вьюк, настоящая экспедиция. И доехал до Парижа.

Был Йозеф Шмидт. Это была гордость Черновцов. Один из лучших теноров Европы, наследник Карузо (так значилось в афишах). Шмидт жил в Черновцах, у отца в городе был какой-то магазин. Шмидт был маленького роста, почти карлик. Метр сорок, максимум — метр пятьдесят. Очень некрасив. Рот

широкий, как у лягушки. Это была романтическая легенда в духе *Собора Парижской Богоматери*. Пластинки продавались по всей Европе, но на сцену он не мог выйти. Пел из-за кулис. Как-то раз его выпустили, публика начала свистеть. Талант Шмидта использовали для музыкальной рекламы. С девушкой было одно горе. То есть, была любовь, но девушка не могла с ним показаться. Черновцы — небольшой город. Шмидт был еврей, она — еврейка. И все равно… Разбитое сердце… Специально для него немецкий композитор написал песню. Шлягер, который обошел мир, приблизительно такого же содержания. Песня облетает весь мир. Шмидт успел сбежать в Швейцарию, умер уже после войны, где-то в пятидесятом году. Как человек, он был несчастлив.

Как не вспомнить местного героя по имени Маркус. Маркус был первым жителем Черновцов, который получил права на вождение самолета. Нужно было ездить в Бухарест сдавать на *бревет*. Бревет — это права по румынски. Бревет на вождение самолета. Когда в небе над Черновцами появлялся самолет, люди знали — это летит Маркус. Бензин стоил копейки, как вода. Говорили, Маркус в воздухе. В Черновцах было два моста — железнодорожный, и пешеходный. Третий мост — Южный был за городом. Мар-кус замерил расстояние. Дождался, когда горная река обмелела, и пролетел под пешеходным мостом.

Позже Фриц тоже получил права. У него были английские права. А самолет польский, фирмы Лот. Самолет был двухярусный, этажерка. Впереди летчик, сзади инструктор, все управление дублировано. Приборы впереди у летчика. За месяц обучения Фриц летал как бог. Он и в Кембридж ехал, поступать на самолетостроение, но англичане к этой профессии тогда (в предвоенное время) иностранцев не допускали. А летать, пожалуйста.

История Эсманских. Осталось детское воспоминание с точным упоминанием даты. Двадцать восьмой год, Фриц в третьем классе лицея. К матери часто приходила женщина — полная, не очень красивая, насколько мальчик мог судить. И очень грустная. Ходила постоянно в черном. Звали ее Соня Эсманская. Муж Сони был когда-то банкиром в Петербурге, а теперь в Черновцах — крупным сахарозаводчиком. Здесь у них был особняк на Трехсвятительской улице, рядом с университетом. Но там они почти не жили. С Соней приходила молодая очень красивая француженка. Они всегда появлялись вместе. Соня говорила по немецки с сильным русским акцентом. Через семью Гольдфрухтов она хотела сблизиться с достаточно закрытым черновицким обществом. Мать всегда была Соне рада, они

уединялись, кофе пили. Как-то летом, когда у Фрица были каникулы, мать объявила, они едут к Эсманским в гости. У Эсманских был большой сахарный завод в селе Зарожань, по дороге из Черновцов на Кишинев. Там же в нескольких километрах — огромный дом с колоннами и мраморными полами. За домом большое озеро. Отправились на двух машинах. Своя — Гольдфрухтов, вторую — открытое ландо дал полковник Ионеску — заместитель командира Второго егерского полка. Сопровождал дам майор Анастасиу из этого полка, веселый, бравый ловелас. Он ухаживал за француженкой, хоть тонкости отношений мальчик еще не понимал. Француженка много смеялась, но деликатно, в сторону, при Соне Эсманской было неловко веселиться, она была грустна. Приехали, погуляли у озера, сели обедать. К гостям вышел сам Эсманский — крупный мужчина с сильным грубоватым лицом. Он был личным банкиром русского царя. Не он один, но и он тоже. За обедом Анастасиу сидел рядом француженкой, они были взволнованы, у Анастасиу что-то падало, француженка раскраснелась. На ребенка за общим разговором никто внимания не обращал, Фриц заполз под стол, и увидел, майор хозяйничает у француженки под платьем. Так приходило постижение тайн пола.

У Эсманских случилась трагедия. В революцию они застряли в Петрограде, пока выбрались, по дорогам толпами бродили вооруженные дезертиры. Эсманские оделись очень просто, взяли лошадь с подводой и ехали, не привлекая особого внимания. В подводе был припрятан мешочек с бриллиантами, а выглядели они как обычные еврейские беженцы, у которых взять нечего. Во время войны в прифронтовой зоне таких было немало. Несколько раз их задерживали, обыскивали и отпускали. Где-то в Белоруссии остановились на постоялом дворе, в надежном, как казалось, месте, отошли на час — Эсманский с женой, купить еды. Вернулись, а дочери нет. Лошадь, подвода — все на месте. Дочь уже была зрелой девицей, лет восемнадцати. Исчезла. Никто ничего не видел. Они все обыскали, простояли несколько дней, не трогаясь с места. Потом приехали сюда. Во всех газетах, где только они ни выходили, в немецких, французских, английских, в газетах русской эмиграции, везде они регулярно давали объявления. Каждый год на протяжении десяти лет, и даже теперь — в двадцать восьмом. Сначала надеялись найти дочь, потом просто обращались, может быть, кто-то что-нибудь запомнил, обратил внимание. Пусть откликнутся, сообщат за вознаграждение. Дома у них лежали груды этих газет, сотни вырезок. Хоть какой-нибудь след. Ничего.

А мешок с бриллиантами оказался кстати. Эсманский уже из

Черновцов наладил совместный бизнес с братом. Тот остался на Украине при большевиках, прикинулся мелким ремесленником, и вел дела с Эсманским, пока не сбежал и оказался тут же в Черновцах. Эсманский занялся сахаром. У него только здесь, под Черновцами было две тысячи гектаров сахарной свеклы. И завод. И в Южной Румынии завод. Было дело и в Германии, Эсманский часто туда наведывался. Все это бедной Сони не касалось. До самого прихода Советов они жили в Черновцах. Дочку так и не нашли. Эсманский умер в Бухаресте, Соня Эсманская пережила войну и умерла там же.

Лицеисты. Первая черновицкая гимназия (лицей) была румынской, вторая — женская, третья — еврейская (там Фриц учился), четвертая — смешанная, украинско-немецкая. Были еще частные учебные заведения, была семинария, которую содержал православный митрополит. Был частный лицей Эммануила Григоровица.

В гимназии, где учился Фриц, среди учеников было немало сочувствующих коммунистам. Приходил полицейский инспектор центральной части города еврей Роттенберг с двумя полицейскими, командовал прямо в классе: выходи ты и ты. И забирал активистов. В гимназии училось немало приезжих из Бесарабии, жили на квартирах, народ в классе постоянно обновлялся. Как-то объявился крупный парень — переросток по фамилии Лернер. Фриц сидел за первой партой, тот на второй, у Фрица за спиной. В разгар урока ворвался Роттенберг. Как твоя фамилия? Лернер. Еще переспросил: — Ты точно помнишь, что Лернер? Не иначе? Ребята, забирайте его… Лернера схватили, обыскали и увели. Он оказался видным коммунистическим подпольщиком, так лицеистам объяснили.

Студенческие нравы. В городе были студенческие общества (землячества), среди них несколько еврейских. Фриц состоял в Хасмонии — самом престижном, среди членов были врачи, адвокаты, принимали далеко не всех. Хасмонеи — еврейские герои. Внутри были свои уровни. Самые молодые — фуксы, лисы. Потом бурши — мальчики, самые боевые по возрасту. После получения образования и испытаний достигалась высшая ступень Альтер Херр — Старый господин. Конкретных обязанностей здесь не было, кроме главной — оказывать финансовую поддержку обществу.

Среди евреев было немало поклонников Жаботинского, особенно после его посещения Черновцов. Но сильны были и социалисты — Бунд, в лидерах у бундовцев ходил некий Борохов.

В Хасмонии социалистов не любили. И полиция их не жаловала.

При землячествах были свои танцевальные классы, клубы, но вне связи с образованием. Учились не только в Румынии, многие — в Италии. Фриц состоял в Хасмонии, когда учился в Кембридже.

Такие же землячества были у поляков, украинцев, немцев, каждое со своей резиденцией. Много было спортивных состязаний. В моде были дуэли между членами различных землячеств. Дрались, в основном, на саблях. Дуэли были категорически запрещены, но ответить на вызов считалось долгом чести. Первый раз Фриц дрался, еще будучи фуксом, с украинцем Сорокопутом. Стрелялись из мелкокалиберных пистолетов. Поехали за город на велосипедах, стрелялись на тридцати метрах. Свой выстрел Фриц не помнит, ему самому пуля попала в предплечье. Приехал домой, пришел к отцу. Отец удалил пулю, а потом влепил оплеуху. Единственный раз за всю жизнь.

На саблях Фриц дрался с доктором Рутенбергом — врачом скорой помощи. Ссора началась из-за пустяка. Поехали с подружками на машине, Фриц хотел порулить, Рутенберг не дал. Вернулись в Черновцы, Фриц послал к Рутенбергу секундантов — Танненбаума и Гиберзона. Гиберзон стал потом известным музыкантом. Подготовка лежала на секундантах — наточить сабли, найти пустой зал, расставить по углам кресла для секундантов. Смертельных исходов не было, но без ранений не обходилось, как-то дрались два немца, один другому чиркнул по глазам, тот ослеп. После этого дрались обязательно в фехтовальных масках. Члены землячества на дуэль надевали одну и ту же рубашку. Она была пропитана кровью, тяжелая, с запахом, так и называлась — *кровяная рубашка*. Ее никогда не стирали. С Рутенбергом дрались больше часа, и разошлись миром, без последствий. Обида за время поединка выдохлась. Это было в тридцать шестом году.

В тридцать седьмом была дуэль с лейтенантом, румыном. Фриц как раз собрался в армию добровольцем. В румынскую армию призывали с двадцати одного года, когда молодой человек получал гражданство. Но Фриц по физическим данным прошел в восемнадцать и мог, как доброволец, выбирать полк. В Черновцах стояло тогда много военных — пехота, артиллерия, кавалерия, пограничники, жандармы. Фриц выбрал артиллерию. Он еще зачислялся, а военные не могли между собой драться, иначе — трибунал. Но и так последствия могли быть серьезными, власти боролись с дуэлями всерьез. Ссора случилась из-за девушки. Фриц прогуливался с ней по центральной улице — раньше Хернгассе — Панской, а тогда — улице Янку Флондора — в честь

первого румынского мэра города (теперь это улица Ольги Кобылянской). Фриц пользовался у женского пола большим успехом — богат, спортивен, красив. Лейтенант намеренно его задел. Правда, и девушка не терялась, строила глазки обоим. Мужчины решили выяснить отношения. Фриц дал свою визитную карточку — имя, фамилия, адрес, соперник — свою. Кресулеску — лейтенант кавалерии. Он и оружие выбрал, в кавалерии учили владеть саблей. Дрались за городом, на поляне, очертили квадрат, двадцать, на двадцать, помимо секундантов, обязательно присутствовал врач. Дрались долго. Фриц считает, что мог победить, были выигрышные моменты. Но тогда на военной карьере можно было ставить крест. Поэтому Фриц больше защищался, пока Кресулеску не зацепил его в подбородок. На всю жизнь шрам остался. С тем и разошлись, не определив победителя.

Учеба в Кембридже. После окончания лицея Фрица отправили в Кембридж. Конечно, отец хотел, чтобы сын продолжил семейную традицию и стал врачом. Но у Фрица был крепкий характер и страсть к технике. Он хотел заняться самолетами.

Первый раз — в тридцать третьем году Фриц ехал в Англию с матерью. В купе, после переезда через немецкую границу зашел господин. Хорошо одет, без багажа. Уселся, стал читать газету. Потом, обращаясь к матери, заговорил о новых немецких порядках. Все это с тяжелым вздохом, видно было, недоволен. Мать — умная женщина разговор на эту тему не поддержала, а сыну украдкой показала прижатый к губам палец. Мужчина сошел в Ахене. Провокации постоянно случались, хоть, кто знает, что за человек. Недоверие и растущий страх — это настроение ощущалось в тогдашней Европе. Впрочем, Фрица это тогда мало занимало.

В Англии сразу по приезде произошел смешной случай. От Дувра до Лондона Фриц добирался самостоятельно. В английских вагонах вход в купе был прямо с перрона. И на каждом надпись — для курящих или некурящих. Но и в купе для некурящих, если попутчики разрешат, можно было курить. Фриц втащил чемодан, уселся. Напротив расположился типичный джентельмен, в котелке. Только отъехали, обратился. Ду ю смок? Фриц курил, но, не понимая, что англичанин хочет, отвечал, но, но, но. В том смысле, чтобы англичанин чувствовал себя свободно. Тот улыбнулся и курить не стал. Через некоторое время Фриц по запаху понял, что в купе курят, достал папиросу. Англичанин рассмеялся, они без слов поняли друг друга.

На первых порах помог друг отца, профессор из университета в Йоркшире. Он встретил Фрица в Лондоне. Первые полгода Фриц провел в Галле, в местном университете. В Кембридж при полном незнании английского языка и обилии иностранных студентов ему было рано. В Галле было проще, и время прошло с пользой. Речь только английская, газеты английские, даже смех английский. Через два месяца Фриц и сам заговорил, а спустя полгода перешел в Кембридж. В Кембридже он провел три года. Получил студенческий паспорт на десять лет, постоянные визы — немецкую, польскую для проезда на каникулы. В Кембридже дали общежитие — двухкомнатную квартиру. Очень небольшую, но квартиру. Было немало иностранцев. Был немец. Фашист, свастику носил. Учился по обмену, англичанин в Германии, а этот здесь. Англичане на свастику тогда внимания еще не обращали. Первый месяц Фриц с немцем много общался, пока не освоился. И тот возле него держался. Потом они разошлись.

Фриц попал в Сент-Джон колледж. Колледжи были однотипные. Рядом был Кристи колледж, колледж Святой Марии. Каждый колледж имел своего попечителя. У Фрица был какой-то герцог, из середины королевской иерархии. Каждое попечительство имело свои преимущества, титул повыше обеспечивал престиж, пониже — более тщательную заботу о подопечных. Попечителю приходилось брать на себя некоторые расходы. Специальный человек каждодневно контролировал студенческое меню, проверял рыбу, мясо. Питание было отличным. Завтрак — в общежитии, ланч — по месту учебы, а ужин у каждого свой.

Купили Фрицу обязательную для студента экипировку. Сразу по приезде попросили рассказать о его родине — Румынии. Первую статью в журнал *Студент* Фриц писал по-немецки, ее перевели, он и дальше сотрудничал с этим журналом, но уже пользовался английским. К местным порядкам нужно было привыкнуть. После девяти вечера запрещалось появляться на улице, никаких баров, никакого пива. Для первокурсников правила соблюдались очень строго. За три года Фриц получил диплом бакалавра по специальности *механик*. Он мечтал быть авиаинженером. Начальный курс — теоретический можно было пройти, проблема возникала с практикой. Туда иностранцев не допускали, англичане не хотели разглашать военные секреты. Фрицу вежливо отказали. Автомобили, пожалуйста, а в авиацию нельзя. Но по результатам обучения выдали, так называемые, гражданские права, АВС — на вождение мотоцикла, машины и спортивного самолета.

Рядом с колледжем Сент-Джона был, так называемый, *Русский*

дом. Советское правительство купило его для Петра Капицы. На уличках Кембриджа Фриц встречал Капицу постоянно. У самого Фрица были очень интересные сокурсники. Он учился с будущим королем Египта Фаруком. На практике они работали в паре. Сначала принц был у Фрица молотобойцем, потом наоборот. Фаруку было лет 19–20. С собой он привез двух жен, двух секретарей, камердинера, слуг и охрану. Жены были совсем девочки. Фриц у Фа-рука бывал, жил Фарук, конечно, своим домом, не в общежитии. Дома у Фарука угощать было не принято, но съездить куда-то, погулять, это — пожалуйста. Фарук — толстяк, добрый малый, был человеком щедрым и открытым, любил пиво. С удовольствием ругался по-английски. Не избегал женского общества. С ним всегда был сопровождающий, важный господин, намного старше. Ни во что не вмешивался, просто наблюдал. В тридцать шестом году умер отец Фарука — король Египта. За Фаруком прислали, пришла его пора занимать престол. Фарук был очень огорчен, в Кембридже ему нравилось и возвращаться на родину даже в королевском обличьи не хотелось. Оставался год, чтобы закончить образование. На это Фарук упирал. Но пришло время исполнять монарший долг. Фарука увезли. На прощание они с Фрицем обнялись, будущий король оставил визитную карточку, сердечно приглашал. В Египте Фриц был бы у него дорогим гостем. Больше он Фарука не видел.

В их компании был племянник Салазара. Вернее, у самого племянника была компания, четыре-пять человек, которым племянник доверял. Фриц, откровенно говоря, его недолюбливал, хоть общаться приходилось постоянно. Надменный, дрянной парень. Бездельничал, не учился. У племянника была машина, похожа на советскую *Победу*, тогда это была новая модель. Гоняли в ней по барам. Племянник был основательным выпивохой, а пьянство строго наказывалось. По улицам Кембриджа ходили специальные патрули из преподавателей, задерживали выпивших студентов. Могли в пивную заглянуть. Наказывали серьезно. Поэтому племянник с приятелями уезжали подальше, в окрестные городки. Сюда не доставало бдительное око и можно было, как следует, выпить. Здесь Фриц был незаменим. К спиртному он был равнодушен, и исполнял полезнейшую в нетрезвой компании роль шофера.

Первый вопрос, который Фрицу задали в колледже — о спорте. Это была важная часть студенческой жизни, выдающимся спортсменам не нужно было платить за обучение. Дома Фриц занимался легкой атлетикой, показывал неплохие результаты, был чемпионом в Черновцах, призером на первенстве Румынии. В Кембридже он выступал за университет. Здесь почему-то не

практиковали прыжков в высоту. А у Фрица был неплохой результат — метр девяносто два. Стометровку он бегал — двенадцать и четыре, мировой рекорд был тогда одиннадцать и три. Боксом Фрица буквально заставили заниматься, побили для начала. Драться Фриц не любил, но боксерские навыки ему потом пригодились. Авторитет он приобрел умением драться на саблях. Здесь в моде были французские рапиры, сабли были немецким оружием и сражались на них редко. Фриц пробудил местный интерес к саблям. И, конечно, гребля. Восьмерки. Главная команда — голубые, вторая, за которую постоянно выступал Фриц — белая майка с голубой полосой[2].

Вообще, Фриц был человеком легким, компанейским и приятелей у него было хоть отбавляй. Был друг из Персии, богатый человек, но с проблемами. У его отца было двенадцать жен, и всех он должен был содержать. Так отец объяснил финансовую обстановку в семье. Поэтому на сына оставалось не так много, перс даже своей машины не имел, для него это считалось бедностью. Но жил неплохо. У Фрица в то время уже был мотоцикл. Они гоняли на нем по окресностям. Очень красивые места, такое осталось впечатление. Народ приветливый. Вокруг стояли воинские части, но всегда и везде можно было проехать. Совершенно свободно. На открытых воротах значилось: *Полк Его Величества*. И можешь заезжать. Вода нужна? Пожалуйста. А-а, перс, пожалуйста. А вы? Румын? Это где? В Африке? Фриц был смуглым, он хорошо загорал.

На последнем курсе Фриц подружился с Джорджем Элисом. Англичанином. Мать Джорджа, овдовев, вышла замуж за фабриканта, владельца огромной фабрики сантехники около Лидса. Несколько тысяч рабочих, ванны делали, трубы. На новогодние каникулы — две недели, Джордж пригласил Фрица к себе. Фабриканту было за восемьдесят, но выглядел молодо. Водил машину, носился по шоссе на максимальной скорости. Отправились осматривать какой-то замок на вершине горы, к замку вела узкая дорога. Две машины не могли разминуться, если внизу горит красный, значит, машина сверху съезжает. Поднимались к замку пешком, и фабрикант возмущался, зачем идти, если он мог легко проехать.

Женский пол представляли студентки. Очень милые девушки, крайне озабоченные учебой. Теперь это так вспоминается. Учеба для них — все. Много черных, цветных, среди них — очень красивые. Полагалось иметь знакомую студентку и вместе с ней появляться на балу. Бал давали раз в месяц. Как-то у Фрица была красивая дама. Смуглая, кажется, испанка. Англичане говорили: — Ого, какую Фред нашел себе партнершу (они иногда

называли его Фредом, на свой манер). Девушка великолепно танцевала, говорила с акцентом, еще большим, чем у Фрица. Платоническая любовь. Потом была англичанка, дочь зубного врача. Звонила часто, даже ночью. Но тут Фриц остался равнодушен.

Спустя год пребывания в Англии Фриц стал участвовать в мотоциклетных гонках. Разные заводы устраивали гонки с целью рекламы. Платили хорошо. Заводы *Роч, Нортон, Нью империал*. Около побережья Англии был какой-то остров. Улицы шли волной, вверх-вниз. Транспорта на острове почти не было, и там по субботам постоянно проводили гонки. Сначала Фриц выступал за *Роч*. Нужно было регистрировать машину в полиции. Полисмен вышел вместе с ним, поглядел на вождение. Фриц дисциплинированно выполнял все команды — повороты, круги и с первого раза сдал на право участвовать в гонках.

Полиция была вежлива, но правила лучше было не нарушать и тем более не попадаться. Иначе неприятности гарантированы. Фриц как-то выехал буквально на рассвете, улицы совершенно пустые, и дал по городу миль шестьдесят. Это больше, чем разрешалось. Но как он мог на гоночном мотоцикле, который давал двести километров, ехать медленнее? И тут же догнала его какая-то коробка, в жизни не подумаешь, что машина, а на ней — авиационный мотор. Специально, чтобы урезонивать лихачей. Вышли двое. В штатском. Документы не спрашивали, а сразу: видели, что написано? Почему нарушаете? Гонок вам мало? Вот бумага, завтра пожалуйте в суд. Пришлось идти. Судья в мантии возносился над залом, нарушителя поставили внизу, бумагу поднесли судье. С Фрицем оп разговаривать не стал. Глянул и объявил. Один фунт. Это было довольно много. Отец посылал пятнадцать фунтов в месяц на карманные расходы. Фриц пошел в кассу, на бумагу поставили штамп, уплачено. Права не отбирали. Судья предупредил, второй раз он так легко не отделается.

Потом Фриц гонял за *Нортон*. Там была великолепная машина. Он выиграл две гонки и ему дали сразу пятьдесят фунтов премии. Вообще, за победу давали по десять. Это были большие деньги. Фриц купил себе автомобиль. Машину нужно было целый день ладить, регулировать. Но Фрицу это нравилось, как раз по его специальности. К середине второго года учебы Фриц переехал в квартиру побольше, он мог себе это позволить.

Поездка через рейх. Был случай. Фриц ездил каждый год домой на каникулы. Возвращался в Англию. Как-то отец говорит, у нас тут коллега-врач недавно объявился. Его мать — престарелая еврейка из Бельгии. Едет к себе. Соображает плохо.

Ты ее довези. Дает Фрицу ее документы на проезд через границы, а там: румынско-польская, польско-немецкая и немецко-бельгийская. Правда, поезд прямой до Брюсселя, потому трудностей быть не должно. И тут же, на несчастье Фрица, вручают ему ящик винограда. Родной брат отца Соломон Гольдфрухт (дядя Сало, рассказ о нем впереди) живет во Львове. В Черновцах винограда полно, во Львове куда меньше. Фриц садится со своим багажом, со старухой и виноградом. Приезжают на рассвете во Львов, дяди Сало нет. Почему, неизвестно. Фриц мечется возле вагона. Кондуктор успокаивает, не важно, в Кракове стоянка двадцать минут, почта рядом, оттуда можно отправить. Приезжают в Краков, Фриц бежит на почту, отсылает второпях виноград. А поезд опаздывал и сократил стоянку. Фриц только хвост увидел. Все документы, в том числе, на старуху, остались у Фрица. Он бросился к начальнику вокзала, тот отнесся с пониманием, усадил в следующий поезд, а сам обещал дать телеграмму, чтобы вещи и старуху сняли на границе. Приезжает Фриц в приграничный город, старухи нет, проехала дальше прямо на контрольный пункт. До него отсюда тридцать километров. Что делать? Просит таксистов, подвезти. Куда пан едет? Тут Фриц сглупил. В Англию. Ага, значит, в Англию. Англичане считались у поляков богатыми людьми. Десять фунтов. Меньше, не едем. В Англии на десять фунтов месяц можно жить, грабеж страшный. Этому таксисту, что десять, что двадцать, назвал первую цифру. Но что делать, поехали. Только отъехали, военный поперек дороги. Маневры. Свернули, проехали через какое-то село. Еле добрались. У Фрица, кроме фунтов, было десять шиллингов. Он таксисту их сунул. Тот, видно, первый раз английские деньги видел. Решил, что фунты, уехал счастливый. Прибегает Фриц на станцию. Вот она — граница, красный канат натянут. Старухи нет. У Фрица ни вещей, ничего, все в поезде. Поляки осмотрели, визы в порядке, пропустили. Бежит Фриц через туннель на немецкую сторону. Немец. Стой. Документы проверил. Раздевайся. Раздел догола, всю одежду перещупал. Фриц, действительно, выглядел подозрительно, запыхавшийся, с пустыми руками. И студенческая виза на десять лет вперед. Поднимается на перрон с немецкой стороны, сидит старуха на вещах. Поляки ее как-то выпустили без документов, а немцы ссадили. Старуха ничего объяснить не могла, Фриц и не спрашивал. После войны, когда он вернулся на несколько лет в Черновцы, ему кто-то сказал, что тот врач, который старуху отправлял, оказался чей-то шпион. Скорее всего, немецкий. Возможно, что-то в багаже перевозили. Другого объяснения Фриц до сих пор не придумал, хоть и это удовлетворительным не

назовешь. Вообще, предвоенная Европа была заражена шпиономанией. Это был социальный невроз, дурное предчувствие, которое грозило вот-вот сбыться. Что и случилось.

Пока старуху ссаживали с поезда, чемоданчик с продуктами, собранный матерью Фрица, пропал, все остальное оказалось на месте. Их поезд давно ушел, и они отправились попутным до Кельна. Там пересадка. Фриц этим путем раньше не ездил, ждать пришлось три часа, билеты в кармане, старуху он оставил на вокзале, а сам пошел смотреть Кельнский собор. Вышел на площадь перед собором, а тут сразу три машины. В первой шесть человек, за ним вторая — открытая. В открытой, сзади, справа от шофера — Гитлер. Невозможно не узнать. В замыкающей машине тоже охрана.

Фриц волновался, вдруг в Брюсселе старуху не встретят, неясно ведь, куда она делась, и ему придется с ней возиться, неведомо сколько. Но встретили две женщины — ее сестры. Счастливы были, не знали уже, что и подумать. Фрица уговаривали задержаться, погостить, заманчиво, конечно, но он поехал дальше. На следующий день занятия начинались, опаздывать не полагалось.

Три года Фриц ездил взад-вперед сквозь Германию. За это время рейх сильно изменился, пропаганда развернулась. На зданиях появилось много красно-черных флагов со свастикой. На всех магазинах, принадлежащих евреям, свастика и надпись: Здесь торгуют евреи. Вход только евреям и собакам… Немцы туда не показывались. Когда Фриц проезжал в тридцать шестом году, эти надписи временно убрали. Приближались Олимпийские игры, немцы не хотели волновать мировую общественность.

Путешествие по Франции. Фриц с детства был заядлым велосипедистом, в Черновцах с велосипедом не расставался. Места там холмистые, вверх-вниз, и Фриц был великолепно натренирован. В Кембридже он велосипедом пользовался часто. Были как-то пасхальные каникулы. Три недели. И тут приятель сообщил, что подал заявку на участие в велосипедной гонке Тур де Франс. Пригласил присоединиться. У него много родственников во Франции, дяди живет в Лионе. Это была гонка для любителей, старт каждый день в девять часов, к вечеру добирались до финиша, отмечали время, утром — дальше. Фриц согласился. Добирались до Бордо пароходом, паршивое было плавание. В Бискайском заливе вымотало все кишки. Поднялись по реке, спокойно, к документам никто не придирался. Приятели были в велосипедной форме, костюмы в чемоданах. А вот за велосипеды нужно было платить на тот случай, если они захотят

их во Франции продать. Заплатили, получили бумагу, владелец велосипеда такой-то. Если будут велосипед из Франции вывозить, деньги вернут. Первый этап был Клермон-Флеран. Объехали Лион, Руан. Последний пункт — Париж. Приятель объявил перед Парижем, что дальше не поедет. Результат у него невысокий, надоело, ему хочется в Швейцарию. У него французский паспорт, свободное передвижение. Расстались, договорившись спустя три-четыре дня встретиться в Париже. Фриц проехал до конца, и по результатам гонки оказался шестым. Всего участвовало человек сто восемьдесят-двести. Встретили их в Париже очень хорошо, торжественно. Фриц пошел знакомиться с городом. Хорошее метро, в любую точку города можно попасть, если есть карта. А карту дают просто так. Поднялся на Нотр Дам. Слышит, говорят по-румынски. Один — метра два ростом, другой — пониже. Большой — Миту, маленький — Гоча. Кто-то из них был чемпионом Европы по боксу, по-французски оба ни слова. Обрадовались Фрицу, тот мог объясниться, ходили вместе. Фриц на почте получил открытку с адресом. Встретил приятеля, тот раньше вернулся, скучал. Такой это был человек. У него в Париже — дядина квартира, машина, всем этим можно пользоваться. Пошли ужинать в китайский ресторан. Приятель там раньше бывал, повел показать. Для начала запомнился старый выбитый тротуар. Красный фонарь (именно, красный), китаянка красивая в гардеробе, ресторан в подвале, простой, без излишеств, под стеной столики, на каждом — телефон. Музыка почти неслышно и непонятно откуда, китайская. Вдалеке неподвижная фигура, Фриц решил даже — из воска. Но, оказалась, фигура живая, поднесла каждому на подносе рюмку. Водка — рисовая, на закуску — рисовый хлеб и хвост поросенка, напичканный чем-то. Перца много. Потом вынесли толстенную книгу, на французском и китайском. Фриц даже не пытался заглянуть, приятель выбирал на свой вкус. Сначала был салат, вкусный, но какой-то подозрительный. Потом суп из черепахи. А на второе, то ли рагу, то еще ли что-то непонятное. Вино легкое французское и хлеб белый-белый, рисовый. Поели, приятель расплатился, французскому рабочему на две недели жизни хватило бы. Сели в такси и поехали в Шан-Зализе. В кинотеатр. *Огни большого города.* Премьера. Сам Чаплин фильм представлял. Вышел на сцену, говорил немного, публика аплодировала. А потом пошел фильм. Ну, что теперь скажешь? Тогдашнее впечатление, тем более, после ресторана неотчетливое. Фильм, как фильм. По дороге приятель спрашивает, ты знаешь хоть, что ты ел? Салат, знаешь? Это из кузнечиков. У Фрица внутри что-то нехорошо зашевелилось. Суп черепаховый. Правильно. А второе? Не знаешь.

Это была змея. Не ядовитая. Их специально откармливают. Желудка у нее нет, ничего нет. Режут на куски, как колбасу, и жарят. В общем, Фрица стошнило. Провели в Париже несколько дней, поехали в Дюнкерк. Там — на паром. Приятель говорит, хочу устриц. А денег уже нет. Приятель говорит: — Давай квитанции на велосипед, рискнем. Берет ручку, цвет подходящий. В квитанции значится цифрами — сто франков. Он добавляет ноль — тысяча. Пришли на таможню. Велосипеды с вами? С нами. Машины дорогие, гоночные, отличные. Выдали деньги, никто не проверял. Поели устриц, приятель купил какие-то книги, которые отобрали на английской таможне. Эротика, в Англии запрещено. По приезде обменяли оставшиеся франки на фунты и поехали довольные в университет. Фрицу было семнадцать лет.

Служба у короля. В тридцать седьмом году, по возвращении из Кембриджа Гольдфрухт пошел в армию. И мог, как доброволец, выбирать полк. Фриц выбрал артиллерию.

Как человека с образованием его послали на девять месяцев в офицерскую школу, в город Крайова. Там он познакомился с. Чаушеску. Знакомство было шапочное, но на улице друг друга узнавали. Чаушеску был ровесником, тоже восемнадцатого года. Запомнился как простой хулиганистый парень. Как познакомились? Жили на квартирах, по двое. Идут с занятий домой, он догоняет — Квартиры не хотите? — Спасибо, у нас есть. — А с девочками?..

Как-то Гольдфрухт отправился в Бухарест по армейским делам. В форме ходил по городу, предполагал успеть на обед к тете. Тут | к нему подошел майор, проверил документы и приказал следовать за ним. Дальше произошло нечто совсем неправдоподобное, но такие истории с этим молодым человеком случались, и нам остается поверить ему на слово. Завели его в комендатуру, еще раз внимательно проверили документы, даже унесли их куда-то, приказали заполнить бумаги (биографию подробно), провели через медосмотр. Фриц сидел и ждал, не зная чего, пока, наконец, ему не сообщили, что он зачислен в королевскую гвардию. Гольдфрухт тогда выглядел молодцом — спортсмен, рост метр семьдесят два, вес семьдесят килограмм. В общем, стандарт, даже лучше.

Пока Гольдфрухт томился в инстанциях, переполошилась тетя. Племянник не пришел обедать. Тетя забегала по городу, по-румынски она толком не понимала (это была тетя, перебравшаяся из Вены), наконец, связалась с отцом. Отцу уже успели сообщить, он тетю успокоил. У отца были надежные связи. Начальник Генерального штаба румынской армии Цонеску был его другом со

времен прошлой (то есть, Первой мировой) войны. Вообще то, он был Цонев, болгарин, но теперь в Румынии, в соответствии с национальной политикой, он стал Цонеску. Отец мог при необходимости повлиять на ситуацию (далее мы в этом убедимся), а пока волноваться не приходилось.

Гвардеец Гольдфрухт попал во дворец, в охрану короля. Неделя ушла на инструкции и ознакомление с особенностями дворцовой службы. Где, что, какие апартаменты, правила дворцового распорядка. Для мало-мальски образованного человека все было понятно, но люди в гвардии были разные, многих набирали из деревни. Размещали гвардейцев по два, три человека в комнате. Гольфрухта поселили с неким Никулеску, который стал его товарищем. Забегая на годы вперед, скажем, что Гольдфрухта он крепко выручил. Но это при совсем других обстоятельствах. А пока Никулеску был молодым человеком из города Яссы, закончил к тому времени юридический факультет университета. Начальный гвардейский опыт у него уже был. Кормили гвардейцев с дворцовой кухни. Еврейское происхождение Гольдфрухта начальство пока не волновало (потом ситуация изменилась). В документах национальность не указывалась, на евреев смотрели сквозь пальцы, тем более что в отделении, где служил Гольдфрухт, больше их и не было. Тем не менее, национальная политика была, в гвардию старались не брать венгров, русских, рутенов (украинцев), болгарам не совсем доверяли.

Теперь несколько слов о королевской фамилии, с которой Гольдфрухт познакомился близко[3]. Одна из центральных улиц Черновцов, бывшая при австрийцах Ратушной, стала при румынах имени Королевы Марии, а соседняя, которая ведет к вокзалу — имени Короля Фердинанда, ее мужа. Король Фердинанд — племянник предыдущего короля Карола Первого умер еще появления Гольдфрухта во дворце. У Фердинанда и Марии было двое детей — Ка-рол и Николай. Вот этот Карол — Карол Второй и был нынешний король. Брат Николай был очень большой любитель выпить и особой роли в дворцовой политике не играл. Он был адмиралом румынского флота, который еще только предстояло создать.

Во дворце командовал Янку Флондор. Он приходился королю двоюродным дядей. Флондор был майордомом и правой королевской рукой. Сам король Карол был огромного роста, под два метра (так теперь вспоминается), рыжий. И умный. Его мать — вдовствующая королева Мария жила тут же во дворце. Очень милая заботливая женщина, занималась домом. Бывшая жена Карола приходилась сестрой греческому королю. Она жила у себя

в Греции, то ли в официальном разводе, то ли по обоюдному согласию, потому что вынести амурные похождения короля для Ее Величества не было никакой возможности. Был еще сын Михай. Он и теперь является претендентом на румынский трон, если у народа появится большое желание. Тогда это был очень непослушный, шумный мальчишка. Летом, когда Михай уезжал к матери в Грецию, во дворце отдыхали, а потом начинался сумасшедший дом. Подросток мог сбежать из дворца, увести из гаража машину, мотаться по Бухаресту, устроить аварию. Очень невоспитанный мальчик, отец с матерью им не занимались, а придворная публика тем более. Друг Гольдфрухта Николеску ни о чем так не мечтал, как врезать принцу сапогом по заднице.

Во дворце было примерно двадцать (или двадцать пять) постов. Днем меньше, ночью больше. Все под номерами. Особое отношение было к посту семь (цифра может быть другой, теперь забылось), здесь опытные гвардейцы только перемигивались, а на вопрос новичков отвечали таинственно — сам увидишь. Но пока этот пост не отстоишь, настоящим гвардейцем не станешь. Караул днем — два часа, ночью — полтора. Во дворце можно стоять вольно, а снаружи, на улице, только по стойке смирно. Бухарест — жаркий город и наружный пост давался с трудом, тем более во всей блестящей амуниции, одна сабля сколько весит. Пот льет, головой нельзя пошевелить. Мимо ходят толпой, зеваки рассматривают, а тут даже с ноги на ногу не переступишь. На лошадях, было и такое, вообще, пытка. Лошадь тоже живая. Сапоги лаковые, из них, буквально, воду потом нужно выливать. На парадном входе охрана двойная — гвардейская и полицейская (сигуранца). Сигуранца ни во что не вмешивалась, молча вела наблюдение. После смены — личное время, хочешь — иди в душ, спи, играй, читай — твое время, а через четыре часа заступаешь вновь. В течение суток — два раза днем, два раза ночью. Такая караульная служба — примерно два раза в месяц. Румынская армия была по образцу наполеоновской. Звания такие же. Лейтенант, капитан, майор, никаких — младший, старший. У англичан можно было переступать с ноги на ногу, здесь — нет.

Была еще особенная служба — личная охрана короля. Король был гуляка и страшный бабник. Вечером таскался по кабаре и прочим злачным местам. Флондор его сопровождал, король мог куда-нибудь завеяться, приходилось быть начеку. Задача охраны: в отдалении следовать за королем. Одежда гражданская, для такого случая имелись костюмы, достаточно модные. Выходили с черного хода, пешком, хотя, конечно, во дворце было полно машин. Во избежание слухов, королевские похождения должны были оставаться в тайне, монарху в демократический век

приходится думать о репутации. Пока король развлекался, охрана устраивалась за столиком поодаль. Выдавали немного денег, что-нибудь заказать. Конечно, завсегдатаи Его Величество узнавали и относились с подобающим почтением, позволяя для вида оставаться инкогнито. И гвардейцев, конечно, знали. Но все равно расслабляться было нельзя, король мог разгуляться не на шутку. Когда монарх возвращался во дворец, и весьма часто не один, сопровождающие вздыхали с облегчением. Можно твердо сказать, подданные слабого пола своего короля любили, и старались, как только могли, доказать преданность. Кроме того, это был, действительно, здоровенный привлекательный мужик. Среди гвардейцев ходили легенды о размерах мужских достоинств короля.

Седьмой пост был возле королевской опочивальни. Что внутри, гвардейцев ни при каких обстоятельствах не касалось. Но тамошняя жизнь часто выплескивалась наружу. Опытные люди посоветовали новичку взять платок побольше, а на вопрос Гольдфрухта — зачем? — отвечали загадочно: будет, чем утереться.

В полукруглой приемной — большие часы. Там диванчик, тут диванчик, столики, стулья. Встали с Никулеску в караул возле дверей королевских апартаментов, откуда доносился шум, музыка, женский хохот, визг, в общем, ощущалось присутствие веселящихся дам. Никулеску — у него уже был опыт, скосил глаз и предупредил. Готовься. Двери распахнулись, и пьяные красотки в туалетах Евы с хохотом набросились на гвардейцев. Все случилось исключительно по их желанию, даже штаны расстегивать самим не пришлось. Потом женщины исчезли, оставив гвардейцев приводить себя в порядок. Управляться нужно было быстро. Разводящему майору нравы были известны, но устав соблюдался строго. Гвардия, как-никак. Рядом — очень удобно, был небольшой туалет, Никулеску уже имел опыт. Платок пригодился, помаду стереть. Все решали минуты. Едва успели, явилась смена. Майор оглядел влажных гвардейцев, но придраться было не к чему.

Никулеску поздравил товарища с боевым крещением, на этот пост всегда были желающие. Вернулись в казарму, передохнули, не засыпая, и тот же невозмутимый майор провел их к знакомой двери. Только местами поменял. Теперь там внутри было тихо. В восемь утра дверь отворилась и явилось Его Величество. В халате. Здравствуйте, господа гвардейцы. Как ночь? Спокойно? Так точно, спокойно. И король важно проследовал мимо. Наверно, поздороваться с мамой.

Через три месяца Гольдфрухта вернули из гвардии к себе в

полк. Отец немного постарался, но, главное, к национальному воспросу в гвардии стали относиться строже и Гольдфрухта не удерживали. Ему выдали гвардейскую форму. В родном городе офицеры — старшие по званию, не рассмотрев, как следует, первыми отдавали честь. Такая форма была шикарная.

Война в Польше. К тому времени у Гольдфрухта была серьезная любовь. Невинная девочка Эдит Райфер. Отец — адвокат, председатель Еврейской общины в Черновцах, эрудированный человек. Общественный деятель. Торговал лесом. Адвокатура и торговля — друг другу не мешали. Ходил Гольдфрухт к своей избраннице в форме, румынская форма была очень красива. Он служил в полку, но жил дома. Говорили о женитьбе.

Командир полка по имени Козма был хорошим знакомым отца и отнесся к вернувшемуся из гвардии офицеру милостиво. Отправил Гольдфрухта в отпуск на месяц. Тут началась война Германии с Польшей. Румыния в войне не участвовала, но польская граница с Буковиной была недалеко. В Румынии объявили мобилизацию, Гольдфрухта перевели в казарму, он стал офицером связи между Восьмой дивизией (командир Димитриу) и своим полком, возил приказы. Гольдфрухт отлично управлялся с любым транспортом, и представлял идеальный тип порученца.

Немцы продвигались, Советский Союз вступил в войну, бомбили где-то недалеко. Польское правительство отходило в сторону Румынии по маршруту Варшава-Львов-Черновцы. Как-то раз собрали человек тридцать из разных полков, и Гольдфрухта среди них, одели в какую-то непонятную форму, шаровары, как у скаутов, посадили на мотоциклы. Выдали чешские автоматы, тогда они были в новинку. Получили задание: выдвинуться через границу в направлении Станислава (нынешний Ивано-Франковск), замаскироваться вдоль дороги, дождаться поляков, сопровождать и перевести в целости через румынскую границу. Опасались грабежей и украинских партизан, которые нападали на поляков с тыла. Километрах в двадцати от Станислава группа рассредоточилась, люди, как ехали, по трое, укрылись в кустарнике, стали ждать. Дорога была забита беженцами, летали самолеты, чаще немецкие, но были и советские, стреляли те и другие, но немцы еще и бомбили. Попали в расположение Гольдфрухта, один погибший, у другого осколок в ноге, мотоцикл разбит. Сам Гольдфрухт уцелел. И тут показалась колонна. Впереди два грузовика с охраной, потом три большие черные машины. Проехали. Нужно было думать, как выбираться самим. Гольдфрухт встал на дороге с автоматом, стал ждать. Машина

вскоре появилась. Фольксваген, совсем новый, будто только из магазина. Водитель и больше никого — мужчина лет сорока, полувоенного вида. Свободно говорил по-немецки, но, видно, поляк. Ему нужно в Румынию. Втащили в машину раненого и поехали. Тут же кончился бензин. С автоматом в руках эту проблему быстро удалось решить. Гольдфрухт за рулем, поляк рядом. Пограничники остановили, с документами Фрица проехали беспрепятственно. Владельцу машины здорово повезло, Гольдфрухт так и не узнал, кто такой и откуда. Он не интересовался, а поляк молчал. Всех, кто в эти дни переходил границу, интернировали в Черновцах на стадионе, румынский нейтралитет отличался по отношению к немцам большой доброжелательностью. Сдали раненого, поляк предложил купить машину. За две тысячи лей. Очень недорого, Гольдфрухт тут же заплатил. Добавил сверху, поляк подарил ему пистолет Вальтер, из-за оружия у него могли быть неприятности. Гольдфрухт подвез нового знакомого до вокзала, оттуда отправился на дачу, спрятать пока машину. Спустя два дня вернулся, ее уже не было. Наверно, сторож засек, или кто-то еще, факт тот, что машину украли.

Все, кто принимал участие в этой операции, были награждены польскими военными крестами. И Гольдфрухт в том числе.

С Эдит Райфер кончилось ничем. Они переехали в Бухарест, а сразу после войны переселились в Израиль. Ее отец был важным человеком в Тель-Авивском горсовете, чуть ли не председателем. В Израиле Эдит вышла замуж, родила троих детей. Потом жила в Лондоне, Гольдфрухт, когда гостил в Израиле, навел справки. Хотел связаться, но передумал. Зачем?

Армейские неприятности. Гольдфрухт служил командиром отделения 4-й батареи 17-го артиллерийского полка. Командиром батареи был Пикуляк — украинец, значившийся теперь румыном. Украинец в тогдашней румынской армии не мог быть офицером Еврей пока еще мог, а украинец — нет. Впрочем, ко времени этих событий к евреям отношение сильно изменилось в худшую сторону. Гольдфрухт это на себе почувствовал. Пикуляк был лейтенантом в капитанской, по нашим представлениям, должности. Батарея была из четырех пушек, на каждую пушку полагалось по отделению. Пушку тащили шесть лошадей, в два ряда, в переднем ряду на лошадях сидели солдаты. Такая была техника.

Как и многие офицеры, Гольдфрухт жил дома. Если после службы офицеров оставляли в казарме, знали, что-то готовится.

Гольдфрухт ночевал тогда вместе с солдатами. В четыре утра начались маневры. Оседлали лошадей, выдвинулись на границу. Дело было где-то в районе Хотина. На другом берегу Днестра был Советский Союз, который называли просто Россией. Румынский берег — высокий, советский — пониже, видно далеко. Из советских сел через репродуктор неслась музыка, настроение казалось бодрым. Вообще, с румынского берега жизнь в Союзе выглядела достаточно праздничной, по крайней мере, на первый, поверхностный взгляд. Более основательно Гольдфрухт не интересовался и не вникал. В Черновцах был свой европейский мир, здесь были его интересы, местная буржуазия на восток не оглядывалась.

Изнурительный марш продолжался два дня. Шли вдоль виноградников богатейшего местного помещика графа Деласкала. В тогдашней Бесарабии вино было дешевле воды, ведро вина стоило одну лею, а воды — три. Во время марша Гольдфрут страдал, ночи были холодными, солдаты спали под армейскими одеялами, а его поход застал в одной шинели. На третью ночь пошел дождь. Он откочевал в сторонку, нашел укрытие, и так крепко заснул, что открыл глаза, когда полк снялся и ушел вперед. Гольдфрухт в шинели бежал по раскисшему от дождя полю, догонял своих. Батарея становилась на позиции для стрельбы. Пикуляк набросился на него, а Гольдфрухт — на солдат, с ними у него были хорошие отношения, почему не нашли. Те оправдывались, искали в темноте, кричать нельзя. Приказано было немедленно выступать, досыпали в седлах, пока командир догонял. В отделении у Гольдфрухта все ездовые были украинцы.

К тому времени резко усилились антиеврейские настроения. *На гражданке* пока было мало заметно, а в армии сказывалось основательно. Румыния приняла сторону немцев, в каждом полку появился немецкий советник. Евреев в армию теперь не брали, и выживали тех, кто еще оставался. Тут и начались неприятности. Как-то Гольдфрухт налетел в расположении полка на человечка в гражданской одежде. Тот выскочил из-за угла, обозвал Гольдфрухта *собакой*, а потом добавил *жида*. Это было слишком. Гольдфрухт с ходу заехал обидчику кулаком и пошел дальше. В тот же день его вызвали к командиру полка — Козме (напомним, другу их семьи). Полковник хмурился. Гольдфрухт нокаутировал полкового сапожника, бывшего сержанта с двадцатилетней выслугой. Объяснения Гольдфрухта, по-человечески, были понятны, но сапожник остался без зуба и теперь настрочил рапорт. Козма вертел недовольно головой, Гольдфрухта отослал. По-видимому, думал, как замять дело. Но, увы. В тот день

Гольдфрухт был дежурным по полку, зашел к себе в казарму. Солдаты чистили лошадей, качество работы проверяли белым платком. И Пикуляк нашел грязь. Гольдфрухт застал экзекуцию. Лежащего солдата его отделения стегали кожаными постромками. Гольдфрухт возмутился: — Господин лейтенант… А Пикуляк в ответ при солдатах: — Не твое дело, жид… Нужно заметить, Гольдфрухт не был драчуном и задирой, но в Англии много занимался боксом, и его сильно били, пока не выучили. В общем, Пикуляк оказался в нокауте. На этот раз Козма был очень мрачен. Гольдфрухт поднял руку на старшего по званию. Объяснения не устроили, Козма не мог их принять. И Гольдфрухта под охраной отвели к Уполномоченному. Был сороковой год. В армии ввели такую должность, вроде, политрука в Красной армии. Делом занимался лейтенант в синем кителе. — Как вы смели поднять руку на старшего по званию? Назвал жидом? Это не оскорбление.

И Гольдфрухта арестовали. Первые сутки он провел в гарнизонном карцере, размером со шкаф, в котором можно было только стоять. Держали в кандалах. Сутки дались очень тяжело, ноги распухли. Хорошо, что на следующую ночь в караул заступили свои солдаты, выпустили. Принесли поесть.

Объявили, дело передается в военный трибунал и Гольдфрухта перевели в городскую тюрьму. Тогда там сидели коммунисты, знаменитая Анна Паукер (в будущем Министр иностранных дел социалистической Румынии). Впоследствии Гольдфрухт, как следует, ознакомился с тюрьмой, когда занял место Паукер и ее товарищей. А пока его в кандалах провели через город, по Русской улице. Впереди солдат с винтовкой, сзади солдат. Пояс сняли, шпоры сняли, погоны оставили. Половина города Гольдфрухта знала, вели его днем. Вдоль улицы стояли зеваки, здоровались, интересовались, за что? Было не до них. Посадили его с фельдфебелем по фамилии Рыбак, того подозревали в шпионаже в пользу Советов. Начальником трибунала был полковник Кристеску. Полковник бывал у Гольдфрухтов в гостях, но теперь оказался в стесненных обстоятельствах. Солдат запугали, они дали показания, что Гольдфрухт полез драться без всяких оснований. Соответствующая статья предусматривала расстрел. Здесь до этого вряд ли бы дошло, но немалый тюремный срок грозил реально.

Отец отправился в Бухарест к своему другу Цинеску — начальнику румынского Генерального штаба. Цинеску отца принял, выслушал, сказал, ехать домой и не беспокоиться. Через два дня в камере появились обнадеживающие перемены, пришел

начальник тюрьмы, спросил о жалобах (не было), просьбах (не было), к Гольдфрухту впустили ординарца, привели в порядок мундир, сапоги. Вернули ремень. Повели в трибунал. Полковник сидел в казенном трибунальском кресле, похожем на трон. По бокам — еще двое военных и один в гражданском отдельно, на местах для родственников и зрителей. Таковых не оказалось, слушание было закрытым. Гольдфухта поставили перед трибуналом, зачитали *дело*. Приказали объяснить. Члены трибунала поглядели в сторону гражданского. Это был Цинеску. Он приказал Гольдфрухту подойти, повернуться спиной и изо всей силы залепил рукой по заднице.

На том и закончилось. Домой Гольдфрухта отвезла машина. Мать плакала. Отец был занят с больными и к сыну не вышел. Гольдфрухт принял ванну. За ужином семья встретилась. Отец был очень недоволен. Подумаешь, защитник еврейского народа. Нужно так действовать, чтобы не поддаваться на провокации, не попадаться, быть хладнокровнее и умнее. К ужину приехал Цинеску. Не пил. В соседней комнате у телефона дежурил адъютант, о чем-то докладывал. Цинеску оформил приезд в Черновцы, как инспекцию. В Европе шла война, напряжение чувствовалось. Тем же вечером Цинеску улетел в Бухарест.

Гольдфрухту дали короткий отпуск, подруги встречали восторженно. Прогулка в кандалах под охраной наделала шума. Когда вернулся в полк, Пикуляка не было, его перевели в Добруджу.

Приход Советов. Было летнее утро, люди шли по делам, магазины открыты, в общем, обычный день. Пока не появилась машина. Ехала медленно и вещала через громкоговоритель на румынском языке. Советский Союз предъявил ультиматум, через двадцать четыре часа советские войска вступят в Буковину. Румыния принимает ультиматум. Как гром с ясного неба. Потрясенные люди застывали на ходу. И тут же появились листовки. Ультиматум Румынии, оставить пространство до Прута. В тот день еще гадали, будут или не будут Советы занимать Черновцы, многие надеялись, что порядки в городе останутся прежними. Наверно, специально это было сделано, чтобы не поднимать паники, на следующее утро такие же листовки уже определенно называли Черновцы советскими. Началось невообразимое, по крайней мере, для состоятельных людей. До будущей румынской границы недалеко, тридцать километров, машин много, на каждом углу извозчик, уехать не составляло труда, но трудно вот так, внезапно принять решение. У Гольдфрухтов состоялся семейный совет.

Мать рвалась уезжать, плакала. Две машины, лошади, час езды, и они там. Отец был решительно против. Почему? Это их родина. Отец считал, что хорошо знает русских. Осталась память с войны. Это честные, добрые люди. Что они нам сделают?

По улицам потянулись армейские части. В Самгоре стоял полк тяжелых гаубиц, рядом артиллерийский полк, где служил молодой Гольдфрухт. Он был в кратковременном отпуске. Стал собираться.

Отец: — А ты куда? — Папа, я должен идти… Отец: — Никому ты не должен. Это твоя родина. Ты здесь вырос, ты здесь живешь. Почему ты должен уходить с родины? Мы — честные люди. Я — врач. Что мы кого-то ограбили? Кого-то убили? Ты честно служил. Мы остаемся.

Отец — глава семьи. Всегда принимал решения он. Такой в семье был порядок. И они остались.

Это не единственный случай, который теперь, задним числом может вызвать удивление. Люди, действительно, не испытывали за собой никакой вины, считали свою работу полезной и думали, что удастся прожить спокойно при новой власти. Вокруг шла война и предсказать даже ближайшее будущее было невозможно. Румыния явно ориентировалась на немцев, это проявлялось во всем, в том числе, в сильных антиеврейских настроениях. Гольдфрухт младший в армии на себе испытал. Отца можно было понять. Даже Пихул — начальник румынской политической полиции остался. Возможно, был какой-то договор с русскими, считал, что он им пригодится.

У Фрица был друг по кличке Чопик. Отец Чопика — по фамилии Ремер, был начальником уголовной полиции, бывший майор австрийской армии, румыны оставили его служить. Мать Чопика — баронесса Кока, из австрийско-итальянской знати, полный титул — Нелимонте де Валикьяре, сестру Чопика звали Мофальда. Они тогда уехали в Линц, старый Ремер там и умер. Гольдфрухт отгонял машину в гараж и съехался на улице с этими Ремерами. Движение шло напряженное, машины тянулись сплошным потоком, друзья успели на ходу пожать друг другу руки. Чопик упрашивал. Заворачивай, ты же на ходу. Поехали, а если что, вернешься. Давай.

Чопик до сих пор живет в Вене. Нашел Гольдфрухта в Киеве, они изредка общаются по телефону, но со времени того поспешного прощания на черновицкой улице так и не виделись. Казалось. расстаются на месяц, на три, жизнь в молодости представляется бесконечным приключением.

Итак, решение было принято. Вечером и ночью вперемешку с беженцами через Черновцы уходила румынская армия —

артиллерия, кавалерия, понтонные войска, пограничный полк, жандармский полк. Ранним утром пошла стрельба возле тюрьмы, освобождались румынские коммунисты. Кого-то ранили, больницы закрыты, многие врачи уехали, пришли к отцу извлекать пулю. Последней уходила комендантская рота. Строем, с винтовками тяжело пробежали по улице. Все происходящее было видно очень хорошо, из окон и с балкона дома Гольдфрухтов. Некоторое время внизу было тихо. Только советские самолеты непрерывно кружили над городом. Еще вчера оживленные улицы стали совершенно пустыми. Двери магазинов распахнуты. На тротуаре валялись выпавшие из чемоданов вещи. Румынские чиновники бежали, квартиры оставлены, имущество брошено. Город вымер. Потом оказалось, встреча Красной Армии состоялась возле вокзала. Но народа собралось немного, в основном, местные коммунисты.

Ожидание затянулось, советские войска обходили город. Июльский день был необычно пасмурным, шел небольшой дождь. Появился танк, встал, проехал дальше, за ним еще, пошли один за другим. Никаких флагов, пехоты, кавалерии, только танки. И вдруг цок, цок, цок, цок. На лошади сидит человек в форме и с зонтиком. С винтовкой. И под зонтиком! Гольдфрухт глазам своим не поверил.

Постепенно пустынная улица оживилась. Появилось много военных, забегали по домам. Стали подыскивать квартиры. Возле пустых появились часовые. И дальше, дальше, бегом, бегом. Квартиру, квартиру. И в доме Гольдфрухтов были подходящие. Напротив жил врач, доктор Дечнер — окулист. Уехал. Сверху — доктор Мендельсон, еще недавно бежал из Станислава, теперь отправился дальше.

На следующий день с балкона открылась картина невиданного разграбления. К бесхозным магазинам (большинство владельцев поспешно бежали) подъезжали машины и грузили все подряд. Обувь (неподалеку был магазин) вывозили мешками. Чтобы собрать пару, нужно было перерыть весь мешок. У Фрица появилась вскоре возможность убедиться.

Напротив дома Гольдфрухтов был отель Палас (в послевоенные годы — гостиница Киев). В Паласе модный ресторан. Около Паласа стоял швейцар. Когда отец выезжал со двора в своем фиакре, швейцар издалека снимал шляпу, демонстрировал почтение. Но настали новые времена, и швейцар разительным образом переменился. Первым делом надел красную повязку. Заявился к Гольфрухтам, почти не здороваясь, прошел прямо к отцу. И важно объявил. Ваша эпоха кончилась. Ваша квартира подлежит реквизиции. Хозяином прошелся по

комнатам, огромная гостиная, пятьдесят метров, столовая. Понравилось. Командовал, мать за ним бежала. Вот эту дверь нужно закрыть, здесь открыть. Мебель оставить, ничего не выносить. А кто въезжает — большая военная тайна. Вообще, настроение, как вспоминалось позже, было какое-то обреченное, никто не пытался спорить, возражать.

В дом стали тянуть военную связь, завезли генераторы, расставили вокруг охрану, разместили гараж во дворе. Машины Гольдфрухтов так там и остались вместе с лошадьми. Никто не объявлял о конфискации, просто выставили охрану, как и вокруг всего дома. Отец наблюдал и отмалчивался, рассчитывал выждать, когда жизнь устроится, станет более спокойной и понятной. По дому забегали озабоченные люди с оружием. В квартире Гольдфрухтов разместился штаб военной группировки. На первых порах все были Ивановыми, так в Черновцах звали русских. Потом стали присматриваться. Был главный, который командовал операцией, остальные представляли рода войск. Пехота, летчик, танкист, кавалерист, артиллерист. Жили при штабе, то есть, тут же в квартире. Утром разъезжались по частям, вечером возвращались.

Понемногу стали налаживаться отношения. Фриц подружился с летчиком Михайловым (или Михайленко). Громадный дружелюбный парень. Михайлов румынского не знал, Фриц кое-как понимал русский, представился, показал мундир. Михайлов удивлялся погонам. Как-то зашел, занес бумажку. Адрес по-румынски. Ком, ком. Единственно, что он мог сказать. Знаешь? Знаю. Поехали. Сел Фриц в полуторку рядом с шофером и отправились на Университетскую улицу. Там был склад, куда со всего города свозили конфискат. Мешки с сахаром, с кофе, с обувью. Все перепутано, навалом. Михайлов набрал всего, загрузил машину. И привезли к Гольдфрухтам домой, то есть, в штаб.

Обед. Мать поглядела на постояльцев и говорит: — Папа, — она иногда отца не по имени звала — Бернгард, а папой. — Как ни есть, но люди живут у нас, значит, они наши гости. Мы должны устроить обед. Так принято.

Отец согласился. Мать прошла по начальству, кого-то нашла, с кем-то переговорила, передала приглашение. И назначили торжественный обед. В честь освободителей. У Гольдфрухтов еще оставалась прислуга. Женщины с ног сбились. Стол на двадцать четыре персоны. Сервировали по самому первому разряду, три рюмки — совсем маленькая для водки, средняя для ликеров и большая для вина. Стаканы для воды. Парадные приборы, скатерть, салфетки. У Гольдфрухтов умели принять гостей.

Хозяев (бывших? — они сами не знали) было четверо — родители, сестра и Фриц. А из гостей — командующий, в белом кителе, застегнутом до верха. Голова бритая. Плохо знал французский, так он отрекомендовался. Штабные все знакомые, в форме. Некто в штатском. Простой мужик, неприметный, но лицо неприятное. Молчал, а остальные на него оглядывались. Фриц решил, что снабженец. В румынской армии должности, похожие на особистов, появились в последние годы, но они ходили в форме и опасений не вызывали. Настроение, впрочем, было приподнятое. Уселись, и Михайлов на правах старого знакомого (он и моложе остальных) взялся за столом распоряжаться. Где водка? На столе две бутылки. Встали, выпили за армию, за победу, и сразу налили по второй. Пользовались фужерами, рюмки остались нетронутыми. Бутылки быстро разошлись. В стену столовой был встроен шкаф. Понесли подряд — водку, коньяки, шнапс, ликеры, вина. Мать пришла в ужас. Она решила, что гости отравятся и умрут, а хозяев настигнет справедливое возмездие. Шепотом, по-немецки просила отца вмешаться. Это — водка. С ними что-то будет. А мы виноваты. Отец успокаивал, он

считал, что знает славянский нрав. В общем, все пили много, кроме отца и генерала. Тот проявил умеренность. На прощанье генерал поцеловал маме руку, и поблагодарил по-немецки и с юмором. Оказывается, он знал язык и оценил ее волнение.

Буквально на следующий день штаб неожиданно снялся с места (всего они пробыли дней десять). Комнаты опустели. Валялись разбитые ящики из-под швейцарского шоколада, пустые бутылки, глаза жгло от запаха перца. Целый мешок его завезли, открыли, рассыпали и бросили. В углу громоздилась гора непарной обуви, всех цветов и фасонов, мужские, женские. Затащили, что попало, и вот осталось. Фриц хотел выбросить, мать не разрешила. Потом скажут, украли. Тут же пришел бывший швейцар с повязкой. Он уже должность себе определил, вроде комендантской. Комнаты велел не занимать, а отцу объявил торжественно. — *Наши* гости остались очень довольны приемом. Я поселю к вам очень хорошего человека.

И удалился такой же важный… Казалось, жизнь налаживается.

Новые порядки. Штабные апартаменты оставались пустыми. В комнате, где раньше была приемная для больных, поселился инженер железнодорожных войск. Он командовал Черновицким депо. Это был хороший, спокойный человек. Швейцар сдержал слово. Квартирант учил Фрица читать по-русски. Первое слово, которое Фриц разобрал, было что-то вроде *Кмалих*. Так в побуквенном прочтении с латиницы выглядело — Сталин. Инженер был по национальности русским. Но вместе с новой властью объявилось много евреев — военных и гражданских спецов. Стали на постой у черновицких евреев, общение на идиш очень облегчило обмен информацией. Конечно, советские жили намного беднее, таков был бесспорный вывод, к тому же подселяли на избыточную квартирную площадь, к черновицкой буржуазии. Среди праздников у советских получалось: Первое Мая, Новый год, Праздник революции — не густо. И еще особые праздники, над ними местные научились тонко иронизировать — Праздник обретения дефицита. Поскольку в Советском Союзе дефицитом было почти все, здешняя жизнь выглядела сытной и изобильной. И черновицкая публика со страхом ждала приобщения к новым порядкам.

Первые перемены обнаружились очень скоро. Гольдфрухтам пришлось смириться с потерей обеих машин и лошадей, без всяких бумаг и объяснений. Машина, которую младший Гольдфрухт купил у поляка, пропала еще раньше, ее украли прямо с дачи. Отец не мог, как прежде, разъезжать по больным,

принимал только дома. Он полностью посвящал себя работе. А Фриц не знал, чем себя занять, ходил по замершему городу. Знакомые — а в Черновцах их семью знали все — удивлялись. Казалось, они должны были бежать первыми, богатые люди, что им здесь делать.

Но остались, как оказалось, не только они. Некоторые владельцы магазинов не захотели бросать свое добро. Остались мелкие фабриканты, понадеявшись, что им ничто не грозит, а опыт может пригодиться. Остались многие помещики, те просто не успели собраться. Жизнью Союза здесь особенно не интересовались, а когда интерес приобрел характер сугубо практический, времени на сбор информации уже не осталось. Различия в системах хозяйствования и отношения к собственности были настолько разительны, что их трудно было постичь. Люди были далеки от политики и не видели за собой вины. — Я не сделал им ничего плохого. — Было в то время ходким (и, как оказалось, бессмысленным) доводом. Убеждал говоривший только самого себя.

Город стали очищать от вредных элементов. Постепенно, но настойчиво. Магазины, фабрики, земля подлежали конфискации, первыми забрали тех, кто стал протестовать. Прошлись по социально активным элементам — в городе оставалось немало таких, разного толка — в том числе, социалистов, коммунистов, пытавшихся подсказать власти справедливые решения. Идеалистам, как всегда, не повезло. Прикрыли злачные места, переловили сутенеров, проституток, прочую бездельную и довольно безвредную публику — игроков, спекулянтов, просто шпану. Особо интересовались отставными чиновниками, военными — таких здесь было много, город считался уютным местом и сюда стремились на старости лет. Теперь этих людей выуживали по званиям, чинам, они принадлежали к эксплуататорским классам, а возраст большого значения не имел. Пихул — тот самый начальник полиции, который хотел служить, исчез одним из первых.

Забирали по ночам. Поползли слухи. Как и раньше, новости в дом Гольдфрухтов приносили больные. Приняв за день несколько десятков человек, Гольдфрухт-старший знал, что происходит в городе. Известия были неутешительными. Доктор быстро прозревал, понял, что ошибся. Ответственность за принятое решение — остаться легла тяжелым грузом. Он еще считал себя хозяином положения, но чувствовал, время уходит. И тут в дверь позвонили.

Обыск. Ровно в девять вечера. Человек с красной повязкой на

рукаве, за ним солдат с винтовкой со штыком. Бумага с постановлением прокурора о производстве обыска. Какова цель обыска? Оружие. Объяснялся на плохом украинском. Новая власть потребовала сдать оружие немедленно. Отец сдал австрийскую саблю, которую хранил с войны, буквально, плакал, когда сдавал. Но сдал. Были охотничьи ружья. Сдали. Пистолет Вальтер, полученный у поляка, Фриц спрятал надежно на чердаке.

Стали искать. Солдат переходил из комнаты в комнату, волоча за собой винтовку, ничего не трогал. А товарищ с повязкой трудился во-всю. Каждые полчаса звонил телефон, он докладывал. Все немалое семейное состояние, нажитое за несколько поколений, ушло в ту ночь. Из семейного сейфа. Золотые монеты — пятьсот золотых луидоров, и советские рубли, которые доктор обменял на леи, сорок лей — один рубль. Были доллары, франки. Все выгребли, подчистую в мешок. Драгоценности матери — серьги, броши, обручальное кольцо — ушли туда же. Обручальное кольцо отца и его же перстень, которым Австрийский император награждал лучших выпускников Венского университета (отец им очень гордился). У Фрица было два кольца, одно с инициалами — на бармицву, другое — в честь окончания лицея. Забрали. Все столовое серебро вытряхнули на стол, туда же ушли серебряные канделябры, ритуальные еврейские ценности, все это в другой мешок, а все часы, какие были в доме, в третий. Описания не делали, дали одну расписку на изъятие предметов из желтого металла и вторую — на серебро.

После обыска в доме не осталось ни копейки. Когда изъятие закончилось, чин подступил к матери — где остальное? Мы знаем, вы укрываете ценности. Выдайте, или мы арестуем сына. У Фрица в комнате нашли завалившийся рожок от пулемета. Несколько лет он пролежал среди хлама и вот теперь неожиданно попался на глаза. И румынский мундир в шкафу. Фрица обвинили в хранении оружия. Вызвали на подмогу еще двоих красноармейцев. Мать плакала. В памяти Фрица осталось чудовищное унижение.

Наконец, утром ушли, закинув мешки на плечи. Обыск длился двенадцать часов. Что это было — грабеж или конфискация? Уже теперь — в последние годы века дотошный Фриц послал запрос о судьбе конфискованного. Он вообще немало потрудился и даже кембриджские права на вождение попытался восстановить. Оттуда — из Кембриджа пришло письмо о необходимости (за давностью лет) новых сведений о физическом состоянии водителя. И откуда-то, из организации (или из архива), занятой учетом конфискованных ценностей,

поступило подтверждение о получении двадцати шести килограммов серебра. Судьба изделий из желтого металла осталась неизвестной. Фриц считал, что все награбленные ценности пополнили государственную казну.

— Вы думаете, себе? — Спрашивал он меня. — Конечно, нет. Ведь он же партийный. — Вера в чистоту партийных рядов у человека, прожившего дальнейшую жизнь в Союзе и имевшего возможность непосредственно ознакомиться с особенностями системы, впечатляла.

А тогда они остались в разграбленном доме среди перевернутой мебели. И вот еще деталь. Прошло тринадцать лет после трагической гибели жениха сестры. Все эти годы сложенное аккуратно приданое хранилось в отдельном шкафу. У домашних не хватало мужества, перевернуть и закрыть ту давнюю страницу. Теперь все было вывернуто, подвенечный наряд разбросан по полу.

Гольдфрухты походили, походили, и в десять утра легли спать.

Бегство. Конечно, из нынешнего дня напрашивается вопрос, почему они не жаловались, не искали справедливости. Каждое время рождает свое настроение, это может быть неопределенность, оптимизм, уныние, но во всем должна быть последовательность, предсказуемость. Они не ждали радужных перемен от новой власти, хотели всего лишь здравого смысла и признания, что ни в чем не повинные люди имеют право на жизнь. Теперь, когда надежды рухнули, ими овладел страх. Страх прямого грубого и беспощадного насилия и собственной беспомощности. Выброшенные одним махом из привычного, устоявшегося мира на произвол чужой системы, чужого языка, не понимавшие самих основ нового жизнеустройства, они были парализованы. Понять происходящее, приспособиться оказалось невозможно, выход был один — бежать.

Отец объявил на семейном совете, что бы ни случилось, но жить здесь они не будут. Братья помогут. Насчет братьев было сильно сказано (что потом и подтвердилось). Один брат во Львове, под Советами. Другой в Триесте, давно не дает о себе знать. Но решение принято, они должны уехать.

На Черновицком холме (когда-то он назывался Габсбургским) тем временем открылся пункт, где записывали тех, кто хочет переселиться в Румынию. Надежды на получение разрешения было мало, власть откровенно играла с людьми в кошки-мышки, но очередь стояла огромная. Доктора Гольдфрухта пропустили вперед, заслуженный в городе человек. Он записал мать, дочь,

сына. А сам свернул прием и стал искать покупателя на медицинское оборудование. Два микроскопа — цейсовские, бинокулярные, он ими гордился. Современная лаборатория. Центрифуги для анализов. Кабинет физиотерапии — солюкс, диатермия.

По-видимому, за ними уже следили, такое создалось впечатление. Это можно понять. Ограбленный врач (если к тому же допустить, что часть награбленного пополнила чьи-то карманы) был слишком приметен. Можно, конечно, арестовать, но тогда нужно забирать всю семью, а доктор известен в городе, пойдут пересуды, начнется паника (так потом и произошло при совсем других обстоятельствах). И какие основания для ареста? Новая власть пыталась произвести хорошее впечатление, доктор никак не принадлежал к числу эксплуататоров. И, видно, решено было действовать иначе.

Гольдфрухтам стали советовать, нужно спешно уезжать. Спасайтесь. Все продавайте и бегите. На улице подходили незнакомые, представлялись доброжелателями, предупреждали, за вами следят и вот-вот арестуют. Уже готов приказ, видели своими глазами. Только отец занялся распродажей, появился человечек из Львова.

— Ой, вы меня не помните, а я вас знаю. Нужно все продать. Быстро, потому что они отберут. Вы не знаете, сколько было таких случаев. Скорее, скорее. Давайте, я все заберу, вот, деньги. Конечно, не то, что оно стоит, но что делать. Как только продам, я с вами расплачусь.

Подъехал на двух машинах и вывез. Рояль, ковры, мебель, все, что было. Гольдфрухты только потом спохватились. Куда он мог увезти, когда выезд из города закрыт, машины без специального разрешения не пропускают. Но отец действовал решительно, не считаясь с потерями. Главное было, вырваться. Не осталось ни денег, ни вещей, квартира стояла пустой. И тут же объявились два фольксдойча. По всей Буковине их было много.

— Доктор, вы наших лечили. Мы из Тереблечи, граница за сто пятьдесят метров. С другой стороны Сегет, Румыния. Мы вас переведем. Берите по чемодану на человека, самое важное и идем. Будьте готовы в любой момент.

На переговоры ушло несколько дней. Риск был огромный, но и оставаться теперь было нельзя. Вечером отец послал Фрица к доктору Цухрухту. Этот Цухрухт — санитарный врач был отцовским приятелем. Времена меняются и люди тоже. Цухрухт был хорошая штучка, при австрийцах он был Теодором, при румынах — Тодором, при Советах еще кем-то, теперь трудно вспомнить. Но выбирать было не из кого, а отец в последний

момент решил оставить ему на сохранение дипломы — свой, сына и дочери. В Румынии, где-нибудь в другой стране он мог их подтвердить. Эти пусть пока остаются здесь. Кое-какие вещи он Цухрухту уже отдал. Но теперь у Цухрухта не открывали. Фриц поспешил к доктору Пахтеру. Отец его знал, Фриц был у него на свадьбе. Зиги (Зигфрид) Пахтер был женат на дочери директора банка. Позже ему удалось выбраться и он закончил свою жизнь в Париже, стариком. Конечно, вариант Пахтера был ненадежен. Но что делать? Вместе они спустились в подвал и нашли подходящее место для тайника.

Когда спустя два часа Фриц вернулся, дома было темно и пусто. Пробежал по комнатам, никого. Только телефон звонил каждые пять минут, но трубка молчала. На кухне записка. От отца. Сын, мы ушли в Строгинцы, добирайся сам, мы тебя ждем.

Строгинцы — в семнадцати километрах от города. Двадцать восьмое сентября. На улице темень. Комендантского часа нет, но кругом пусто. Ни людей, ни машин. Подъезжает эмка. Выглядывают два молоденьких офицера, объясняются на ломаном румынском. Вам куда? Строгинцы? Мы как раз туда. Садитесь, подвезем. В руках у Фрица чемоданчик с парой белья, за поясом, под пальто пистолет, тот самый припрятанный Вальтер. Доехали весело, офицеры пытались вовлечь Фрица в разговор. В Строгинцах показали дорогу, всё они здесь знали. Адрес немцев у Фрица был, он и самих знал, познакомились у отца. Шмидт и Дах — фамилии. Даже шутили по- немецки. Оне Шмидт эйн дах, оне Дах эйн Шмидт. Без кузнеца нет крыши, без крыши нет кузнеца. Военные укатили (сделали свое дело). Несмотря на полную темень, Фриц нашел немцев быстро. Зашел во двор. — А, уже приехали. Мы тут еще одного ждем. Но ладно, поехали, не будем терять время.

Сели на подводу. Выбрались во тьме на околицу, где-то совсем рядом — речка Сегет, за ней румынский городок с тем же названием, огни видны. Зашли в какую-то хату, лучина чуть светит. Стоят отцовские чемоданы. Сидите, говорят, пока и отдыхайте. Ваши уже там. Вещи потом переправим, с вещами им трудно. Все, вроде бы, правильно, но дурное предчувствие — лгут. Делать, однако, нечего. Фриц приоткрыл пальто, показал мельком пистолет. На тот случай, если собираются грабить. Проводники вышли, сказали, по нужде. Фриц выглянул. Стоят и фонарем помахивают. Это нашим с другой стороны знак подают. Так ему объяснили. Наконец, двинулись. Велели идти по тропке, не спешить, и в сторону не сходить. Ведут вдоль границы, видно по огням Сегета — ни дальше, ни ближе. Почему не туда? Здесь место неудобное для перехода. Идите спокойно, мы знаем. Шли

минут десять, и вдруг со всех сторон из кустов посыпалось. Стой. Кто идет. Выстрелы прямо над головой. Шмидт тут же рванул в сторону. Человек десять обхватили со всех сторон и сразу за пистолет. Знали, что вооружен. И между собой. Шпион, шпион. Фонариком тычут в лицо. Руки связали. Куда-то повели, втолкнули в комнату. Военный за столом. Фамилия, имя, куда шел. Впрочем, и так ясно, куда. Заперли в погреб. Там уже была женщина, крестьянка, тоже задержанная, в углу мешки картофеля. Дело швах. Но, как ни странно, Фриц повалился на мешки и почти сразу уснул. Утром подняли, вывели на улицу. Один красноармеец впереди на лошади, другой сзади. Фриц шлепал между ними по селу, руки за спиной. Подъехала военная полуторка. Задержанного передали, как положено, с бумагой, посадили в кузов и повезли под конвоем назад в Черновцы.

Спустя годы, после возвращения из лагеря Гольдфрухт узнал, что в том районе, где они пытались перейти границу, погибло немало народа. Люди хотели вернуться в Румынию, которую считали родиной. Шли толпой, днем, под румынским флагом, совершенно открыто. Их остановили пулеметом.

Тюрьма. Его доставили в бывшую казарму румынского пограничного полка, там теперь было место предварительного заключения. Раздели, обыскали, одежду перещупали. И он оказался в камере. Комната, метров сорок со вторым этажом по периметру, вроде балкона. Сверху стали звать, знакомый помещик по фамилии Фишер. Имение рядом с Черновцами. Гольдфрухт там часто бывал. Для конца сентября день выдался очень жаркий. Люди сидели в одних трусах и с ожесточением работали руками. Издали выглядело странно, но прояснялось быстро, стены буквально шевелились от невиданного нашествия клопов. Нужно отдать должное семье Гольдфрухта, клопа он впервые увидел здесь. Насекомых били туфлями. Ему выделили матрац, и Фриц присоединился к остальным. Недели две он провел в приличной компании, на втором этаже сидела чистая публика — фабриканты, помещики, был священник, преподаватель университета. Как выяснилось, Фишер хотел бежать при помощи все того же Шмидта, случай был явно не единичный, между собой они называли это *фирмой*. Ясно, Шмидт был далеко не главным.

Больше всего Фрица волновала судьба близких. Если, забегая вперед, подвести итог тюремно-лагерной одиссеи: он попал за решетку в конце сентября сорокового года, освободился из лагеря в мае сорок седьмого. С отцом он еще общался, с матерью простился в лагерной больничке, сестру видел издали, когда

разгружали лагерный эшелон, спустя несколько лет встретил в лагере. Мать и отец умерли в лагере, сестра осталась жива.

В ту ночь их провели тем же путем, что Фрица. Точно также проходило задержание, солдаты высыпали из кустов с криками и стрельбой. Но стреляли плохо. Пуля попала доктору Гольдфрухту в шею и вышла через щеку, как ни удивительно, ничего внутри не задев. Отца привезли в городскую больницу. Со стороны организаторов провокации это было крайне неразумно. Доктора в городе знали, тем более врачи, многие были его учениками. Они держали Гольдфрухта в больнице больше месяца, лечить не спешили, из больницы его буквально вырвали и под конвоем перевезли в тюрьму. Оказалась, инсценировка с переходом границы была налаженным делом. Но после их случая провокации прекратились, история наделала много шума. Все это Фриц Гольдфрухт узнал после войны, когда вернулся в Черновцы.

А первые сведения о судьбе родителей Фриц получил от своего следователя. Только то, что они живы, без каких-либо подробностей. Следователь был молдаванин, неплохой парень, претензий к нему не осталось. Допросов было два или три, не слишком утомительных. Для начала его обвинили в шпионаже. К кому шел? Кто приходил к вам в дом? Румынские офицеры? Румынская разведка? Мы знаем — вы офицер.

То, что он офицер румынской армии, Гольдфрухт не скрывал. Отвечать было легко. Какие могут быть у него секреты. Румынская армия со времен первой мировой войны была вооружена по образцу русской. Калибр пушек немного изменили, чуть высверлили стволы. Вот и все, что он знает. Все секреты записаны в уставе румынской армии.

А разведчики? Приходили люди к отцу. Лечились. В городе всегда было много военных. О чем говорили? Обо всем — о женщинах, о лошадях, о службе.

Допрашивали корректно. Можно даже сказать (Фриц так считает), относились с уважением. Мотивы его поведения были понятны, он и не скрывал — шли в Румынию к родственникам. В общем, с ним пока обошлись милостиво и перевели в тюрьму Марии Терезии.

Статью, по которой он осужден, Гольдфрухт узнал только в сорок втором году в лагере на Урале. Он получил пять лет за попытку нелегального перехода границы. Тогда он уже немного говорил по- русски, мог спросить. Кто осудил? Тройка? Что такое тройка? Этого ему объяснить не смогли. Тройка — есть тройка. То есть, суд? Нет. А что? Тройка.

Вышел он из лагеря через семь лет, последние два года был не заключенным, а интернированным. Ему объяснили, он мог

нанести ущерб стране и был потенциально опасен как офицер вражеской армии. Такими же интернированными считались немцы Поволжья. На его положении это никак не сказалось, он продолжал сидеть все в том же лагере. И все, кого привезли вместе с ним, и кто смог выжить за эти годы, продолжали сидеть. Отпустили вместе всех уцелевших.

А тогда Фриц попал в городскую тюрьму Марии Терезии, как раз напротив лицея, где учился. Была в этом некоторая ирония. В обязанности черновицкого гарнизона входила охрана тюрьмы, Фриц несколько раз командовал таким караулом. В тюрьме он был не впервые, хоть из недавнего прошлого ему, конечно, трудно было вообразить нынешнюю участь. Зато было с чем сравнить. Обыскали тщательно, по всем правилам и определили в камеру под номером 50. Камеры были рассчитаны на двух человек, а в ту осень, находилось в них постоянно от семнадцати до двадцати двух. Лежали на цементном полу, под окном располагался мелкий фабрикант Розберг — знакомый отца. Он находился здесь уже более месяца, пользовался уважением, как старожил, и устроил Фрица рядом. Лежали валетом. Ширина камеры — метр девяносто, поворачивались по команде. Окна были забиты наглухо уже при нынешней власти. Не топили, но жарко было всегда. Столько людей, и запах от параши. Арестанты были сплошь черновицкие, много воров, шпаны, два известных черновицких сутенера. Были непонятные люди — набожный, молодой украинец Турунчук, крестился каждые десять минут. Его почти каждую ночь вызывали на допрос. За что Турунчук сидел, Фриц так и не понял. Его тоже вызвали, предложили сотрудничать. Тут Фрицу было просто, он сказал, что не понимает ни русского, ни украинского, и от него отступились.

В этой камере он провел девять месяцев — до 23 июня 1941 года. Утром давали чай и двести пятьдесят граммов хлеба, днем суп из зеленых помидор неописуемого вкуса. Потом норму хлеба немного повысили, это была основная еда. На прогулку Фриц вышел лишь раз, и рассудил, что двадцать минут в тюремном дворе ничего не дадут. Часа два — другое дело, а так — только простудиться, и, главное, привыкать каждый раз к камерному зловонию было мучительно. Поэтому он неотлучно находился в камере, пренебрегать прогулкой разрешалось. При румынах, при австрийцах камеры не запирались (это Фриц знал, как бывший караульный), заключенные ходили друг к другу в гости, делали, что хотели. С тех пор порядки сильно изменились.

В середине июня в камеру привели украинца Помзера, тот служил у Фрица в подразделении. Помзер был парнем сообразительным, знал языки (немецкий, румынский,

украинский), румыны направили его в какую-то специальную военную школу. И вот теперь он неожиданно объявился. Можно было только догадываться, за что он попал, Помзер на свой счет не распространялся, но держался бодро. Говорил, что скоро начнется война, и судьба их непременно переменится к лучшему. О том, что могут расстрелять, Фрицу как-то не думалось, да и сама камерная жизнь была такова, что мысль о смерти не казалась страшной. Вообще, за годы заключения Фриц стал фаталистом, в тюрьме, как он уверен, это лучший способ выжить.

Двадцать второго июня в тюрьме начался шум, беготня, арестанты вернулись с прогулки с известием — война. Двадцать третьего заключенных вывели во двор, стали пересчитывать, готовить к отправке. Был очень яркий летний день, Фриц хорошо это запомнил после многомесячного сидения взаперти.

Офицер вызывал пофамильно и солдаты уводили группами. На букву А, потом Б, такой-то, такой-то. В ответ на свою фамилию, названный поднимался, называл имя, отчество.

Дошло до Гольдфрухта. Фриц откликнулся — Фридрих Бернгардович, неподалеку поднялся старик — Бернгард Арон Исаакович. Это был отец. Два часа они сидели рядом и не узнали друг друга. Отец никогда не носил бороды, а здесь — длинная, седая. И Фриц, видно, тоже сильно изменился. Потом выяснилось, они находились в соседних камерах, Фриц — в 50-й, отец — в 48-й, мимо его камеры отца выводили на прогулку. Про судьбы матери и сестры отец ничего не знал, как оказалось, они прошли через тот же двор вслед за мужчинами.

Их группу — человек двадцать посадили в закрытую машину и повезли на вокзал. С утра была слышна сирена воздушной тревоги и звуки далекой бомбежки. И последнее, что сохранила память от довоенного города: окно в машине было приоткрыто, и сквозь решетку он увидел рабочих, которые неторопливо белили трубы на крыше горсовета.

Дорога на восток. В эшелоне он не расставался с отцом ни на минуту. Вагон для перевозки лошадей был приспособлен под заключенных: нары, одной доски в полу нет, это уборная. Народ самый разный. Никто не бывал раньше в глубине страны, куда они сейчас направлялись. Был генерал-австриец 86 лет, его тоже забрали. Был бывший комиссар полиции с сыном, Фриц его знал, вместе учились, было несколько важных румынских чинов. Вместо четырех лошадей, как раньше полагалось, везли теперь человек сорок. Порядки в вагоне свободные — хочешь, устраивайся на нарах, хочешь — на полу. Подстелить нечего, даже соломы нет.

На день полагалось полбуханки зеленого от плесени хлеба, селедка и вода — два ведра на всех. У отца был диабет, Фриц отдавал ему свой хлеб, а тот ему — селедку. Тем они и жили больше месяца.

Вначале их преследовала румынская авиация. Хотели поезд остановить, сам эшелон не бомбили, только пути впереди. Во время бомбежки останавливались, охрана разбегалась, можно было выдернуть доски в полу и попытаться бежать. Но никто так и не решился. Было много пожилых, обессиленных тюрьмой, молодежь вместе с престарелыми родственниками. Фриц с отцом. Куда он мог бежать? Сам он, конечно бы, решился, но не сейчас. Переехали днем какую-то большую реку, бомбежки закончились. Часто стояли рядом с эвакуированными — такие же эшелоны, только двери вагонов нараспашку. Смотрели друг на друга сквозь решетку, ближе охрана никого не подпускала.

Примерно через месяц прибыли на место. Поезд остановился, где-то за Свердловском. Лес кругом, высокая насыпь, стариков из вагонов приходилось сносить на руках. Фриц запомнил, как они уселись с отцом, передохнуть. Пришли подводы. На них положили багаж, у кого был, сумки, отца подсадили. Неподалеку разгружался женский вагон, Фриц увидел мать и сестру, мать выглядела совсем старухой, обе были больны, не могли идти сами. Поговорить им не дали, все, что Фрицу удалось — помахать издали.

Лагерей в жизни Фрица оказалось несколько. Первый был обжит — 3-4-х метровое ограждение из колючей проволоки, вышка на каждом углу, ворота, бараки. Началось с обыска, забрали медицинские инструменты отца, которые он сумел сохранить со дня ареста (с ними шел через границу). Распределили по баракам. Отец неожиданно воспрянул духом. Здесь следует добавить (Фриц это видел), отцу было очень тяжело. Отнюдь не физически. Сознание того, что, приняв решение остаться в городе, он обрек на страдание близких, сделало его глубоко несчастным. До самого последнего часа.

— Ничего, — крепился отец, — я поговорю с начальником. Мы — военнопленные, нас должны обеспечить.

Отец продолжал считать себя офицером австрийской армии. С этим он пошёл по начальству. Непонятно, как он объяснялся (не зная русского), но факт тот, что его назначили лагерным врачом. Правда, без инструментов, их не вернули. Не положено. Показали, где будет врачебный пункт. На следующий день вызвали Фрица.

— Ты — сын врача? Пойдешь хлеборезом.

Фриц кое-как понимал украинский. Среди заключенных

оказались знающие люди, объяснили. Хлеборез — человек, кто принимает хлеб, режет на пайки, взвешивает и выдает. Фрица привели в барак, оказавшийся кухней, приставили к небольшому окошку, дали нож, весы, показали — вот, сколько должно быть, 400 грамм (или 200, с тех пор он забыл сколько). Хлеб свежий, ещё сырой. Попробуй отрезать ровно 400 грамм. Адский труд, руки с непривычки были в крови. Через три дня его сняли. Причем быстро, работа считалась очень выгодной. Он был рад. А продержался бы на хлеборезке, возможно, остался бы в этом лагере, вместе с отцом.

Отца изгнали из медпункта спустя несколько дней. Бернгард Гольдфрухт упрямо считал себя военнопленным и отстаивал права лагерников, ориентируясь на всякие международные соглашения, которые помнил с прошлой войны. Их этап оказался особенным. Поразительно, что будучи заключенными, узнав тюрьму и отчасти привыкнув к тюремным порядкам, люди не могли понять, что с ними происходит. Обыватели и буржуа они представляли мир, как продолжение родных Черновцов, реальность — пусть менее благополучную и комфортную осознавали, как неразрывную череду причин и следствий. Прошлая жизнь придала им уверенность, что наказание (пусть даже несправедливое или чрезмерно жестокое) следует за виной, но они не видели за собой никакой вины. Это лишало их нынешнее состояние какого-либо подобия смысла, в том самом изначальном его понимании, которое определяет существование и жизнь. Они не знали языка, правил поведения, не понимали систему, которая загнала их сюда, но проблема здесь была глубже — отсутствовало само представление о цивилизации, которое еще недавно казалось им — европейцам совершенно естественным. Здесь был свой особый мир. Они старались приспособиться и выжить, но этого оказалось недостаточно.

Фриц провел в этом лагере рядом с родителями недели три. Собралось человек триста-четыреста со всей Буковины, много знакомых. Конечно, нынешнее существование не имело ничего общего с прошлым, но, казалось, хуже быть уже не может. И тут утром, на перекличке всем более-менее здоровым приказали собираться.

Фриц успел забежать к матери. Она была в лазарете, совсем больная. В памяти осталось — матрац на досках и голова на подушке. Что он мог сказать? За минуту поздоровался и попрощался. Скоро увидимся. Это были ее слова. Поцеловались, и он вышел. С сестрой так и не простился, женщин угнали на какие-то работы.

Еще было тепло. Отец подошел, торопясь, их уже строили в

колонну, снял с себя шапку, надел на него.

— Сыночек, не думай о нас. Мы о себе позаботимся. Делай то, что считаешь нужным.

Они обнялись. Больше он родителей не видел. Известие о смерти получил сразу на обеих. Спустя много лет пришли официальные справки. Отец умер 9 ноября, мать — 2 декабря 1941 года. Причина смерти — болезнь сердца и возраст, поразительно, что лагерные болезни проходят под теми же названиями, что болезни в обычной жизни.

Лагерь . Их выгрузили на снег среди леса. Как выяснилось (потом Фриц узнал), это была все та же Свердловская область, километров за 70 от Полярного круга. Ближайшее село километров за 150, это в одну сторону, в другую — за 30.

Объявили. Стройте здесь, на этом месте. Раздали топоры, пилы. Расстелили брезент. На снегу ночевали. Жгли костры, дров хватало. Лошадей откуда-то пригнали. Расчистили место. Когда выстроили барак, перешли жить туда, потом — второй, третий, вахту, ограду, вышки, ворота, столовую, в общем, подняли тюрьму собственными руками. Подавляющее большинство заключенных не имело никакого отношения к строительству, лишь немногие, в основном, крестьяне, вообще занимались физической работой. Поэтому результаты их труда можно считать удивительными, вернее, неожиданными, как неожиданным оказалось самое осознание рабства. Здесь Фриц понял, он стал рабом. За несколько месяцев уральской зимы они поставили среди леса лагерь. Место это — лагпункт, называлось *Белая.*

Фриц обморозил ноги, все это время он ходил в туфлях, оставшихся еще с ареста. Обморожения были массовыми. Организовали бригаду, которая плела лапти. Фриц тоже научился, у плетения лаптей, как у любой профессии, — свои секреты.

Потом, когда стали выводить на лесозаготовки и строительство узкоколейки, выдали старые ватники и валенки, шапки. Время для Фрица кончилось. Исчезло всякое представление о календаре, о днях недели, тем более, первые три-четыре года выходных дней не было вообще. Заметным оставалось только время года — весна, короткое лето, осень. Примерно спустя год с новым этапом пригнали старого знакомого по Черновцам. Тот работал при лазарете, хоронил мертвых. От него Фриц узнал, что родителей нет в живых. На следующий день он остался в бараке, на работу не вышел. Его бросили в карцер — большую крытую яму с грязной подстилкой на дне. Большую часть времени он провел один, в полной темноте. Он перестал

есть. Ежедневно полагался кусок хлеба и вода, на следующий день их забирали нетронутыми (и съедали тут же), всего восемнадцать раз. Так он считал время. Не то, чтобы он хотел умереть, такие мысли не приходили в голову, но испытывал полное безразличие к собственной судьбе. Возможно, благодаря этому, сознание оставалось совершенно ясным. Через восемнадцать дней его подняли и повели в медпункт. Шел он сам. В медпункте отказались его принять. На счастье Фрица, у лагерной бани, куда его отвели, в тот день оказалось два достоинства — горячая вода и заведующий — бессарабский еврей, старый знакомый.

Была еще одна история, связанная с этими людьми. Спустя некоторое время, когда он уже вышел на работу, у него невыносимо разболелся зуб. Врач — женщина, капитан медицинской службы считала всех заключенных врагами и предателями и никак им не сочувствовала. Она велела Фрицу придти в начале следующего месяца (так он узнал, какое теперь число), а объяснила: за этот месяц медицинский отчет уже составлен, количество больных зубов подсчитано. До первого числа оставалось несколько дней, и Фриц не стал ждать. Он пошел к тому же знакомому банщику, и тот пальцами вырвал зуб.

Такая манипуляция — удаления зубов руками проводилась и по другому поводу, Фриц тому свидетель. История эта связана с уголовниками. С ними он постоянно сталкивался. В лагере украли единственную память об отце — серебряную коробочку, в которой отец носил заменители сахара. Одну из двух он отдал сыну. Как-то Фриц попал на свердловскую пересылку, во время перевода из одного лагеря в другой (всего таких лагерей в его жизни оказалось четыре). Завели новоприбывших в огромную камеру, народа было много, но место оставалось. Каждый из лагеря шёл с какой-то сумкой, с парой белья, шарфом, тряпками. Мундштуки делали из дерева. Стали устраиваться на ночь, укладывались под нары, а Фриц выбрался на самый верх, внизу дышать было нечем. И вдруг свет погас. В полнейшей тьме полезли воры, стали ощупывать. Только и слышно вокруг, ш-ш, ш-ш, ш-ш. Начинаешь дергаться, они давят умелыми руками. У Фрица выдернули валенки, у других еще что-то. Поднялся крик: Охрана! Свет! Охрана в ответ со смешком: — Что такое? У вас света нет? Сейчас сделаем… Пока всех не обшмонали, свет так и не включили. В этом бессарабском этапе был бандит по фамилии Билецкий из Кишинева, между прочим, когда-то при румынах имел свой банк. На следующий день стали выяснять отношения с камерным авторитетом. Схватили какого-то несчастного, на спор Билецкий сунул руку ему в рот и выдернул здоровый зуб.

Единственный раз был случай, лагерные уголовники спасовали. В лагерь пригнали сплоченной группой человек пятьдесят грузин. Одеты отлично, шапки меховые, настоящие. Это потом выяснилось, было лето, и теплую одежду грузины притащили на себе, в мешках. Поселили их в отдельном бараке, главный пошел к начальнику. Мы ваше есть не будем. Сколько нужно, чтобы нас кормили? Мы деньги найдем.

Буквально на следующий день во время вывода в столовую уголовники украли у грузин все, что у тех было. И тут началось. Грузины вломились в барак, устроили побоище. Били, не разбирая, всех подряд. Фрицу тоже досталось, как и многим другим, никак к краже непричастным. Охрана в выяснение отношений не вмешивалась, рассчитывала поживиться. Большую часть украденного вернули, главное, шапки. Вскоре грузин отправили куда-то дальше.

Лагерь был многонациональный. Много было прибалтов — латышей и эстонцев, поволжских немцев, были поляки, в сорок четвертом году стали поступать военнопленные. Для них этот лагерь был большой удачей. Неподалеку был еще один — там держали эсэсовцев, по пути на работу колонны заключенных иногда встречались. Порядки там были совсем зверскими. В лагере Фрица выдавали ношеную спецодежду, от холода она спасала. А у тех, в чем попал в плен, в том и ходил. Зимой на них было страшно смотреть.

Фриц держался одиночкой. Кто говорил по-немецки, был свой человек, с этими людьми Фриц чувствовал себя свободнее. Начальство национальную принадлежность никак не выделяло, относилось ко всем одинаково, все решала норма рабочей выработки. Выжить было очень трудно. Карцер, как ни странно, сослужил хорошую службу. Прошлое отступило, оно осталось в памяти, но между ним и сегодняшним днем пролегла черта. Пришло, соответствующее месту, чувство реальности. А вместе с ним появилось желание выжить. Как ни странно, питала не надежда на восстановление справедливости, на освобождение (об этом он запретил себе думать), а злость и обида. Главное, что он теперь помнил, были слова отца. Будь один и не бойся.

Основной работой были лесозаготовки. Поднимали людей в шесть, перекличка и построение в семь, рабочий день вместе с дорогой занимал двенадцать часов. И то не всегда, был лагерь, где оставляли в лесу до выполнения нормы. Пока не сделаешь, не уйдешь или *сдохнешь* (слова Фрица) там же в лесу. Морозы зимой были за 50º, свыше 41º из зоны уже не гнали. (в 40º можно), люди оставались в бараках. Бараки обогревали огромные железные печи, и все равно холод был страшный. Первые выходные — раз в

месяц стали давать в сорок пятом году.

Построение на плацу, перекличка, (выкликали пофамильно, в ответ полагалось — *есть* и назвать имя и фамилию). Потом разбирали инструменты, строились и шли колонной на место. Нужно было их видеть — изможденных, оборванных, словами этого не описать. Один из офицеров охраны так пошутил: — Наши заключенные самые здоровые — туда и назад десять километров в снегу и еще норму дают. Порядок был известен: шаг влево, шаг вправо — считается побег. На глазах Фрица застрелили румына — молодого врача из новоприбывших военнопленных. Зачем-то ему понадобилось отойти, языка не знал, окрика не понял. Уложили на месте.

Кормили так — утром болтушка, без мяса, из муки и вечером такая же. На сутки полагалось шестьсот граммов хлеба для тех, кто выполнил рабочую норму, иначе уменьшали до двухсот пятидесяти. Хлеб был хорошего качества, пекарня за пределами лагеря обслуживала вольный поселок. На хлеб можно было купить продукты или табак. Спичечная коробка табака шла за буханку хлеба. Курево не полагалось, обмен шел через вольных, которым разрешался выход из зоны. За зоной хлеб ценился, шла война, хлеб был по карточкам.

Раз в год заключенные проходили медкомиссию, она определяла пригодность к труду. Врач грузин жалоб не выслушивал, на сердце и легкие внимания не обращал, выносил решение на основании осмотра ягодиц. Если под кожей оставалась капля ткани, человек считался годным, если торчала голая кость, переводился на более легкую работу. Такой способ практикуется ветаринарами и домашними хозяйками для оценки кур и скота, здесь он применялся для врачебно-трудовой экспертизы.

Боялись эпидемий. Раз в неделю или две (когда как) полагалась баня, меняли рубашку и кальсоны. Мыло выдавали исправно, после хлеба это был наиболее частый объект воровства. В лагере была кухня и прачечная. Начальник столовой был хороший человек, поляк из заключённых. За всем этим лагерным бытом стояла особая и хорошо отлаженная система отношений, которую невозможно объяснить человеку со стороны. И в самом лагере многое зависело от начальства, по нему определялось — лагерь хороший или лагерь плохой.

Среди начальства встречались садисты. Один такой остался в памяти Фрица на всю жизнь. Из военных, побывал на фронте и считал всех заключенных врагами. Как-то выгнал человек двадцать (то ли провинились, то ли просто ему не понравились) на мороз (было градусов тридцать) и заставил их — раздетых

бегать кругами. Люди падали, их поднимали и заставляли бежать дальше. Первая и вторая зимы были совсем страшными. Как-то Фриц заметил за бараком присыпанный снегом штабель, решил, что поленница. Ночью их подняли, вывели за зону, велели место очистить от снега. Разложили костер, отогрели промерзшую землю, выкопали яму и уложили туда трупы — содержимое этого штабеля.

Добавки к лагерному рациону заключенные добывали себе сами, проявляя сноровку и изобретательность. Это было подлинное искусство выживания. Летом в лесу было много клюквы, есть ее без сахара трудно, но они ели. Весьма полезным оказался дикий чеснок, Фриц ел его килограммами. Больше всего страдали от цинги и куриной слепоты. Спустя годы при встрече выяснилось, что у сестры Фрица в лагере началась куриная слепота. Вылечилась примочками мочи. Полезный совет.

Крайне полезным был турнепс — овощ типа сахарной свеклы, намного больше. Сначала ели его сырым, прекрасный (для заключенного) вкус, турнепс отличался мочегонным эффектом. Потом кто-то знающий подсказал варить из турнепса мед. Начальство проявило понимание, заключенные раздобыли огромный казан, вычистили его и целую ночь по очереди дежурили, вытапливая турнепс на медленном огне. Пили березовый сок. Гнали скипидар из березовых чурок. Некоторые умудрялись использовать его как спиртное. Летом в реке, по которой сплавляли лес, руками ловили рыбу. Вода была ледяная. Если охрана разрешала, можно было во время рабочего перерыва тут же в лесу сварить уху. Фрицу показали еще одно лакомство. При распиле деревьев попадался особенный белый червь. Вкусный, если, конечно, себя заставить. Фриц вспоминал китайский ресторан в Париже, как его вывернуло от похожего блюда. А здесь привык и ел с удовольствием (если, конечно, к лагерной жизни применимо это слово — *с удовольствием*). Вся эта гастрономия заканчивалась зимой, когда наступало голодное время. Особенно в первые годы. Фриц запомнил парня, который выбирал из выгребной ямы непереваренный горох (многие страдали от поноса), отмывал и ел.

Как бывшего офицера, Фрица выделяли. И держался он хорошо. Одно время его ставили во главе колонны, пятьсот человек шли через тайгу с Фрицем во главе. Назначили бригадиром. Но ненадолго. От любой формы выдвижения Фриц уклонялся, как только мог. Он не хотел ни общаться с начальством, ни, тем более, кого-то погонять. Здесь не следует искать моральных соображений, просто он оценил мудрый совет отца. Ему, чтобы выжить, лучше было оставаться одному. Работа

давала такую возможность. Как ни странно, но именно там, в лесу Фриц чувствовал себя свободным. Солдаты становились в оцепление, а внутри было то самое место, где все решала работа. Главное было выполнить норму, а все остальное начальство не волновало.

Он отказался от бригадирства. Вот его логика. Бригадир отвечает за своих людей и отвечает за норму. Если бригада не выполнит норму, наказывают бригадира. Сам бригадир не работал, бегал по участку и погонял других, мог палкой огреть, имел такое право. На бригадирскую должность всегда были желающие, тот же бывший сутенер Романюк. В чем здесь выгода? Бригадир получал дополнительный паек. Но нужно писать отчет, вступать в отношения с начальством и, главное, заставлять людей. Фриц никого заставлять не мог, и, главное, ему было проще отвечать за себя. В конечном счете, бригадирами, в основном, оказались русские (наверно, потому, что им легче договориться с охраной и учетчиками), и все были люди разумные.

Вообще, как следовало из рассказа Фрица, моральные понятия, как их понимают свободные люди, в виде альтернатив и этических оценок, в лагере отсутствовали. Просто было нечто, какой-то предел, который проявляет себя, почти независимо от соображений морали. Из чего он состоит — из основ воспитания, стойкости, воли к жизни, но результат таков, что человеку проще умереть, чем изменить самому себе. Со многими так и произошло. Но отбора в иную сторону тоже не получилось, по крайней мере, на глазах Фрица. Потому что те, кто старался приспособиться любой ценой, оказались в той же могиле. К примеру, Романюк. Огромный мужик, известный черновицкий сутенер. Устроился бригадиром, погонял других, и все равно не выдержал.

Из всего их этапа уцелела десятая часть, не больше. Вывезли тогда из черновицкой тюрьмы человек триста-четыреста, вернулось тринадцать (вместе с Фрицем). Были те, кто освободился раньше, кого-то перевели, как сестру Фрица, в город на завод, но таких оказалось немного. Старики погибли все. Уцелели, в основном, крестьяне, люди, привычные к физическому труду. Остальные, даже здоровяки не выжили.

Сначала Фриц работал с напарником, потом отделился и стал работать сам. Получал с утра топор, пилу и шел на свой участок. Нужно было выполнить норму (высота пня не больше двадцати сантиметров, если выше — наказывали), обрубить ветви и распилить ствол на заготовки — по три метра десять сантиметров. Такие заготовки шли на крепеж для шахт. Он

научился валить несколько деревьев сразу, подпиливая с таким расчетом, чтобы они падали одно на другое. Это значительно облегчало жизнь. При норме три кубических метра, он делал три с половиной. Это обеспечивало ему дополнительный паек. На доске передовиков красовалась его фамилия. Он стал работягой, и ничто другое его не интересовало.

Работы были разные. Строил узкоколейку. Заготавливал дровяные чурки для газогенераторов. Очень трудной была добыча торфа — топлива на зиму в торфяном окопе или шахте. Торф был очень тяжел, лопата обрывала руки. Занимался лесосплавом, сталкивали бревна по желобу, который тянулся с вершины горы в реку. Река была забита затонувшими стволами, и в самом желобе они постоянно застревали. Это была опасная работа. Летом их отправляли на разгрузку барж с продуктами на зиму — бочками селедки, капустой, картошкой. Очень трудно было корчевать пни. Лиственница высотой 30–40 метров в два охвата, длинные цепкие корни во все стороны. Даже трактором вытащить, было бы непросто. Но трактора не было. Была лошадь, и она не справлялась.

Все это пропало. Фриц видел своими глазами штабеля погибшего леса у опустевших лагерей. Там они и остались, уже наполовину сгнившие. Никто не вывозил, да, и невозможно было вывезти. Река была забита деревом. Все погибло бессмысленно — люди и лес. Столько лет с тех пор прошло, а Фриц до сих пор не может смириться. Все осталось под таежным мхом — погибший лес и могилы.

Последним местом, где он оказался, был лагерь с женской зоной. Женщин за территорию не выводили, они занимались лагерным хозяйством. Одна из женщин услышала его фамилию. Свела с сестрой, она оказалась здесь же. Общались недолго, сестру перевели дальше в Казань на фармацевтический завод. Это был первый послевоенный год, теперь их считали интернированными. Редко, но стали освобождать, пока по одному. Румын или тех, у кого были родственники в Румынии, которые могли оттуда похлопотать. Для остальных все оставалось по-прежнему, стали, правда, давать выходной — раз в месяц.

Что в итоге. За время пребывания в лагере Фриц овладел многими рабочими профессиями. Ни одна из них ему потом не пригодилась, но он обучился главному, искусству выживать. Научился русскому языку. За все время он видел несколько обрывков газеты, лишь в последний год, когда стало чуть свободнее, стали попадаться книжки, и он стал читать. Будущее он совершенно не представлял, считал себя гражданином Румынии, и был намерен, если когда-нибудь выйдет на свободу,

отправиться именно туда. Друзей или каких-либо теплых впечатлений от лагеря не осталось. Самое сильное, что сохранилось — чувство злобы против системы, которая загнала его в лагерь, против бессмысленного уничтожения людей. Зачем вывезли и уничтожили стариков? Почему их превратили в рабов, целью использования которых был не труд, а смерть от голода и издевательств. Ведь большая часть работы оказалась напрасной. Например, в сравнении с трудом тех, кого вывезли на работу в Германию. Потом у него была возможность сравнить. Там был тупой, тяжелый труд, но он хоть как-то вознаграждался отношением хозяина (байера), который как-то ценил труд своего работника (раба). Хотя бы (пусть из соображений выгоды) кормил раба, не давал умереть. А здесь… При этом сравнении Фрица переполняет злоба. Как ни странно, именно это чувство помогло ему выжить.

Комментарий. В рассказе о лагере Фриц впадал в противоречие. Конечно, он клял коммунистов. Но часто с тем же жаром опровергал себя: никакие они не коммунисты, просто негодяи. Дать последовательное определение системе, которая сделала его рабом и уничтожила его близких, он не смог. Судьба говорила за него.

Дорога домой. Последний год перед освобождением Фриц провел на заводе, где делали гранаты. Он уже знал об изменении своего статуса — интернированный. Но в остальном все осталось по-прежнему. Третьего мая 1947 года, как раз на подъем, в барак зашел надзиратель со списком и стал выкликать — ты, ты, ты, на вахту, на вахту, на вахту… По дороге Фриц отметил, майское утро было совершенно ясным и солнечным. Таким, наверно, и должно быть утро освобождения. Как уже говорилось, он не позволял себе ждать и надеяться. Чувства эти для лагеря разрушительны, так он считает.

На вахте им выдали ношеные сапоги (видно, списанные, военные), смену чистого белья, на каждого — 4 банки консервов (тюлька в томате) и буханку хлеба. Зачитали постановление об освобождении, вручили справки. На всех дали один путевой лист, документы полагалось получить по прибытии в пункт назначения. Нужно было следовать через нижний Тагил и далее до Свердловска. Туда группу сопровождал лагерный сержант, дальше в дорогу через Москву в Черновцы старшим назначался Фриц. Всего под его командой оказалось двенадцать человек, десять крестьян-буковинцев и два кишиневских еврея.

Освобождение было совершенно неожиданным и почти невероятным. Более всего убеждали сапоги и килька. На свердловском вокзале их задержали, осматривали долго,

пересчитывали, но отпустили. Вид был, действительно, подозрительный, даже на фоне серой послевоенной толпы. Говорили по-русски они плохо, а страна жила шпиономанией. До Москвы добирались больше суток в общем вагоне на третьих багажных полках. Лагерникам там было самое место. Пока доехали до Москвы, съели кильку и хлеб. Что дальше? Только сошли на перрон, их забрали в отделение. Фриц отчитывался за всех. Фамилия, имя отчество. Где находились во время войны?

— Здесь все написано.

— Да, но где вы были во время войны?

— Тут написано.

— Вы воевали против нас?

— Нет.

— А куда направляетесь?

— Тут указано.

— Куда? В Черновцы? А что такое Черновцы?

— Это город.

— Где?

— Как где? На Буковине…

Еле объяснился. — Так вот, сидите здесь, пока вас не отправят, и ни шагу отсюда.

Страна велика, Черновцы были знакомы не каждому даже при исполнении служебных обязанностей. Но легко сказать, сидеть и не расходиться. Нужно было попасть на свой вокзал, ждать приходилось неизвестно сколько, без еды. Гольдфрухт решил искать румынское посольство. Подошел кишиневский еврей (он лучше других знал русский). — Прежде, чем идти в румынское, давайте сходим в еврейское. — А такое есть? — Есть? — Где? — Сами должны понимать.

Вдвоем отправились искать синагогу. Оказалось, сравнительно недалеко. Была суббота, людей в синагоге было много. — Кто, откуда? — Мы из лагеря… Евреи прекратили молиться и расселись вокруг. Фриц плохо знал идиш, выручил кишиневец. Все рассказал. Первый вопрос: — Сколько там в лагерях евреев?.. Второй, что вам нужно?.. Ответ понятен.

— Помогите. У нас ничего нет.

— Ах, помогите?.. — Евреи сняли шапку, пустили по кругу и набросали. Пять или шесть тысяч. Подарили часы, еще что-то.

Кишиневец часы взял себе, объявил — его заслуга. И с деньгами хотел словчить, Фриц не дал. Накупили еды (котлет и хлеба — вспоминает Фриц), система была карточная, но за живые деньги можно было купить, отнесли своим.

Пошли в посольство. Евреи в синагоге предупредили — расспрашивать на улице опасно, арестуют как шпионов. Но им

повезло. Выбрали подходящего по виду прохожего. Тот рассказал. — А вы знаете, какой флаг? — Да, мы румыны. — Румыны? Ну, идите.

Отошли, кишиневец говорит: — Откуда ты знаешь, какой теперь флаг? Если они все там поменяли, так что они не могли флаг поменять?

Но и тут повезло, нашли посольство. Фриц был твердо настроен, ехать сквозь Черновцы дальше. Он считал себя румынским гражданином. У посольства дежурил милиционер, смотрел бдительно, но в здание пропускал. Старый особняк, не очень богатый. Народ толпился, видно, из Союза, но по-молдавски говорят, по-румынски. Только стали разбираться, и тут Гольдфрухту, буквально, привалило счастье. Такой у него был сегодня день. Спускался по лестнице человек — здоровый, красивый. Видно, из посольства. Знакомое лицо. Конечно, это — Николеску, с которым они служили в королевской гвардии. — Никулеску, ты?

Такое обращение Никулеску возмутило. — Как это *ты*? Кто вы такой? — Нынешний Фриц был мало похож на бравого гвардейца.

— Твой друг, Никулеску. — Гольдфрухт назвал себя. Николеску присмотрелся и даже слезу пустил.

— Боже мой, что с тобой?

Оказалось, Никулеску — секретарь посольства. Провел к себе в кабинет. Вышел, привел посла. Посол был с русской фамилией Лаптев. Добрый, хороший человек. Пожал руку Фрицу, кишиневцу и ушел. Видно, дал какое-то разрешение. Никулеску выслушал, спросил, что может сделать? — Едем на родину. Еще десять человек сидит на вокзале со справками. Простые сельские парни, по-русски не понимают. — А что у вас есть? — Ничего… Никулеску позвал посольского хозяйственника, распорядился, дать какое-то белье, еду на два дня. Хозяйственник смотрел удивленно, но Фриц заговорил по-румынски, и он потеплел. Отвез на посольской машине на вокзал.

До этого Гольдфрухт переговорил с Никулеску один на один, и тот его огорчил. Оказалось, все, кто жил в Черновцах до войны, теперь советские граждане и никакого отношения к Румынии не имеют.

— А тебя как взяли? Границу переходил? Что, в форме? С пистолетом? Ладно. Будем считать, ты военнопленный. Учти, это только для тебя. — И Никулеску выписал Гольдфрухту справку от посольства, что он — румынский гражданин и дожидается разрешения на выезд в Румынию.

— В Черновцах будешь показывать, — сказал Никулеску, —

может, пригодится. Встретимся в Румынии. Потому что, — и Николеску провел ладонью поперек горла, — мне уже вот так.

Деньги и продукты поделили между всеми. Дорога до Черновцов оказалась сплошным праздником. На станциях шумно торговали. Ехали долго, но никто не жаловался, в хорошем вагоне, сытые, довольные. И чувство у Фрица было такое, что, хоть отчасти, должно вернуться, казалось, безнадежно утраченное ощущение прежней жизни. Почти все сошли раньше. Поезд пришел в город утром, и Фриц с тощим мешком за плечами, в рваных сапогах и лагерном бушлате прошел через знакомое здание вокзала в родной город. Он вернулся.

Возвращение. Было ранее утро, только пошел трамвай, но Фриц решил подняться в город пешком. По этому спуску он постоянно ездил на велосипеде на дачу, каждый камень был знаком.

Нужно сказать, это было не простое возвращение. Благополучным людям такое трудно вообразить. Видение города было одним из самых заманчивых в его лагерной жизни, все эти годы он запрещал себе думать о нем. Там город оставался сказкой. Сейчас он переживал душевный подъем, буквально, восторг. Вот сейчас он начнет встречать знакомых, друзей. Узнает, что и как, вернется в прошлую жизнь.

Черновцам повезло, во время самой разрушительной из войн, город остался цел, его пощадили наступающие и отступающие армии. Тот прошлый город был полон родственников, друзей, знакомых. Издали казалось, они должны быть здесь и сейчас, стоит только вернуться…

Но нет, никого он не узнавал, чужие озабоченные лица. Разочарование было полным. Среди редких прохожих не оказалось ни одного знакомого. Было уже около восьми, когда встретился… так и есть — Вилли Карцнер, товарищ по Хасмонею. Отец — председатель еврейской общины Черновцов.

— Виля, ты? Боже мой…

— А вы кто? Фриц? Откуда? Из лагеря? — Карцнер повернулся, готов был бежать.

— Подожди. Ты куда?

— Нет времени, опаздываю на работу.

Что дальше? Как распорядилось время! Ведь считался брат, клятву на крови давали.

На каком языке они разговаривали? На немецком, или плохом русском? И что хуже? Неудивительно, что старый знакомый перепугался. Встреча вернула Фрица с небес на землю, пора было устраиваться и начинать жить.

Для начала нужно было подыскать жилье. Фриц

поразмышлял и пошел к Цухрухту. Наугад, никаких сведений о нем не было. Цухфрухт — санитарный врач был другом отца, к нему Фриц зашел в день побега, но не застал. У доктора был небольшой дом. Фриц поднялся на крыльцо и дернул шнурок звонка.

Цухрухт открыл и даже не очень удивился. — А это ты? — Был он очень худым и выглядел больным, пожалуй, похуже Фрица. Провел его в дом, расспросил. И объявил, что сыну своего друга он отказать не может. Комната свободная у него есть, Фриц может остановиться. Спросил буднично — есть хочешь? Посадил за стол. Накормил. Конечно, дальше Фриц должен был рассчитывать на себя сам. Но оказалась приятная неожиданность. Остались два чемодана с семейными вещами. Цухрухт вернул в целости, в том числе, приданое сестры, пролежавшее еще с двадцатых годов. Меховая горжетка. Ковер у Цухрукта на стене висел, Фриц его вспомнил. — Ах, да, да. Цухрухт не стал спорить. На первое время это должно было помочь. Сам Цухрухт предупредил, он человек бедный, еле сводит концы с концами.

Последнее было неправдой. Фриц это узнал, собственно, об этом знала половина старых горожан. Цухрухт по-прежнему работал санитарным врачом, обходил магазины, проверял чистоту. За доброе отношение ему платили. Но вот беда. Изворотливый Цухрухт никак не мог просчитать историческую перспективу. Когда-то, как и все черновчане, Цухрухт был австрийским подданным. Это его устраивало, к любой религии австрийцы относились терпимо. Потом власть переменилась и в интересах карьеры Цухрухт решил примкнуть к титульной румынской нации. Это не запрещалось. Из Теодора Цухрухт превратился в Тодора и крестился в православную веру. Чтобы завершить обряд сильным жестом Цухрухт перенес кости матери с еврейского кладбища на православное. Годы прошли и перед войной Цухрухт женился на буковинской помещице, старинного польского рода. Баронесса она или кто-то вроде, видно только, что у баронессы не было одной руки. Говорили, что она богата, хоть достоверно этого никто не знал. Теперь она продавала вещи на базаре.

Фриц торговать не умел и не хотел, баронесса продала содержимое чемоданов (вещи сестры он сохранил), ковер, большую часть выручки забрала себе. Фриц не проверял. Одевались они удручающе бедно и жили также. Цухрухт перешел в католичество. Говорили, что поляков будут отпускать на родину, и Цухрухт был наготове. Как новоявленному католику ему нужно было себя проявить, и он принимал деятельное участие в жизни польской общины. Занимал там какой-то пост.

Местные поляки к нему постоянно ходили.

Вообще-то, к Цухрухтам у Фрица претензий не было, его приютили и вещи (неожиданно для Фрица) вернули. В те же дни, он пошел регистрироваться в милицию — в трехдневный срок с момента приезда. Предъявил лагерную справку об освобождении. Где остановился? Как думает жить? В ответ на последний вопрос Фриц показал бережно хранимую бумагу, что он является гражданином Румынии.

Бумагу в руках недоверчиво повертели, но отношения с Румынией налаживались, что и как было пока неясно, и Фрица отпустили на неопределенное время, посоветовав далеко не отлучаться и быть на виду. Фриц так и поступил, он надеялся на Румынию. Тут как раз проследовала в Бухарест сестра. Неизвестно как, но о пребывании Фрица в Черновцах стало известно сразу и многим. Как-то он сидел у знакомого в парикмахерской, вбежал мальчишка и сказал, что сестра ждет на вокзале. Как его отыскали, непонятно. Сестра проехала, так они тогда и не встретились, но из Бухареста на адрес Цухрухта стали приходить письма. Как-то Фриц из окна увидел почтальона, тот вручил Цухрухту письмо. Письмо, как письмо, Фриц ничего не заподозрил. На следующий день почтальон прошел мимо, а Цухрухт заглянул к Фрицу: — Вот, тебе только что принесли… Письмо было плохо заклеено и, видно, побывало в чужих руках. Конечно, это было неприятно, но Фриц уже свыкся со своим положением. Многое он понял, лагерь научил.

Понемногу стали проявляться довоенные знакомства. Кое-кто уцелел, вернулся из лагеря, из ссылки. Как-то он встретил человека по фамилии Шерф, несчастного, хуже некуда. Почему Фриц его помнил? Родственник этого Шерфа был некий Марик Фиш, владел в Черновцах крупным магазином — стекло, хрусталь. Четырехэтажный универмаг. Потом Фриц с ним в тюрьме сидел. А этот Шерф был братом его жены. Марик так и остался навеки в лагере, а этот Шерф вернулся. Никого нет, друзей нет, родственников нет. Шерф жаловался. Ни пенсии, ни работы. Вот так и ходит. Совсем один. Это они встретились с Фрицем. Постояли посреди улицы, поговорили, сейчас так, а завтра, кто знает… На следующий день Шерф покончил с собой. Повесился.

Был бывший адвокат Клиглер, знакомый отца. Ходил все время в состоянии страшного возбуждения, не поймешь, может, сумасшедший. Наткнулся на Фрица. — Почему ты не остановился с Л., прошел, не поздоровался?..

— Я его не узнал, если он меня увидел, почему сам не подошел?..

— Ха. Потому, что он такой бедный, ему было стыдно к тебе подойти…

Такие были разговоры, и, действительно, было немало таких, беднее Фрица. Жизнь приобрела фантастический характер, и, главное, люди очень изменились. Весь круг прошлого общения — богатых, уверенных в себе буржуа. Они были сломлены. Удивительно было наблюдать.

Но были, кто жил богато. Эти знали русский язык, умели договариваться с чиновниками. Расхватали квартиры, оставшиеся от сбежавших румын. Пошли взятки, пошли махинации, Черновцы стали городом наглым и циничным. Верховодили, конечно, пришлые, но люди под ними не терялись. Полковник юстиции Рябец был одним из заместителей Вышинского на Нюренбергском процессе. Жена его — еврейка делала с полковником, что хотела, и заодно с Черновцами.

Цухрухт откровенно шпионил, и оставаться у него Фриц не хотел. Приютил на первое время, и за это спасибо. Друг Фрица жил с матерью и сестрой. Нашел Фрицу комнату по соседству, стол, кровать, стул. Хозяйка предложила готовить, но Фриц отказался. Зачем? Он был свободен. А пока подобралась компания из старых черновицких знакомых. Собирались, пили чай. Каждый ждал чего-то, не очень представляя, чего.

Терять и вправду было нечего. На работу он не устраивался, тянул, пытался выбраться в Румынию. Пока его не трогали, и Фриц расширил круг своих поездок. В селе за несколько десятков километров от Черновцов у него был довоенный приятель Аркадий. Первая выезд был к нему. Сначала поездом, а от станции более десяти километров до села.

Аркадий сначала не узнал Фрица, как не узнавали многие, но искренне обрадовался. Даже прослезился. Село жило спокойно и зажиточно. На то были причины, в районе по ночам хозяйничали бандеровцы. Продукты не вывозили, чтобы не ожесточать крестьян. У Аркадия было несколько профессий, официально он работал парикмахером. Нагрузил Фрица бараниной, яйцами, творогом. Дал мешок картошки и помог подвезти до станции на подводе. Фриц вернулся богатым человеком. В городе нашел тележку и привез продукты домой. Свёл дружбу с женщиной, которая заведовала неподалеку молочным пунктом. Выпил разом стакан сливок и пережил тяжелое расстройство. Желудок отвык от жира. Но в общем, жизнь налаживалась.

Комментарий. Если бравый лейтенант румынской армии был сравнительно понятен и прост, то в советское время колоритная и разноплановая личность Фридриха Бернгардовича стала затуманиваться. Как упоминалось в начале повествования,

источников для составления биографии Фридриха Бернгардовича было два. Его рассказ и его же интервью, которое случайно попало мне в руки. Это интервью (очень плохого качества и частично вовсе неразборчивое) было интересно тем, что открывало другую сторону жизни Гольдфрухта, его сотрудничество с органами НКВД-МГБ. Иначе события бурной жизни Фридриха Бернгардовича выглядели бы уж слишком удивительными. А так все, похоже, становилось на свои места. Очевидно, что при всей аполитичности (впрочем, вряд ли следует считать нелюбовь к власти состоянием аполитичным) и, возможно, вопреки своей воле, Фридрих Бернгардович стал бойцом *невидимого фронта*. К этому можно относиться по разному. В конце концов, профессия эта встречается во всех странах и не вызывает, по крайней мере, априори, морального осуждения. Выбора не было. Человек попал на крючок. Каждый сам отмеряет себе меру добра и зла и улаживает отношения с собственной совестью. Среди поучающих моралистов и демонстративных правдолюбцев нашего времени оказалось достаточно своекорыстных и лицемерных персонажей с весьма двусмысленной биографией.

Разночтения в рассказах начались с похода на Бухарест. По одной версии, поход происходил исключительно по инициативе самого героя с благородной целью, повидать сестру и решить, как быть дальше. То есть, это был почти побег. По другой, все было не совсем так. Что из этого выбрать? Более интересная версия оказалась и более полной, задним числом убеждала больше, в ней было много деталей, придумать которые стоило бы труда и воображения, и незачем.

Поход на Бухарест. Фриц не работал, намеренно тянул с устройством и напряженно размышлял, как быть дальше. Жил без документов, по справке об освобождении. Старался держаться незаметно, но когда сестра проезжала в Бухарест, его нашли неожиданно быстро. Потом стали приходить письма от сестры, как-то сам по себе отыскался его адрес. Письма совершенно откровенно вскрывали. Сестра жаловалась на трудности жизни и мечтала о встрече. Одинокая больная (в Бухаресте у нее возобновилась астма) женщина. Он собрал остатки приданого сестры (те, что сохранил Цухрухт), уложил в чемодан и переслал в Бухарест с оказией. Чемодан дошел благополучно, сестра подтвердила. Для приграничного города, пропитанного шпиономанией, такая вольность в общении с заграницей (хоть и близящейся к социализму) была явно недопустимой. И если Фрицу это сходило с рук, то совсем не значит, что всевидящее око дремало.

Как-то на базаре он случайно разговорился с крестьянкой из села Вышняя Городица. Это в районе Путилы (нынешняя Ивано-Франковская область), гуцульские места. Спросил, как им там на границе? Далеко? Километра два? И как стерегут?

— Ходят пограничники.

— Часто?

— Когда часто, а когда напьются…

Места эти были Фрицу знакомы по прежним временам. Крестьянка вдруг заговорила по-румынски, глядела понимающе, испытывала. Он договорился подъехать за продуктами, но туда нужен был пропуск, и он не решился.

Потом, когда он уже жил по новому адресу, пришла женщина, совсем безликого вида. Сообщила скороговоркой. Вам привет от вашей сестры… — Где письмо?.. — Письма нет, но можете с ней увидеться… — Как увидеться? Она в Бухаресте… — А вот так. Если хотите, сможете ее увидеть. Завтра с утра подойдете, куда я скажу, ничего с собой не берите, денег не нужно, еду на один раз, и хватит.

Женщина исчезла. Ночью Фриц размышлял. Конечно, это не просто так. Лучше поостеречься. Но ведь сестра. Когда еще? Открывалась какая-то другая жизнь. Он собрался и пошел. Встретились на улице, женщина отвела за угол и показала поджидавшего в сторонке человека крестьянского вида. Велела идти за ним, не приближаясь. Сама исчезла, а мужчина повернулся и пошел, не оглядываясь. Фриц заторопился следом.

Так они прошли километров двадцать, и уже далеко за Черновцами оказались на околице какого-то села. Только тут мужчина остановился, подождал, бросил пару слов по-румынски. Сам чернявый, лицо молодое, неглупое, скорее, городское, бритое. Присели, человек угостил папиросой.

— Хотите границу перейти?

— А ты можешь перевести?

— Смотря кого. Вы кто такой?

— Лейтенант румынской армии. Был в плену. Хочу на родину. Но не выпускают…

Провожатый еще подумал и заговорил более уважительно.

— А что господин лейтенант будет в Румынии делать?

— Это мое дело, твое — меня перевести.

— А если румынские пограничники задержат? Назад отправят. Большие неприятности будут. И господину лейтенанту, и мне.

— Что могу сказать? Рискую.

— А вы надолго туда?

— Не знаю. Ты переведи. Сколько возьмешь?

— Сто долларов.

— Я тебе честно скажу. При мне денег нет. Если вернусь в течение двух месяцев, сам с тобой рассчитаюсь. Если нет, дам тебе адрес в Черновцах (у Фрица по этому адресу жила подруга), я ее извещу, придешь и получишь.

Проводник подумал, внимательно оглядел Фрица. Тот подготовился к походу. Одевались по обе стороны границы одинаково, Фриц легко мог сойти за румына.

— Сразу можете идти? Тогда отойдите с дороги, присядьте, чтобы на глаза не попадаться и ждите. Я вечером буду.

Часа через два, когда совсем стемнело, он появился. Ночь была светлая, хорошо видно. Принес поесть — сало, хлеб. Сам переоделся — сапоги, фуфайка. Через плечо карабин. И пошли сквозь лес. Куда-то в горы. Бродили по лесам целую ночь и целый день. Фриц был настороже. Печальный опыт перехода границы у него уже был. Но теперь (он чувствовал) должно получиться. Чем он рискует? Отправкой в лагерь, новым сроком? Но, если так, его могли арестовать в Черновцах. И пристрелить могли, если бы захотели. Значит, здесь другое. Он твердо решил идти до конца.

В неволе и на свободе Фриц немало времени провел в лесу, умел ходить, и вообще чувствовал себя легко. Проводник тем временем изучал обстановку. Видно было, в лесу он человек свой. Несколько раз осторожно перебирались через дороги и тропы, выжидали, пролежали несколько часов в пустой хате. Наконец, подобрались совсем близко к колючей проволоке. Но и тут проводник не стал спешить, внимательно осмотрелся, и они пошли дальше. Фрицу пояснил — много новой проволоки. Границу недавно укрепляли. Вообще, они разговаривали мало, по-румынски, проводник называл Фрица исключительно *господин лейтенант*. Выбрали место и улеглись, дожидаясь, пока пройдет пограничный наряд. Метров двести оставалось до полосы и столбов с колючей проволокой. Место было довольно открытое, на верху горы, но, видно, проводник знал, что делал. Патруль увидели издалека — два солдата, без собак. Прошли, негромко переговариваясь, фонариком светили. Следующий дозор — часа через два. Проводник поднял стволом карабина проволоку. Лезьте. Вспаханной полосы не было, камень, немного песка, разровнять следы не составляло труда. Пока выжидали и осматривались, проводник подробно объяснил. Там внизу румынское село. Заходить нельзя, рядом в лесу — сараи, сено сушат. Сейчас там пусто, днем нужно укрыться в сарае, вечером идти дальше. Села по дороге — второе, третье — обходить, стараться дворовых собак не переполошить. У румын вместо пограничников жандармы, ясно, их следует остерегаться, но при встрече — вида не показывать, держаться уверенно. Объясняться, конечно, только по-румынски, по-русски — не понимаю. Из Бухареста приехали за продуктами, родственников ищете. Проводник перечислил названия сел, где, что, как выйти к железной дороге, где станция, все это он знал. Пожали руки, и Фриц переполз на румынскую сторону.

Выполнил все, как нужно. Даже встретил жандарма. На улице села (четвертое, там, где по расчетам проводника, уже было

безопасно) проходил мимо, поздоровались, граница осталась далеко позади, и Фриц подозрений не вызвал.

Первый пункт, где Фриц думал остановиться, — Радовицы. Как раз по дороге в Бухарест. В Радовицах жила черновицкая подруга еще с довоенных времен, его тезка — Фрици Фишер, её отец владел крупнейшим в Черновцах магазином — фаянс и тому подобнее. Здешний адрес Гольдфрухт знал.

Сама Фрици и открыла.

— Кто вы такой? — После лагеря Фриц изменился, узнавали его не сразу.

— Фрици, ты со мной целовалась сто раз. Я Фриц, только не Фишер, а Гольдфрухт.

— Боже мой! Откуда ты взялся?

Если Фриц опасался, что бывшая подруга не захочет его знать, то напрасно. Вообще, с женщинами Фрицу везло. Сама Фрици и предложила, чтобы всё было в порядке, он должен пробыть здесь пару дней. Добраться до Бухареста без документов не просто. В поезде ходит патруль, а румыны ещё хуже, чем советские. Но скоро в Бухарест поедет один человек. С ним будет проще.

Два дня Фриц отдыхал. На улицу не показывался. Нужный человек оказался из еврейской организации, которая переправляла евреев в Израиль. Все, конечно, секретно, но люди друг друга знали. Человек часто ездил в Бухарест, имел опыт. Документы в порядке. Фрицу выдали какую-то бумажку, без фотографии, на первый случай. Только, чтобы доехать. Расцеловались. Фрици спросила: — Думаешь возвращаться?.. — Не знаю, как получится…

Адрес, телефон сестры Фриц знал. Немного денег дал новый знакомый. Расспрашивать в Бухаресте, как проехать, он не решался, но все сложилось удачно. К телефону подошел Ноах Лер. Лер — друг отца по масонской ложе, имел в Черновцах большое производство мыла. Успел уехать с семьей за день до советского вторжения, был в Бухаресте состоятельным человеком. Поселил сестру у себя. Помог ей устроиться в аптеку, денег за жилье не брал.

— Кто это?.. — Фриц… — Какой Фриц?.. Боже мой. Где ты? На Северном вокзале? Никуда не уходи, я за тобой сейчас приеду.

Конечно, встреча с сестрой была радостью. Но и огорчила немало. Сестра работала, но была больным человеком, передвигалась с трудом. Бежать вместе не получалось. Впрочем, надежда оставалась, связанная с неким Триммером, еще одним черновицким земляком. Тот по делам часто бывал в Констанце, еще где-то у моря. Людей подсаживали на суда и понемногу

переправляли в Израиль. Власти смотрели сквозь пальцы, но то были румынские граждане, имели при себе документы. Впрочем, Триммер был оптимистом. Просто нужно заплатить дороже. И поехал договариваться.

Пока в Бухаресте дела складывались удачно. Почти сразу по приезде Фриц встретил Тусю, еще одну довоенную подружку. С Тусей у него был серьезный роман, чуть не дошло до женитьбы, но отец тогда возражал. Сама Туся была украинкой (это отца смущало), но выросла в еврейской семье, куда ее взяли на воспитание. Это была семья домовладельцев, людей по черновицким меркам небогатых. Мать домохозяйка.

Пошли к Тусе. Отчим стал целоваться, прослезился. Старый человек. Последние годы в Черновцах он занимал важный пост в еврейской общине. Фамилия его была Бальтинестр. И Туся была Бальтинестр, пока не вышла за Свиритяну. Свиритяну был товарищем Фрица по армии. Туся здесь в Румынии с ним сошлась. И уже успела развестись, жила с отчимом. А тот первым делом предложил: Оставайся у нас.

Фрицу, действительно, негде было жить. В комнате больной сестры — неудобно, стеснять семью Лера он не хотел. И он остался у Туси.

Через два дня весь черновицкий Бухарест знал, что Фриц в городе. Это было легкомысленно, но с Тусей иначе было нельзя. К тому же нашлись дальние родственники, стали приглашать. Сама Туся была очень довольна. Она на Фрица рассчитывала. — Всё, всё, ты уже пришёл, ты останешься здесь.

Каждому городу обязательно хочется быть похожим на признанных законодателей цивилизации. Бухарест считался маленьким Парижем, как Черновцы — Веной. В то время в Бухаресте распоряжалась главная коммунистка Анна Паукер. Паукер сидела в черновицкой тюрьме, когда Фриц служил в армии. Его с нарядом посылали в тюрьму на охрану, Фрицу казалось, он ее там видел. Но тогда это мало его интересовало. Сидели коммунисты отдельно от остальных — и мужчины, и женщины. На общие прогулки их не выводили. Общение не допускалось, полная изоляция. Их готовили на политический процесс, пытали. У Паукер изуродовали уши, теперь она постоянно носила косынку. Это была мрачная особа.

В эти дни Фрицу удалось завершить важнейшее дело. В Бухаресте жила сестра матери, перебравшаяся сюда из Вены. Та самая тетка, которая сопровождала мать и маленького Фрица в поездках по Европе. Тетка была человеком одиноким и достаточно богатым. Умерла она несколько лет назад, в пустой квартире, пока тело обнаружили, его успели обгрызть мыши. Свои

драгоценности тетка передала жене швейцарского посла, с которой много лет дружила. И со строгим письменным наказом, передать все в руки Фрица. С его сестрой тетка отношений не поддерживала, своих детей у нее не было. Подруга и сама была немолода, собиралась к себе в Швейцарию, но наследство сестре не отдала, завещание — есть завещание. Так что Фриц объявился вовремя. Его личность легко удалось подтвердить, и душеприказчица вручила ему сокровища с большим облегчением. От всякого вознаграждения она отказалась. Слава Господу, что удалось выполнить последнюю волю покойной (её слова). Что там было? Несколько бриллиантовых и золотых украшений. И номер счета в банке, где оставалась небольшая сумма. Все это Фриц передал сестре. Сама по себе мысль, что сестра не будет теперь нуждаться, была для него наградой. Он ждал вестей от Триммера. Теперь ему было, чем расплатиться.

Зашел в английское посольство, хотел подтвердить документы об образовании. Отнеслись к нему недоверчиво, но данные записали и велели спустя месяц зайти за ответом. Казалось бы… Но тут он заметил за собой слежку. Двое мужчин сопровождали его в прогулках по Бухаресту. Целый день с утра до вечера. Это была румынская тайная полиция. Секуритате. Ходили, не особенно прячась. Конечно, это было очень некстати. К тому времени Фриц отыскал новую квартиру, отдельную. Ключи дал старый приятель, выезжал на время из Бухареста. Фриц переехал. Туся обиделась.

— Туся, я не могу здесь остаться, за мной следят…

— Да что ты говоришь!? Что ты выдумываешь!

Но он не сомневался, следили. На новом месте обнаружилась молодая женщина — еврейка. Их познакомили. Женщина занималась вопросами еврейской эмиграции. Полулегально. На вопрос Фрица — развела руками, без документов она не может, тем более, беглец из Советского Союза. Она бралась устроить, но постепенно. Нужно пережидать, исчезнуть, затаиться. Но как быть с сестрой, она все время на виду? Он отказался. А тут и сыщики объявились. Его пока не трогали, только сопровождали. Пару раз наведались на квартиру под видом противопожарной проверки. Действовали почти в открытую.

Приходилось что-то решать. Объявился Триммер. На ближайшие несколько месяцев перспектив нет. Нужно ждать. Как долго? Неизвестно. Аванс Триммер вернул.

Прошло больше месяца, в делах и планах оставалась полная неопределенность. Тут на улице к Фрицу подошел человек и сообщил неожиданно. — Сегодня вечером пойдете назад… — Куда назад?.. — В Черновцы…

Фриц остолбенел. А человек повел головой в сторону филеров. — Вы к ним хотите попасть?.. Этого Фриц никак не хотел. Следующим вопросом сыщик буквально добил. — С сестрой повидались? Все хорошо? Можно возвращаться.

Теперь его вели плотно. Конечно, он мог сбежать. И места подходящие были. Но тогда займутся сестрой. Этого Фриц допустить не мог. Все случилось внезапно, он даже с сестрой не простился. Отправились на какую-то квартиру, переночевали, а утром двинулись к границе. Доехали на поезде до Радовицы, проводник предложил остановиться. Может, есть знакомые? Но, ясно, знакомых у Фрица не оказалось. Дальше маршрут несколько изменился. Но проводник вел уверенно, границу перешли легко. Шли дожди, было много грязи. С советской стороны оказался тайник, проводник оставил сапоги, надел чистые ботинки. Неподалеку ждала машина, доехали почти до Черновцов. Поздним вечером зашли в какой-то дом, незнакомые люди поздравили с возвращением. Плотно накормили, уложили спать. Проснулся Фриц непривычно поздно, видно, подмешали снотворное. Вещи тщательно осмотрели, проверили записную книжку (он, как знал, ничего не записывал). Все осталось в целости. Предложили поговорить. Явились двое в штатском и стали подробно расспрашивать, где и как он провел это время. О подробностях перехода на румынскую сторону речь не шла. Конечно, все было известно и подстроено. Фриц и сам догадывался. По дороге он продумал, что и как говорить. Ясно, некоторые подробности он разглашать не стал, у него и так были веские объяснения. Встреча с сестрой. Ничего предосудительного.

Дом оказался конспиративной квартирой, хозяйка работала надзирательницей в тюрьме, муж — водитель в МГБ (он же их и привез), Фрицу выделили отдельную комнату, кормили досыта, запретили выходить и связываться с кем-либо, пока шла проверка. Было еще несколько бесед, просили подробно рассказать, чем занимался, с кем общался. Все очень вежливо, даже дружески. Фриц держался уверенно, он знал, что говорить. Потом разрешили вернуться к себе домой. Легенда, ездил на заработки в Винницу. И больше ничего и никому. Бухарест должен был оставаться тайной.

Сестра не знала, что с ним, пока связь не восстановилась. Она прожила еще несколько лет. После ее смерти Фриц (уже полноправный советский гражданин) просил разрешения съездить в Румынию на могилу. К тому времени были у Фрица и свои связи. Местные *органы* дали согласие. Отправился в Москву за визой. Чиновник в румынском посольстве расспрашивал недоверчиво, вертел в руках документы… и отказал. Много

времени прошло, что теперь ездить. Более внятного объяснения не было, и откуда ему было взяться.

Комментарий. Конечно, в бухарестском походе много неясного. Мне Фридрих Бернгардович объяснял, это была разведывательная операция. По Европе шли потоки послевоенных беженцев, соответствующие органы проявляли интерес. Фриц оказался подопытным экземпляром.

Устройство на работу. Прошло несколько дней, и Фрица посетил гость. В гражданском. Прямо с утра. Предложил пройти вместе с ним в обком. Обком размещался в помещении бывшей румынской префектуры. Это было самое значительное здание в городе. С охраной и пропусками. Пропуск выписали на его спутника. Своих документов у Фрица не было, только известная справка из посольства. Фриц повсюду носил ее с собой. В кабинете сидел человек, бритый наголо и во френче. Такие френчи звались *сталинками* по имени главного законодателя тогдашней моды. Хозяин кабинета не представился и смотрел очень хмуро. Начал сразу с главного.

— Вы были репрессированы. Так? Теперь наказание отбыли, живете в советском обществе, у нас все должны работать. Вас что, это не касается?

— Но у меня нет паспорта. Как я могу? Вот справка, что я румынский гражданин.

— Почему не хотите получать наш, советский паспорт?

— Какое я имею отношение к Советскому Союзу? — Фриц к тому времени уже свободно говорил по-русски.

— Вы в Черновцах родились? Так? Жили в Черновцах до ареста? Поэтому запомните раз и навсегда. Вы — советский гражданин.

— Михай тоже в Черновцах родился. А он — большой румынский поэт.

Человек за столом совсем помрачнел. — Дайте сюда вашу справку. Это не документ, а филькина грамота. Она у меня останется. Больше можете о ней не вспоминать. Вы — человек грамотный? Так вот, выбирайте. Или вы устраиваетесь на работу, или поедете туда, откуда приехали.

— Это что, я должен улицы подметать?

— Вы — инженер?

— Инженер.

— Работу по специальности мы вам найдем. А пока прошу никуда из города не отлучаться. Мы знаем, что вы любите путешествовать. Даже не пытайтесь.

Спустя несколько дней за ним опять пришли. Провели в тот же кабинет. Кроме хозяина был там еще один. Держался

приветливо.

— Ну, что вы решили?

— Давайте работу.

— Пойдете с ним. Он все объяснит. У него будете работать. — Хозяин кабинета встал, показал, разговор закончен.

Перешли в другую комнату, поменьше. Человек представился по имени отчеству, предложил присесть. Угостил *Беломором*, но Фриц курил свои *Карпаты*. Задымили.

Работа оказалась по специальности Фрица, точнее не придумаешь. Граница неподалеку. Через нее везли в Союз автомобили со всей Европы. Офицеры, кому по чину, считали своим долгом вернуться домой с машиной. И тут вышло указание, машины без документов конфисковать. Прямо на окраине Черновцов, за кладбищами (православным и еврейским) в районе Хореча образовалась огромная стоянка этих машин.

— Знакомые для вас места. — Заметил собеседник вскользь. — Ваш полк где-то там стоял.

Видно, познакомились с его биографией обстоятельно. Действительно, место было Фрицу знакомо, там была толока — луг, на котором их полк устраивал маневры. Лошади возили пушки. Теперь этот луг был сплошь забит машинами.

— Так вот, — сказано было Фрицу. — Вы знаете западные машины? Знаете. Ваша задача — собирать из всего, что там есть, машины, чтобы работали безотказно и могли возить руководство. Вот этим и займитесь.

— Это как? Я что — главный?

— Считайте, я ваш хозяин, вернее, начальник, потому что хозяев теперь нет. Вы — мой главный инженер. Сейчас поедем на место. Поглядите, что есть. Прикиньте, что нужно. Список представите мне. И начнем работать.

Съездили, поглядели. Начальник (это выяснилось позже) оказался инструктором обкома партии. Он за это дело отвечал. Обращался с Фрицем очень бережно и предупредительно. Буквально, желания угадывал. На нем — административная часть, техническая — на Фрице. И Фриц тут же проявил инициативу. Около вокзала была кустарная автомастерская. Там работал некто Рева — механик одного с Фрицем возраста, прекрасно разбирающийся в машинах. Фриц к нему зашел.

— Слушай, надо организовать бригаду по ремонту автомобилей.

— Сколько человек?

— Пять-шесть, но таких, чтобы разбирались, и слесарей столько же.

— Сколько будешь платить?

— Не знаю, я не начальник.

— Так не пойдёт, надо знать реально.

— Пошли со мной, договоришься, будешь бригадиром.

Начальник Фрица насчет оплаты был не в курсе, но решил вопрос немедленно. Спустя три дня бригада была сформирована. Всего пятнадцать человек. Завезли инструмент, сапоги, фуфайки, оборудовали ямы для осмотра и ремонта. Работа пошла.

Первым был *даймлер*. Почти новый, кузов помят, кабина внутри чистая. Начали с него. Технической документации никакой, потом собрали целую библиотеку, буквально, на все машины Европы. А пока подгоняли на глаз. Запчастей хватало, а везли еще. Но нужно, конечно, знать, где, какой аккумулятор, где на двенадцать вольт (как в довоенном *понтиаке* Фрица), где на шесть, как в этом *даймлере*. Завезли бензин, стали разбирать мотор. От грязи отмыли, почистили, собрали заново. И мотор заработал, как новый.

Когда первая машина ожила, какой был восторг. Ура. Все хотели прокатиться. Нет, первым пусть едет дядя Федя. Дядя Федя — это Фриц, и он же — Федор Борисович. Люди в бригаде подобрались сплошь славянские, Фридрих Бернгардович для них оказалось непривычно, особенно, когда выпивши. Посадили дядю Федю за руль, первый раз за многие годы. Конечно, пришлось еще дорабатывать, подруливать, подтягивать. Но, главное, машина пошла, как новая. Даймлер отправили в Киев. Потом Фриц узнал, прямо в ЦК. За месяц собрали шесть-восемь машин для Киева. Председатель Киевского горсовета Давыдов много лет ездил на такой. Пошли заказы из провинции, на тамошние обкомы. Здесь уже позволялось подхалтурить. То есть, собирали на совесть и отправляли, а все остальное (окончательная доводка, резина) уже там, на месте. Зарплата была неплохая, к тому же питался теперь Фриц в обкомовской столовой. Пришло время получать паспорт. Теперь (под защитой обкома) Фриц чувствовал себя уверенно. Обзавелся подругой.

Дело расширялось, разрасталось в большое авторемонтное предприятие. В распоряжении Фрица появилась полуторка, постоянно приходилось что-то подвозить. Бензина сколько хочешь. Как человек свободный, Фриц мог передвигаться по Черновцам и ближним селам. Поддерживал постоянную связь со старым другом Аркадием. Повод для поездки легко находился. Рядом с селом была большая лесопилка, ездили за деревом для строительства нового цеха.

Директором лесопилки был еврей Гольдштейн, адвокат по профессии. До войны имел дело с лесом, как Фриц с Папой Римским (слова Фрица). Но пристроился и справлялся. Человек

был неглупый и оборотистый.

— Ты — сынок Гольдфрухта? Боже мой! Что ты хочешь?

— Нужны доски.

— Какой вопрос?! Сколько?

Загрузили машину. Выписали наряд. И каждый месяц Фриц ездил за деревом — досками, столбами. Как-то заночевали у Аркадия. Дом стоял на горе повыше дороги (шляха). Хороший довоенный дом, как строили раньше на Буковине. Погода летняя, Фриц спал на веранде. Шофер и грузчик в кузове на соломе, машину загнали за дом. Ночь была безлунной. Сквозь сон слышно было движение по шляху, приглушенный шум. Что такое? Утром Аркадий плечами пожал. Наверно, солдаты, пограничники… Позже выяснилось, через село шли бандеровцы. Старший брат Аркадия воевал у них. Село укрывало партизан.

Тогда Фриц этого не знал. Утром отправились на лесопилку. Выехали за село, на лесную дорогу. Тут солдаты, ребята, в основном, восточного вида: казахи, узбеки. Дальше нельзя. Оцепление. Разворачивайтесь. Потом выяснилось, что за день до того на лесопилке повесили двух прикомандированных — главного механика и еще кого-то. Гольдштейна на месте не оказалось. У него была причина, но, как выяснилось позже (в сугубо личном разговоре с Фрицем), ему посоветовали в городе задержаться на два-три дня.

Повернули назад. Только отъехали, на дорогу выскочил человек в гражданском — пиджак, сапоги. Глаза безумные… — Подвезите до города. За мной бандеровцы охотятся.

В кузове был рабочий. Свой человек. Фриц лишнее не спрашивал. — Лезьте наверх, садитесь вон там, в угол, брезентом прикройтесь. И помалкивайте. Вы — немой и глухой. Пиджак снимите, вот вам рабочая куртка.

Проехали немного, буквально триста метров, опять — стой. На этот раз хлопцы с автоматами:

— Що, панове? Куди їдемо?

— Додому.

— А що везете?

— Нічого. По дерево їхали, але туди не пустили. Кордон стоіть.

— Ясно. А що, не бачили тут нікого?

— Ні.

— А хто ці люди?

— Шофер, грузчики.

— Ну, добре. Курити у вас є?

— Нема.

— Ну, то у нас є, беріть…

Проехали село, еще несколько километров. Остановились. Человек в кузове встать не может, обмочился. — Никогда не забуду, вы мне жизнь спасли.

Кто такой, непонятно. Просил дать фамилии. Он доложит. Фриц категорически отказался. Забудьте. Довезли до города, Человек сошел, а они поехали дальше.

Переезд в Киев. Фриц наладил образцовое производство. Автомобильный бизнес при всей его неразвитости (а, может быть, благодаря ей) пользовался повышенным интересом. Фриц стал уважаемым человеком. Занял приличное положение — мужчина при зарплате, хорошем питании. После лагеря он вперед не загадывал. Получал удовольствие от жизни. Тридцать лет, прекрасный возраст, жизнь начала складываться.

И тут пришел озабоченный начальник. Вызвал Фрица, оглядел и совсем загрустил. — Сдавай дела, Борисыч. Поедешь в Киев.

— Как, что… Какой Киев?

— Ничего не знаю. Велено передать. Чемоданчик собери. Завтра утром жди машину, отвезут тебя на вокзал. А пока расскажи ребятам, где, что, чтобы они без тебя не дров не наломали.

— Я еще паспорт не получил. Куда ехать? — Фридрих Бернгардович пытался возражать. Куда? Зачем? Начальник только рукой махнул. Он был расстроен хуже некуда. На Фрице держалось все производство, в том числе, его директорское благополучие. Видно, приказ поступил из таких мест, с которыми не спорят.

Как это все понимать? Был ли Фридрих Бернгардович завербован? Или, что называется, *на крючке*? Похоже, что так. Как иначе, после его путешествия в Бухарест? Потому и приказали ему, как человеку подневольному. Но если так, почему через администрацию, а не напрямую, лично? Впрочем, и тут можно объяснить. Фридрих Бернгардович уже занял положение, имел вес, исчезать непонятно и неожиданно — это не его вариант. А так все делалось официально… В общем, аргументов хватает на все случаи.

Вечер ушел на прощание с подругой. Фриц чувствовал, вернется нескоро. Мысль о возможном аресте не беспокоила, если бы хотели, забрали внезапно. На следующее утро за ним заехали, отвезли, простились вежливо, вручили билет и командировку от обкома партии. Сказали, что в Киеве встретят. Прямого поезда до Киева не было. Предстояла пересадка. Поезда пришлось ждать долго. Доехал, наконец. Никогда раньше в Киеве не был. Без паспорта, с одним чемоданчиком. На перроне подошел человек.

Очень худой. Вы такой-то? Как ваше имя, отчество? Пойдемте со мной. Куда? Не волнуйтесь, пойдемте. Вышли на привокзальную площадь, там ждала *эмка*. Проехали недалеко, на улицу Чкалова. Старый многоэтажный дом в самом начале улицы, неподалеку от Евбаза (еврейского базара), так он тогда назывался, теперь — площадь Победы. Прошли в квартиру, двухкомнатную, почти пустую. Стол и несколько стульев. Дух табачный, атмосфера казенная. Выбирайте комнату, располагайтесь. Спутник назвался товарищем Ревенко. По имени, отчеству до нынешних дней точно не запомнились. Странно, но, допустим, Иван Иванович. Сели ужинать. Иван Иванович бутылку достал. Что не пьете? Совсем? Не хотите, как хотите. Минеральную воду? И, действительно, принес откуда-то. — А теперь отдыхайте, утром поедем на вашу новую работу.

Так все и было. Пришла за ними та же машина, сели они с Иваном Ивановичем и проехали к большому серому зданию. Совета Министров. Пропуска готовы, в его пропуске вклеена фотография с его *Дела*. Таинственное это *дело* ходило за ним тенью многие годы, то никак себя не обнаруживая, деликатно, то всплывая грозно.

Поднялись на свой этаж, восьмой, как позже выяснилось Обстановка произвела впечатление. Давно Фриц такой не видел. Беженец, пленный, лагерник, сейчас с дороги он еще в баню не успел. А тут ковры, мебель. В большой комнате сидит молодой человек. По левую руку — телефоны и по правую. Маг и волшебник. Поднялся из-за стола. Вы такой-то? Подождите, вас сейчас примут. Ведут в другой кабинет, намного больше первого (то была приемная). Хозяин сравнительно молодой, лет сорок пять. Встал, стол обошел, поздоровался за руку.

— Вы меня не знаете, я вас знаю. Я езжу на вашей машине, она мне очень нравится. Так что позвольте поблагодарить. Я хочу с вами работать, и думаю, как вас использовать. Присаживайтесь. Расскажите о себе.

Проговорили часа полтора. Где Фриц учился, откуда знает автодело. Какие машины предпочитает. О Кембридже пару слов. Очень приличный человек оказался, прекрасный русский язык, а когда узнал, что Гольдфрухту румынский ближе, сам перешел на румынский. Несколько фраз, с трудом, но все-таки.

Сенин Иван Моисеевич. Заместитель председателя Совета Министров. Обращался к Фридриху Бернгардовичу исключительно на вы. Вызвал секретаря. Подготовьте товарищу Гольдфрухту кабинет, завтра он выходит на работу.

Иван Моисеевич занимался хозяйством всей Украины. Коротченко в ЦК сидел, а Сенин трудился практически. Не успел

Гольдфрухт выйти из кабинета, а секретарь уже торопится. Забежал вперед, зовет за собой, осматривать кабинет. Какой? Сами подскажите. Тут несколько свободных. Показывает. Один, другой. Впрочем, решили за него, настолько Гольдфрухт от всех этих событий был не в себе. А тут еще вопросы. Какой стол, какой шкаф, какой сейф. И все это сразу на карандаш и в блокнот. Ковер нужен? Ковер? Это он уже записывает. Конечно, нужен.

Опять объявился Ревенко. Собственно, он никуда не отходил, но держался незаметно в присутствии высокого начальства. Особенное свойство у людей, можно сказать, талант, вроде бы, есть он, и нет его. Садятся они опять в эмку (Гольдфрухт потом узнал — машина для нижних чинов) и едут в Центральный универмаг. Там по лестнице уверенным шагом, и прямо к директору. Женщина директор. Ревенко ей объясняет. Этот человек был в плену, вернулся, есть правительственное задание — одеть его, как следует. Женщина кивнула, вызвала своих. Какой размер? Фриц размера не знал, в счастливые времена ему портной шил, а в лагере размером он не интересовался. Теперь обмеряли всего, принесли, что нужно, дали выбрать. Взяли костюм, обувь, рубашки. И поехали в баню, прежде чем все это надеть. Специально для них открыли воду, дали пар. Боже мой, какое блаженство. Потом вспомнили, галстук забыли. А куда без галстука? Поехали, выбрали галстуки, сразу несколько. Ревенко — добрый волшебник. Неплохой человек, наверно, чахоточный, худой очень. Фриц спустя несколько лет при обстоятельствах, о которых будет рассказано, могилу его на Байковом кладбище обнаружил. Приехали в гостиницу. Ниже старого здания гостиницы *Украина* была тогда еще одна небольшая гостиница — *Первомайская*. Здесь Гольдфрухту дали номер. На первое время, пока осмотрится. Вот такой необычный день.

Была еще одна деталь, которую Гольдфрухт от меня утаил (или просто упустил?), зато изложил подробно в том бракованном интервью. Утром того самого дня, еще до триумфального посещения Совмина они заехали в дом на Владимирской. В Управление МГБ.

Там с Фрицем побеседовал полковник. Для начала ему вручили советский паспорт, прописанный по улице Рейтарской с указанием дома (номер тридцать) и квартиры. Гольдфрухт еще и улицы такой не видел, не то, что адреса. Но это на будущее, а пока — отдыхайте в гостинице. Ну, и… мы для вас постарались, надеемся, что и вы проявите сознательность.

Фриц упирался: — Не знаю, чем могу быть полезен.

— Ну, что вы, замечательный вы человек. Вы нам подходите. В лагере вели себя хорошо и о сестре заботитесь. Мы в курсе, где

она и как. Если все будет, как надо, сможете с ней связаться, и мы поможем.

От этих слов Гольдфрухту стало тоскливо, но зато спокойно. Он понял, что привязан крепко. Будущую работу ему объяснили так. Украина была во время войны оккупирована. Местный народ проявил себя с лучшей стороны, но нашлись и пособники. Сами знаете, что такое репрессии. Во время войны ко многим людям они применялись. К пленным, к партизанам, к евреям, ко множеству других людей. В частности, в южных областях — Одесской, Николаевской, которые были заняты румынами. Мы должны восстановить справедливость, найти и покарать виновных. И вы нам в этом поможете. Мы понимаем (это полковник Гольдфрухту объясняет), что вы много страдали, и семья ваша пострадала, но это не потому, что мы так хотели или Советская власть желала вам зла, так сложились исторические обстоятельства. Вы были офицером вражеской румынской армии. Да, мы знаем, вы не воевали. Но обстановка была такая. Теперь вы — советский человек, вот паспорт. Мы вам доверяем. И вы должны выполнить эту работу, попытаться выявить этих пособников, на которых мы укажем. Вам притворяться не нужно. Задание вы получите. А пока езжайте, устраивайтесь на работу. Наш товарищ Ревенко будет вас постоянно сопровождать. Если что, обращайтесь к нему. Это, знаете, на первое время. Увидите, он вам понадобится. Вот сейчас отведет вас в столовую и накормит, как следует. Вы поешьте, вам еще целый день по делам и по делам. И паспорт, паспорт не забудьте.

Вот так Фридрих Бернгардович оказался в Совете Министров. На следующий день с утра поехали с Ревенко на новую работу. Секретарь уже ждал, провел в кабинет, на двоих, в том числе, стол Гольдфрухта. На дверях табличка — *Отдел транспорта*. Другим оказался железнодорожник. Каждый занимался своим делом, даже при желании, переговариваться было непросто. Очень большой кабинет.

Задача была, организовать сообщение между городами Украины на многие годы вперед, там, где нет железнодорожного, наладить автобусное. Поэтому такой отдел — один отвечает за железные дороги, другой (Гольдфрухт) — за автобусный, колесный транспорт.

Нужно брать командировку, ехать на место, смотреть и принимать решение. Все организовать заново в условиях послевоенной разрухи. Средств на все не хватает, а местное начальство, конечно, заинтересовано грести под себя. Потому нужен человек из центра, который сможет беспристрастно оценить ситуацию, распределить технику, запустить ремонтную

базу, продумать обеспечение бензином. Такая досталась Гольдфрухту работа.

Автобусы делал Кременчуг и Львов (это попозже). Главное было максимально эффективно проложить маршрут. Причем продумать на годы вперед. Выходило это так. Гольдфрухт изучал транспортную проблему на карте, потом выезжал на место и следовал сам по трассе, оценивал, может ли пройти автобус, и как лучше. Принимал решение, согласовывал с местным начальством (не без конфликтов)…

Первый выезд был в Харьков, затем в Одессу, так он объездил весь восток и юг Украины. Нигде на Украине он прежде не бывал и теперь знакомился со страной, как бы с чистого листа. Везде был, кроме Сум, не знал даже, что есть такой город. Так что за Сумы (как Фридрих Бернгардович теперь шутит) он не отвечает. Работой его были довольны, в то время разрабатывался Генеральный план послевоенного восстановления Украины, автобусное сообщение было его важнейшей частью — прокладка дорог, строительство автостанций, пунктов техобслуживания. Соображения Гольдфрухта, как правило, принимались во внимание. Он отработал на совесть.

Киев восстанавливали. На Крещатике две машины не могли разъехаться, везде руины. На углу Прорезной — склад кирпича. Гольдфрухта по дороге на работу останавливали. Чего с пустыми руками, поднесите носилки… Таково было общее правило. Убрали развалины, восстановили дороги, взялись за троллейбусные маршруты. Этим Гольдфрухт занимался непосредственно.

Тут будет кстати упомянуть такой эпизод. В Черновцах до войны жил некий доктор Хайн. Сначала был адвокатом, а потом построил фабрику тканей. Сам изготавливал, сам продавал. Ткани для детской, для рабочей одежды, не самые модные, но нужные для любой семьи. Пришли Советы, он остался. Его арестовали. Вместе с женой и младшей дочерью, старшая к тому времени вышла замуж и уехала в Южную Америку. Всех забрали и отправили в Сибирь. Жена умерла. Руками делать Хайн ничего не умел. Адвокат в сибирском селе никому не нужен, хоть судьба В.И.Ленина этот тезис опровергает. Но, видно, Хайн с наследием Владимира Ильича знаком не был, по крайней мере, в деталях. Он *пошел своим путем* (смотри жизнеописание Володи Ульянова), научился изготавливать щетки для одежды и обуви, и так жил.

Вызывает как-то Сенин Гольдфрухта: — Вы ведь из Черновцов, знали такого Хайна?..

— Что-то слышал.

— Тут, — Сенин объясняет, — такая история. У этого Хайна

была фабрика, ее демонтировали, привезли в Киев, оборудование немецкое. Куда, что, никто не знает. Стоят ящики без дела. Хозяина нет, навели справки, говорят, отправили его в ссылку. Но и там его нет. Может, вы что-то знаете?..

Фриц помнил, в школе училась с ним девочка Лиля Хайн. Ничего более определенно сказать не мог. Месяца три спустя ехал в трамвае, тогда от площади Сталина (ныне Европейской) и до Контрактовой (Красной) площади пустили первый трамвай. У него и номер был — *первый*. И из трамвая Гольдфрухт увидел Хайна. Тот не сильно изменился. Пока Фриц выскочил на остановке, Хайна уже не было. Фриц стал искать. По работе были возможности. Узнал, что на улице Саксаганского есть база легкой промышленности, там начальником Хайн. Секретарша, нет, нет, вы не записаны. Красное удостоверение ее убедило. Сидит в кабинете Хайн, но не тот. (Этот Хайн потом получил большой срок за махинации). Фриц продолжил поиски и нашел. Есть такой Хайн, занимает комнату на Подоле и работает мастером на шелковом комбинате. Тоже на Подоле, тогда еще в Дарнице не выстроили. Фриц пришел на комбинат. Где Хайн? Вот он. Только он по-русски плохо разговаривает. Сидит печальный Хайн в старом кителе, Фрица узнал, заплакал. Он — старший мастер, делает галстуки и помогает налаживать свою фабрику. Оказывается, его уже без помощи Гольдфрухта нашли. Но отпустили из Сибири одного, дочь там оставили. Теперь он ходит, просит. А ему говорят, скажите спасибо, что мы вас отпустили. Он плачет, тогда верните меня назад в Сибирь, к дочери. Тоже не хотят. На следующий день Гольдфрухт пошел к Сенину. Вы знаете, я нашел. Сенин отвечает, мы тоже его нашли. — Да, — говорит Гольдфрухт, — это не все… И рассказывает, как с этим Хайном бездушно обошлись. Сенин тут же отреагировал, направил дочери вызов или еще какую-то бумагу. Факт тот, что дочери выдали паспорт (ссыльным паспорт не полагался), разрешили приехать к отцу в Киев. Хайна со временем перевели на Дарницкий комбинат. Дали однокомнатную квартиру. Район в Дарнице, где теперь улица Строителей, назывался прежде Аварийным городом. Гольдфрухт с ними часто встречался. Хайн считался хорошим специалистом, но имел одну странную для нашего человека привычку. Раз в месяц он садился за стол и писал письмо с жалобой, что у него, честного гражданина Хайна по ошибке отобрали личную фабрику, выстроенную на трудовые деньги.

Дела секретные и сердечные. В это время Фридрих Бернгардович получал и другие задания, более таинственного свойства. Об этой лунной стороне своей жизни он, рассказывая

мне, поскромничал. Конечно, я не в претензии. А женщине, бравшей у него интервью, открылся. Почему так, объяснить не берусь. Рассказ на эту тему основан, в основном, на ее записи, увы, несовершенной. Но, с учетом того, что прочие детали повествования (интервью-ерше и мне) совпадают, можно предположить, что и здесь история достоверна.

Знало ли Совминовское начальство об агентурной деятельности бывшего барона? Его основная работа (хотя какую из них следует считать основной?) подходила для этого очень удачно. Частые разъезды, командировки, возможность оправдать неожиданное отсутствие — лучше придумать было нельзя. К деятельности такого рода не следует вот так, с порога относиться предосудительно. Работа направлена на службу интересам государства. Тем более, не каждый, рвущийся в дело, подходит для романтической профессии. Добровольные стукачи здесь не в счет, им всегда находится занятие. В мнениях о *рыцарях плаща и кинжала* существуют серьезные разногласия, но наиболее пространные суждения больше замешаны на демагогии. Первая теща Гольдфрухта (об этом речь впереди), когда отношения накалились, выскакивала на улицу и кричала в спину зятю с непередаваемым темпераментом: — Вот он, шпион. Держите. Вот он, шпион.

С тещей, как всегда, крайний случай. Но кому прикажете верить? Фридрих Бернгардович действительно был похож на шпиона, каким его рисовало бесхитростное (но бдительное) воображение. Каждое время создает свои образы. И если кого-то следовало задержать, то именно Фридриха Бернгардовича. Он же — Федор Борисович, и, тем более, дядя Федя. Импозантный Фридрих Бернгардович очень смахивал на чуждый элемент, а когда открывал рот, так и подавно.

В общем, если совминовское начальство и знало (не иначе, как знало!), то относилось без предубеждения и с пониманием. Это проявилось во время болезни Фридриха Бернгрардовича, мы еще увидим. Было еще одно обстоятельство. Агентурная работа требовала безотлагательных командировок (отлучек). Буквально, в тот же день. Звонили, высылали машину и нужно было ехать. Очевидно, этому требовались объяснения, и только секретная служба могла служить достаточным оправданием. А как могло быть иначе в ту героическую эпоху? Советский народ мог гордиться таким шпионом.

Разные поручения по роду агентурной деятельности Фридриха Бернгардовича можно классифицировать (по крайней мере, я попытался) и выделить следующие. Он мог внедриться в подозрительную среду, где предполагалось сотрудничество с

оккупантами. Его могли подсадить в камеру с подозреваемыми в шпионаже или контрабанде (именно один такой эпизод плачевно для него закончился). Он принимал непосредственное участие в боевой операции (было и такое). И, наконец, работал с иностранцами во время торгово-промышленных контактов. Это была самая приятная работа — легкая, немного авантюрная. Хотелось бы добавить к чертам Фридриха Бернгардовича снобизм, это кое-что бы объяснило, но как раз снобизма за ним не замечалось, хоть Фридрих Бернгардович за собой следил и даже шейный платок дома носил. У них — европейцев это выглядит естественно, не бросается в глаза и не требует дополнительных объяснений.

Первая командировка была в Николаевскую область и успеха не принесла. Предложили проехать в поселок Яткино, найти некоего гражданина. Еврей, между прочим, что указали при разработке плана операции. То ли самого гражданина подозревали в сотрудничестве с румынскими оккупантами, то ли он должен знать, кого-то еще, кто сотрудничал. Легенду придумали. Фриц проехал станцию, пришлось возвращаться. Поселок во время войны сгорел, начал отстраиваться. Люди еще жили в землянках. Нашел адрес. А нужный человек давно выехал. Куда? Вроде бы, в Бердичев. На этом задание закончилось. Фриц вернулся в Николаев, пошёл в Управление и доложил. Какие будут распоряжения? Езжайте домой. Фридрих Бернгардович остался недоволен. Разгильдяйство. Почему нельзя сначала проверить, уточнить, а уже потом направлять агента. Что это за работа? Он и далее позволял себе брюзжать, отмечал и как бы коллекционировал случаи полицейской тупости. Его можно было понять. Даже для просвещенной публики такое настроение оказалось заразительно. Что тогда спрашивать с Фридриха Бернгардовича, который через всю жизнь пронес патриотизм только к одному месту — досоветским Черновцам.

Вообще, работа была бестолковой и пользы от Фридриха Бернгардовича (по его рассказам) оказалось немного. Легенда была такая. Он только освободился из лагеря, рекомендовали обратиться именно к этому человеку, и вот он здесь.

Кто-то посылал его *к такой-то матери* (его дословное выражение). Другие бежали на него доносить. В местном Управлении были на этот счет предупреждены и знали, как себя вести. В Николаеве был по-настоящему опасный случай. Поступили агентурные данные на человека, который, вроде бы, сотрудничал с румынской жандармерией. Была известна фамилия сержанта этой жандармерии, через которого строились отношения. Послали Гольдфрухта проверить. Село оказалось под

Николаевом, километра за три, пришлось идти пешком. Страшным человеком оказался этот подозреваемый — затравленный и подозрительный. Фриц обратился по-румынски: —Такой-то, от фельдфебеля такого-то.

— Откуда его знаешь? — Сам смотрит волком.

— Знаю. Его сейчас нет в Румынии. Он дальше, у наших друзей. Привет передает. И спрашивает, может ли тебе помочь?

— Пойдем в сарай. — В сарае берёт топор. — А теперь говори, кто тебя послал?

— Такой-то.

— Я его не знаю. Ты адрес перепутал.

— Нет, адрес точный.

— Сейчас тебя отправлю по этому адресу навсегда.

— Я здесь не причем. Я — румын. Меня послали, я пришел. Говоришь, нет такого, значит, нет.

Топор опустился. — Ночевать у тебя есть где? Нет? Сегодня переночуешь, а завтра с утра уходи. И чтобы я тебя больше не видел.

Вернулись в хату. Поели, выпили (у Фрица была бутылка). Хозяин показал, где лечь, но Фриц почти не спал, лежал настороже, опасался за жизнь. Через час к хозяину кто-то явился. Переговаривались негромко, но Фриц слышал. — Кто к тебе пришёл? А зачем он пришёл?

Утром Фриц ушел. В дороге привязался мужичок. Фриц по голосу опознал ночного гостя. Вроде бы, попутчик. Шли вместе до Николаева. Расспрашивал Фрица, кто, откуда, почему русский язык плохой. Так Фриц и не понял, кто такой, то ли его проверяют, то ли хозяина.

В сарае могли убить. Фриц по глазам видел, хозяина лихорадило. А случались эпизоды почти комические и даже трогательные. В Полтаве ему велели зайти к девушкам — сестричкам, лет двадцати пяти. Во время войны у них сложились сердечные отношения с югославскими офицерами.

Нужно было представиться другом этих югославов, спросить, не нужно ли что передать. Женщины встретили очень сердечно и несколько дней Фрица не отпускали. Он отрекомендовался командировочным из Киева, так оно на самом деле и было. Днем занимался автобусным хозяйством, а вечером шел в гости. Сначала вспоминали югославов (одна даже всплакнула), потом внимание переключилось на самого гостя. В Управлении над ним посмеялись. — Как вам наши полтавчанки? Горячие девчата?

Пользы, как она понималась теми, кто его направлял, от работы Фрица не было никакой. Если кто и сотрудничал с немцами и румынами, в разговорах с ним это никак не

проявилось. Ни одного человека он не сдал. Не было повода, а если бы и был… Фридрих Бернгардович на этот счет не распространялся. Отвечал за него Ревенко. Встречал Фрица после командировки, принимал отчет. Он же и заботился. Фриц привык к гостинице, вернулся как-то, а ему говорят. — Идите к себе домой. Вы же прописаны. По Рейтарской 35. — И выдали ключ.

Двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. Без мебели, пустая. Печку нужно топить углём, ни угля, ни дров нет. Хорошо, что лето. Фриц обратился к Ревенко. Дали кровать, стол и стулья. Но бывал он там — на первой киевской жилплощади не часто, обе службы — явная и тайная требовали постоянных разъездов.

Его хотели послать в Западную Украину. Внедрить к бандеровцам. Фриц возражал, он — еврей, те не поверят. Ему резонно напоминали, он — румын, профессиональный военный, таких бандеровцы уважают. Фриц упёрся категорически. Вопрос решил полковник, который командовал агентурой. Приказал использовать Фрица только в восточных областях Украины.

Как-то он спокойно трудился по своей мирной профессии — разрабатывал транспортные маршруты. Звонок был прямо на рабочее место, в кабинет Совета Министров. Чрезвычайная ситуация. Немедленная готовность с вещами, машина за ним уже вышла. Никаких возражений и отговорок. Старая привычка, с довоенных времен, у Фрица всегда был наготове небольшой чемодан. Привезли его в аэропорт Жуляны, по дороге выдали командировочные, посадили в самолет до Львова. Там встретили, отвезли к ужгородскому поезду. Запомнилась картинка. Два офицера в синих шапках — молодые симпатичные и немного под хмельком трепались, едут организовывать выборы. Эти сволочи, фашисты не хотят голосовать. Мы им покажем. Хлопали себя по кобуре. Социальные преобразования давались с большим трудом. В Ужгороде Гольдфрухта определили в гостиницу, а с утра пришел человек:

— Как насчет того, чтобы пешком прогуляться?

— Я хожу пешком.

— Километров двадцать одолеете?

Дали венгерские сапоги, галифе, куртку, и отправились на машине в карпатскую глубинку. В каком-то селе машину оставили и двинулись в горы. Проводник из местных, отряд в пять человек, у всех, кроме Фрица, оружие, мешки за плечами. Шли весь день, обходя села, добрались до места. Там встретил военный, похоже, в немалом чине, но без знаков различия.

Здесь Фриц узнал детали операции. Неподалеку в лесу должен быть схрон — тайное убежище *мельниковцев*, одного из подразделений УПА (Украинской повстанческой армии). Есть

сведения, там сейчас важный человек, заброшен из-за границы. Как к схрону подобраться и здесь ли он — никто не знает. Район скрытно оцеплен. Задание Фрица — быть под рукой, если понадобится переводчик. Неясно, кто это здесь и как с ним придется общаться. По-румынски, немецки, английски? А пока нужно ждать.

Разведанное место — поляна в лесу просматривалось со всех сторон, но почти сутки ничего не происходило. Ночью было холодно, сидели, завернувшись в одеяла, шевельнуться нельзя. Ни огня, ни курева, ни разговоров. Вдруг объявился парень, без оружия, мирного вида, вышел из леса, прошелся, остановился возле какого-то пенька. Вечер, сумерки, туман, парень в нем растворился. Непонятно куда, хоть ясно, здесь он, не мог уйти. Снова долгое ожидание, наконец, появились двое — тот же парень и крепкий мужик с автоматом.

Теперь на них бросились со всех сторон. Несмотря на строгий приказ, брать живыми, поднялась стрельба. Фрицу велели подойти, когда все было кончено. Грудь прострелена, хрипит. Фриц обратился по-английски. Кто такой? Чуть разобрали, и то непонятно. Коф или Каш… Замотал головой, отказался говорить. Его унесли.

Спустились в бункер. Фриц был поражен. Огромное помещение, полностью благоустроенное, даже с мебелью и коврами, пол деревянный, вентиляция. Радиоприемник, много оружия, вплоть до пулеметов. Сверху можно неделю торчать, ничего не заметив. Если бы связной не прокололся, так бы и не нашли. Того взяли в целости. На этом участие Фрица закончилось, и он отправился в Киев. Позже Ревенко сказал, спецоперация оказалась одной из самых успешных за последние годы. Кто-то из местных выдал.

К этому же времени — лету сорок восьмого года — относится одесская эпопея Фридриха Бернгардовича. Холодная война крепчала, но контакты с иностранцами пока длились, и торговля шла. Фридрих Бернгардович участвовал в двух больших сделках, причем вполне легальных, по линии Совмина. Одна — по ввозу в страну автомобильных запчастей для оставшихся с войны машин. Их меняли на пшеницу. Вторая — передача Албании нескольких сотен советских автомобилей ЗИСов (завод имени И.В. Сталина). Работа ответственная, албанцы принимали машины придирчиво, пересматривали каждую. Все претензии к качеству направлялись Гольдфрухту. Факт приемки заверялся официально, подпись Фридриха Бернгардовича была на всех документах. Казалось бы, само задание вполне оправдывало пребывание Фридриха Бернгардовича в Одессе. Но агентурной нагрузки никто с него не

снимал. Поселили его в гостинице *Центральной*, в дорогом номере. Гостиницу занимали моряки (капитаны) и коммерсанты, приехавшие налаживать бизнес с послевоенным Союзом. Публика была самая разная: англичане, греки, итальянцы и прочие, даже румыны. Питались в ресторане при гостинице по спецталонам. Талоны на сто рублей в день, что у иностранцев, что у Фрица. Можно было заказать на эту сумму по выбору, хоть одну красную икру. Алкоголь не полагался. Остальное, при желании, нужно было искать на черном рынке, которого иностранцы побаивались. И держали их, к тому же, в изоляции. Задача Фридриха Бернгардовича была, сблизиться и слушать разговоры, самые разные, что обязательно случаются за едой: местные новости, сплетни, впечатления от общения с местными чиновниками. Присматривать за тем, что происходит в зоне видимости и слышимости и докладывать. Свободное владение языками делало Фридриха Бернгардовича незаменимым агентом. Люди с ним держались доброжелательно. Одному китайскому коммерсанту он даже покупал мороженое. Китаец не укладывался в расходы на питание из-за страстной любви к этому продукту. Летом он съедал по шесть порций за день.

Фриц был единственным, кто имел доступ в обеденный зал. Кое-что о наших порядках иностранцы знали (а еще больше были напуганы), понятно, Гольдфрухт вызывал подозрение. Повышенную настороженность проявляли англичане. Их было несколько, но особо запомнились двое. Младший — сын владельца фирмы, старший — наемный специалист, лет пятидесяти. Сын тут же сошелся с местной красоткой, носил украинскую вышитую рубашку (вышиванку), подруга подарила. А специалист учился в Кембридже, как и Фриц. Сначала Фрицу не поверил, а когда получил доказательства, насторожился. Как такое может быть? Как ты здесь оказался? Из Черновцов? А где эти… он и выговорить не мог… Тшерновитсы. Приходилось долго объяснять. — А что ты здесь делаешь? — Представляю правительство на приемке и отгрузке техники?.. Это, вроде бы, англичан убедило.

Не все были такими подозрительными. Одно время сложилась спортивная компания, просили Фрица, чтобы сопровождал на пляж. Каждый выходной. Заказывали машину, по дороге докупали еду — колбасу, хлеб, масло. Плавки Фрицу подарили, кажется, мелочь, но у него не было. Отношения с этими людьми были приятельские. Уже выстроился барьер, который отделял советского человека от иностранца, и Фриц реально его ощущал. Что он мог этим людям рассказать? И зачем? Сбежать он не мог, тайных интересов за границей у него

не было.

Труднее всего было с нашими оперативниками. Гольдфрухт на них насмотрелся, и все равно удивлялся. Как их отбирают и готовят?.. Хоть люди всего лишь делали свою работу. Чуть ли не каждый день он должен был докладывать. Звонили, вызывали в особую комнату (такая была в гостинице) и требовали отчет. Его опекал очень серьезный — и по виду, и по полномочиям — эмгэбист, но чаще с ним работали двое. Расспрашивали придирчиво, хотя для самого Фридриха Бернгардовича, из гущи, так сказать, событий, разговоры эти не стоили ровным счетом ничего. О чем говорят? Чем интересуются? Интересовались иностранцы одним и тем же, по крайней мере, в разговорах с ним. Как провести время? Традиционных приморских развлечений в тогдашней Одессе явно не хватало, люди тосковали по женщинам, привычному колориту портовых городов. В свои коварные планы Фрица не посвящали. Скорее всего, их не было, так Фриц считает.

Повезло Фрицу с австралийцами. Санитарная инспекция по каким-то соображениям (сказали, что есть крысы) не пропустила корабль в порт. На нем привезли австралийскую шерсть, огромные тюки. Команду поселили в гостинице *Красной,* а капитана с первым помощником в *Центральной,* в номере рядом с Фрицем. Естественно, они тут же познакомились. Вечером капитан пришел к Фрицу, принес виски. Сидели, пили, разговор шел заурядный, пока капитан не попросил Фрица достать пару килограмм икры — красной или черной, а лучше — и той, и другой. Жене хотел привезти. Икра тогда в продаже была и сравнительно недорого, по крайней мере, Фриц себе часто покупал, понемногу, чтобы съесть сразу. После лагеря он стал гурманом и не отказывал себе в деликатесах.

Но как быть с австралийцем? Денежные операции исключались. К тому же при входе в гостиницу стоял контроль, могли обыскать, такое случалось. Для него эта операция могла закончиться новым сроком. Конечно, Фриц мог купить икру себе, тем более, в фабричной упаковке, в банках, как положено. Но в таком количестве? Были бы вопросы. Австралиец предложил обмен. Он отдаёт костюм шерстяной, серый, макинтош, рубашку, пару галстуков и ещё какую-то мелочь (с годами забылось). По тогдашним ценам очень выгодно. Фриц пообещал дать ответ на следующий день.

На встрече с сумеречным эмгэбистом он изложил ситуацию, а от себя добавил: — Неизвестно, сколько мне еще здесь, поглядите, в чём я хожу (одет он был, действительно, убого). А мне на официальных встречах приходится бывать, документы

подписывать, с деловыми представителями общаться. Что они обо мне думают? Не только обо мне, о стране?

— Выпишем вам деньги, купите одежду.

— Какую одежду? Разве здесь можно что-то купить. Они над нами смеются. Я предлагаю, вы мне даете разрешение, я покупаю икру и меняюсь с ними на одежду. Так будет намного дешевле.

Эмгэбист тяжело задумался. — Я эти вопросы не решаю. Потяните время, пока я сделаю запрос.

Два дня Фриц уклонялся от ответа изголодавшемуся по икре австралийцу. Наконец, разрешение было получено, опекун даже выдал часть необходимой суммы на обзаведение. И объявил строго. — Сразу ко мне. Я лично проверю, что вы там наменяли.

Фриц обзавелся икрой. Австралиец радостно вручил ему половину своего гардероба и матерчатую сумку впридачу (сумка до сих пор у Фридриха Бернгардовича). В нее все уложили. С этим Фриц, не выходя из гостиницы, заявился к опекуну.

Что там было? Светло-серый костюм, красавец, чистая шерсть. Макинтош, блестящий, английский, с множеством карманов, рубашка оранжевая, и штук пять галстуков. Все это Фриц выложил на стол.

Опекун перетряхнул вещи и велел Фрицу примерить. Оказалось исключительно впору. Хорошо, что опекун был в два раза полнее, и, возможно, поэтому не испытал собственнических чувств. — Слушайте, оно же прямо на вас…

Но выразил свои чувства как-то мрачно. Фриц спохватился и поделился с опекуном галстуками, себе два оставил. Разошлись, довольные друг другом.

На оставшиеся деньги Фриц купил пару туфель. И стал настоящим франтом, вернул себе довоенный шик. В таком виде явился в Киев. Тридцатилетний молодой человек. Франт. Пришло время жениться.

Известно, что, помимо нежных чувств, к женитьбе приводят разные обстоятельства. Здесь началось с того, что наступила зима, и квартира Гольдфрухта оказалась совершенно к ней неприспособленной. Холод стоял зверский. С дровами и углем — постоянные проблемы. Свет почему-то гас. Если бы Фриц сидел на месте, наверно, можно было бы обжиться. Но возвращаться всякий раз в вымороженную комнату не хотелось. Фриц отправился в Хозяйственное управление Совета Министров и изложил скромную просьбу, дать одну комнату с отоплением и светом. Его отправили по адресу на Институтскую улицу. Тут в одной квартире жила заведующая детским садом завода *Арсенал* с дочерью. Муж погиб на фронте. Вторую комнату занимал инженер тоже из Совета Министров, постоянный

командировочный. Третью комнату отдали Фрицу. В квартире — паровое отопление, кухня. По-видимому (из описания за давностью лет трудно понять), квартира была ведомственная, потому что досталась Фридриху Бернгардовичу с обстановкой — шкаф, стол, стулья и кровать, даже с постельным бельем в шкафу. В общем, комфорт. Заведующая детсадом оказалась славной женщиной, всегда держала горячий чайник. Ее дочь — Света от Фрица не отходила, звала его дядей Федей. Светина мама говорила: — Федя, вам просто необходимо жениться. Нельзя чтобы такой мужчина ходил холостяком… Она сама была не прочь заполучить Фрица. Но (женщина оказалась непрактичная) познакомила его с подругой Фаиной Лазаревной Зильберштейн.

С тех пор, как Фридрих Бернгардович стал работать в Совмине, он стал завидным женихом. Это всем ясно. И Фаина Лазаревна оказалась основательной женщиной. Она уже побывала замужем за полковником, жила с ним в Ленинграде, развелась и вернулась к родителям в Киев. Фаина Лазаревна закончила юридический техникум, работала в юридической консультации. Жила с родителями в комнате по улице Круглоуниверситетской, 4. Отец Фаины Лазаревны заведовал магазином (что не слабо), мать — домохозяйка. Сошлась Фаина Лазаревна с Фрицем быстро, зарегистрировали брак спустя неделю после знакомства. Перегородили шкафом комнату и стали жить, родители жены — с одной стороны, молодожены — с другой. Шел пятидесятый год.

Почему Фридрих Бернгардович не воспользовался ведомственной комнатой, остается загадкой. Скорее всего, то было общежитие, которое ему выдали, как человеку одинокому. Собственное его объяснение (мне) таково, что он еще не знал наших законов, и комнату, грубо говоря, проворонил. Не боролся за жилплощадь, как это принято, не отстаивал, а просто взял и вернул в министерский фонд. Но ведь жена с опытом современной жизни, юрист к тому же, не могла не знать. Так или иначе, это была тяжелая ошибка. А пока Гольдфрухт нашел свое счастье в комнате на улице Круглоуниверситетской.

И вскоре получил роковое задание. Это было даже не задание, а отпуск, предполагалось, что он управится с делом быстро и останется время отдохнуть. Дали путевку в совминовский санаторий. Но сначала дело. В Ужгородском следственном изоляторе МВД — КГБ томился некто Рохлин — мукачевский еврей. Рохлин занимался контрабандой, среди прочего подозревался в торговле оружием (так, по крайней мере, объяснили Фрицу). Необходимо было войти к нему в доверие, получить нужную информацию. Задание Фрицу не понравилось, еще в Киеве, когда проясняли, как и что.

— Узнайте что он за человек.

— Но я не понимаю по-венгерски.

— Будете говорить на идиш.

— Я не знаю идиш.

— Ну, как-нибудь договоритесь…

Он отказывался, а потом решил: Рохлин — человек тертый, он поймет..

Вообще, об организации агентурной работы Фридрих Бернгардович остался очень невысокого мнения. На деле люди гораздо менее проворные и сообразительные, чем нам показывают в кино. Те же туповатые чиновники. Лишь бы спихнуть. В общем, Фрица отправили. По легенде, он переходил румынскую границу и попался. Детали уточнили, но, в целом, все выглядело убедительно. Была, однако, особенность, оказавшаяся роковой. Местное милицейское начальство не было поставлено в известность (видно, и оно было под подозрением), за Фрица отвечал доверенный человек по чекистской линии.

В камере оказался третий, некто Пекер, из местных. Это Рохлина здорово отвлекало, переводило внимание на своего, тем более они и прежде были знакомы. Между собой земляки общались на незнакомом Фрицу венгерском. Выходило, сидит он зря. Пекер был человек незамысловатый, из анекдотичных коммерсантов. Где-то раздобыл тонну соли (так, по крайней мере, он рассказывал) и поделился новостью с подругой. Доверчивый Пекер рассчитывал предстать перед ней солидным дельцом. Подруга захотела получить свою долю, Пекер не согласился, и она заявила в милицию. От предательства любимой и потери соли Пекер немного повредился в уме и, сидя, время от времени выкрикивал: — Соль, соль, где моя соль?.. Он страдал от женского коварства, а это серьезно. Кто испытал, могут подтвердить.

Фрица несколько раз вызывали на допрос к нужному человеку, но сообщить о своих сокамерниках он так ничего и не смог (или не захотел?). Его просили быть активнее. Местное начальство заподозрило саботаж. Фриц со своим немыслимым акцентом и удивительным прошлым выглядел в пограничной зоне странно. Начальник местной милиции категорически отказался его освободить, но и с запросом в Киев не спешил. Особенно казались подозрительными совминовские документы. Хотел добиться от Фрица признания в шпионаже (или сам заметал следы?). В общем, вместо долгожданного отдыха, Фриц проводил время в тюрьме в обществе угрюмого Рохлина и рыдающего Пекера, тоскующего вслух об утраченной соли и любви. Почти месяц прошел, пока в Киеве не спохватились. Из Совмина стали искать, жена заволновалась (с ней отношения складывались непросто). Пекер почти не кашлял, не курил, выглядел здоровым, и Фриц очень удивился, когда почувствовал себя нехорошо. Когда его вызвали на очередную беседу, он почти не мог говорить. Его перевели в медчасть, с температурой под сорок, оттуда доставили в Киев, на самолете санитарной авиации. Из Совмина распорядились, сам бы он не доехал.

Болезнь. На всю камеру была одна кружка, пили воду из одного бачка. Ели и спали рядом. Все условия, как нарочно, для заражения. В Киеве Фрица поместили в инфекционную больницу. Пригласили известного диагноста Анну Давыдовну Динабург[4]. Динабург *своей болезни* не нашла (она была невропатологом), но забрала Гольдфрухта для обследования. Фридриха Бернгардовича перевезли на улицу Воровского. *Больница водников* была переполнена, положили его в женской палате за ширму. На следующий день рентген дал ответ — диссеминированная форма туберкулеза. Были поражены легкие и гортань. Больного срочно

доставили в *Институт туберкулеза*. К этому времени Фридрих Бернгардович стал окончательно умирать, отключился, и все происходящее наблюдал как бы из плотного тумана, хождение каких-то людей, какие-то разговоры, смысла которых он не понимал. Нельзя сказать, чтобы это было мучительно. За свою сравнительно молодую, тридцатилетнюю жизнь он уже немало насмотрелся и был к смерти равнодушен, в том числе, к своей.

Конечно, Гольфрухт бы погиб, если бы не И.М.Сенин — его совминовский начальник. Видно, Фридрих Бернгардович и впрямь был ценным работником и неплохим человеком, если Зампред Совмина принял в его судьбе такое участие. Он позвонил в Институт, расспросил, что нужно, оставил свой телефон и велел звонить при необходимости. Гольдфрухт узнал об этом от Иды Осиповны Розенберг — своего лечащего врача. Она его выходила. Стрептомицина тогда еще не было. То есть в природе он уже существовал, но первые партии распределялись на уровне правительственной больницы. Для Гольдфрухта доставили двенадцать грамм препарата. Кололи по несколько раз в день, лежать он мог только на животе. Но горло постепенно очистилось, вернулась речь, смог глотать. Стал оживать, шатаясь, встал на ноги. Отощал, как в лагере.

Потом перевели в *4-е Управление*. Это медицинское учреждение занималось охраной здоровья партийного и правительственного аппарата. Здесь Фридриха Бернгардовича подкормили, больным туберкулезом полагалось усиленное питание. В 4-м Управлении питание было замечательное, Гольдфрухт давно так не ел. Икру давали, апельсины. Подлечили и вернули назад в институт. В гражданской жизни придерживались полувоенных формулировок — *для прохождения дальнейшего лечения*.

В институте были два видных хирурга Костромин и Григоренко. Гольдфрухт побывал в руках у обоих: накладывали пневмоторакс, иссекали пораженные туберкулезом ребра, удаляли плевральные спайки. Хирурги произвели на Гольфрухта сильное впечатление. Костромин был по природе грубиян и мясник (так его Гольдфрухт охарактеризовал), но работал виртуозно. Григоренко был весельчак, душа человек, бывший полковник медслужбы. Гольдфрухт приходил своим ходом, укладывался на стол и операция (под местным наркозом) начиналась. Григоренко рассказывал анекдоты, смеялся сам, смешил медсестру и требовал от больного сопереживания. Полтора часа, хоть весьма болезненно, протекали незаметно.

— Ну, что, герой, — спрашивал Григоренко, закончив операцию, — тебя подвезти, или сам найдешь дорогу?

Ночью случился спонтанный пневмоторакс. Воздух попал в плевральную полость, стал поджимать легкое, Фриц начал задыхаться. Хорошо, что в палате был сосед, позвали дежурного врача. Дежурила в ту ночь Ида Осиповна. Она не раз (и по своей инициативе) оставалась дежурить при Гольдфрухте. Тогда для хорошего врача в этом не было ничего удивительного. Такая была бесплатная медицина.

Вторым больным в палате оказался некто Ферганюк. Теперь это может показаться неправдоподобным, но он был прикомандирован к Гольдфрухту со стороны *органов*. Они и в больнице продолжали опекать своего сотрудника. Ферганюка брали на фальшивую операцию, вывозили из палаты, потом возвращали. Он ахал, охал для вида. Ида Осиповна демонстративно к Ферганюку не подходила. Все это выяснилось потом, а тогда оказалось весьма кстати. Именно Ферганюк Гольдфрухта спас, поднял тревогу, когда тот стал задыхаться. Со временем они сдружились, когда Гольдфрухт пошел на поправку. Бродили за территорией больницы, по Байковому кладбищу, оно рядом с институтом. Там Гольдфрухт обнаружил сравнительно свежую могилу. Умер его спецопекун Ревенко.

Тогда же Фридрих Бернгардович познакомился с Николаем Михайловичем Амосовым. Честолюбивый доктор искал свой путь в науке. Гольдфрухт с его свободным знанием немецкого и английского оказался очень полезен. К тому же, он хорошо разбирался в технике. Немало часов врач и больной провели вместе в институтской библиотеке, и сохранили приятельские отношения на многие годы.

Была ситуация, в которой Ида Осиповна заняла принципиальную позицию. Она была возмущена поведением жены Гольдфрухта — гражданки Зильберштейн. В критические дни та и не думала являться, а потом приходила изредка, с откровенно корыстным интересом. Зильберштейн боялась заразиться, она считала, что Фридрих Бернгардович — человек неизлечимо больной и их большой любви пришел конец. Но Гольдфрухт продолжал получать неплохую совминовскую зарплату, и это не могло оставить ее равнодушной. Кроме того, на нее, как на женщину разумную, произвела впечатление забота со стороны правительственных организаций. Фридрих Бернгардович вырос в глазах жены.

Сам больной поначалу нервничал. Он верил в крепость супружеских уз. Правильно оценила ситуацию Ида Осиповна, и сказала жене, что приходить ей совершенно незачем, тем более, угроза заражения остается. Зильберштейн как раз ссылалась на свою маму, та очень боится заболеть. С ее хрупким здоровьем.

Гольдфрухту Ида Осиповна объявила: — Я распорядилась вашу жену больше не пускать. Не нужно ей бывать. Вы из-за нее нервничаете. Это не жена, это ваш враг.

Ида Осиповна оказалась очень решительной женщиной, дожила до глубокой старости, дружили они всю жизнь.

Спустя много лет Фридрих Бернгардович, как человек объективный, должен был признать, Советская власть лечила его очень хорошо. И врачи были самоотверженные. Это особенно приятно слышать, потому что сам Фридрих Бернгардович вырос, как известно, во врачебной семье и мог сравнить. Потом пошли санатории. Из института его отправили на два месяца в Кочановку. Там был санаторий на месте большого помещичьего имения. Композитор Глинка когда-то бывал, гулял в кочановских аллеях, сочинял музыку. Кормили замечательно, в имении были пруды и свое рыбное хозяйство. Из Кочановки Гольдфрухта вернули в институт. В Кочановке он побывал еще раз, был и в Сосновке. Там тоже был санаторий. Врачи старались перевести туберкулез из открытой в закрытую форму. В общей сложности, Фридрих Бернгардович проболел два года. Самой большой радостью было узнать, что бактерий он больше не выделяет и не представляет никакой опасности для окружающих. Угроза быть источником заражения его очень угнетала.

А в финале больничной одиссеи, его отправили в правительственный санаторий, в горах над Ялтой. В Ялтинском санатории он попал в одну палату с Иваном Михайловичем Лопатиным (фамилия может быть неточной). Иван Михайлович был правой рукой Туполева. Он тоже оказался бывшим лагерником, и они обменялись впечатлениями. Ивану Михайловичу *сиделось* намного лучше, как в золоченой клетке, кормили их прилично, ходили они в домашнем. От авиаторов (на свободе и в тюрьме) стране была реальная польза. Иван Михайлович занимался рулевым управлением самолетов.

У них была большая палата на двоих с верандой. Один спал в комнате, другой на веранде, по очереди. Много гуляли. Они сдружились, Гольдфрухт потом заходил к Ивану Михайловичу в гости, когда бывал в Москве. Как-то Иван Михайлович вернулся с телефонных переговоров, стал собираться. Внук заболел. Гольдфрухт забеспокоился, как же так, до города добираться. Оказалось, Ивана Михайловича отвезут на машине. В шесть утра за ним пришел правительственный ЗИМ. А на следующий день радио торжественно объявило о каком-то важном запуске, успешных испытаниях. Прошло еще два дня, и Иван Михайлович вернулся долечиваться. — Ну, как, — спросил Гольдфрухт, — внук? Летает?

За время пребывания в крымских санаториях, Гольдфрухта дважды задерживала милиция. Но отпускали легко. По-видимому, в облике Фридриха Бернгардовича продолжало сохраняться нечто иностранное, хоть в облегченном виде. Все это время он получал реальную помощь из Совмина, зарплату платили регулярно. Но теперь он стал *инвалидом второй группы* и должен был подыскивать новую работу. Сенин и тут помог. По его распоряжению, Гольдфрухта приняли в Областной Союз инвалидов войны и офицеров-пенсионеров. Фридрих Бернгардович не был ни тем, ни другим, но была *команда сверху* (еще одно сугубо отечественное выражение) и его зачислили.

Комментарий. Как у всех советских людей, занятых устройством послевоенного бытия, тогдашняя биография Фридриха Бернгардовича сплелась из устройства на работу, создания семьи и квартирного вопроса. Все эти коллизии могли бы стать темой для романа, тем более, что Фридрих Бернгардович был вполне романической фигурой, даже с избытком, выходящим за пределы не только жизненного правдоподобия, но художественного вымысла.

Пожалуй, этому есть объяснение. Каждый человек, выросший в определенном социуме, наделен не только знанием правил поведения, но социальной мимикрией, позволяющей реагировать на изменение среды и предугадывать опасность (хоть и ошибаться при этом). Это свойство часто проявляется через случайность, совпадение, казалось бы, второстепенных и малосущественных обстоятельств. Тогда, кажется, сама судьба, хранит своего избранника, распознавая как *своего* в переделах родного места и конкретного времени. То ли дело инородный элемент, подобный Фридриху Бернгардовичу, причем в среде достаточно нетерпимой и насторожено подозрительной к любым признакам чужеродности. Здесь Случаю приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы удержать спасительное равновесие. Так по отблеску, по цветовому пятнышку среди равномерно однородного пейзажа обнаруживается некий объект, стремящийся лишь к одному — укрыться, спрятаться, зарыться глубже. Деваться ему некуда, и такова его судьба — быть заметным и оставаться на виду.

Начало новой жизни. Выйдя из больницы, Фридрих Бернгардович обнаружил, что жить ему негде. Прежнюю холостяцкую квартиру на Рейтарской он легкомысленно потерял, а отношения с женой за долгое время болезни сильно пошатнулись. Фаина Лазаревна была хищницей и испытывала к вернувшемуся мужу сложные чувства. Она побаивалась

сближения, полагая, что болезнь может возобновиться, и она — цветущая, перспективная женщина станет ее жертвой. Но отъевшийся в санаториях Фридрих Бернгардович оставался видным мужчиной, красавцем и бросаться им не следовало. Тем более в послевоенные годы, когда женщине было непросто устроить личную жизнь и судьбу.

К этому времени и сам Фридрих Бернгардович, как супруг, перегорел. Чувство его угасло. Двуличное поведение жены открыло ему глаза. Он стал подумывать о разводе. Тем более, за время пребывания мужа в больнице Фаина Лазаревна совершила мрачный поступок, она выписала Фридриха Бернгардовича с жилплощади. Жить в одной комнате с больным казалось ей невозможным. Как ей это удалось, выше нашего понимания, но паспорт Фридриха Бернгардовича украсился зловещим штампом, указующим на отсутствие места проживания — *прописки*, без которой советская жизнь просто немыслима.

Фридрих Бернгардович отправился к тогдашнему Председателю Киевского горсовета Давыдову. У Давыдова были перед ним обязательства. Гольдфрухт собирал для Давыдова машину, на которой тот долгие годы разъезжал. Несколько раз машину приходилось ремонтировать, и заслуга в том, что она все еще выезжала самостоятельно с горсоветовского подворья, полностью принадлежала Гольдфрухту. Поэтому в Квартирном отделе его без волокиты поставили на учет. Но жилья было мало, к тому же Фридрих Бернгардович, как туберкулезный больной и инвалид, нуждался в улучшенных условиях. Дело затягивалось на годы.

В это время в квартире по тому же адресу — Круглоуниверситетская 4 освободилась комната — двенадцать метров. Прежнюю жиличку — крупную спекулянтку осудили, имущество конфисковали, комната стояла пустой. Гольдфрухт без всякого разрешения туда вселился. Квартирный начальник, которого он известил, принял известие о вселении со сложным чувством. Конечно, это незаконно, общая квартира, он не имел права Гольдфрухта вселить, тем более, больного. Но такое решение помогало, хоть временно, закрыть квартирный вопрос, давало передышку. А там будет видно.

Таким образом, проблему проживания в Киеве Гольдфрухт на время решил. Но в командировках (а по своей новой работе он много бывал в командировках) это сильно осложнило ему жизнь, без прописки его не принимали в гостиницу. Приходилось Фридриху Бернгардовичу ночевать, где попало, пока его сотрудники нежились на гостиничных простынях. И это при том, что Фридрих Бернгардович был их начальником (об этом чуть

позже). Все это создавало трудности.

В квартире, кроме Гольдфрухта, проживало немало народа. Семья Гороховых, семья Берковичей и одинокая старушка, оставшаяся безымянной ввиду тихого, практически бесплотного существования. Живет, ну, и ладно.

Самую большую комнату занимали Гороховы — сорок квадратных метров. Это оказалась семья будущей жены, о чем Фридрих Бернгардович пока не подозревал. Тамара Бенедиктовна Горохова отбывала срок в лагере. Ее судьба складывалась до сих пор не очень счастливо. Был муж — журналист, она во время войны работала где-то в издательстве корректором. Там в Свердловске они с мужем познакомились, там родился сын. Отец Тамары Бенедиктовны — Бенедикт (Хайм) Давидович Горохов занимал видную должность в МВД УССР. Он был там крупной шишкой в Финансовом управлении, чуть ли не главным начальником. В тридцать седьмом году, когда шли аресты, Борохов взял отпуск, уехал к родственникам, и пересидел период бурь. Видно, что умный человек. Во время войны Борохов был в армии где-то неподалеку от будущего министра, поэтому, когда начались гонения на евреев, обратился к фронтовому (или партизанскому?) соратнику с вопросом, как ему быть. Уходить? Сменить имя отчество? В общем, что делать? Министр успокоил, один такой Хайм-Бенедикт (так дословно он и сказал) в его ведомстве укладывается в процент нормы, и Горохов остался на службе. Это был человек домашний, любил портняжную и сапожную работу, сам шил и подбивал каблуки всей семье. Дома ходил в еврейском головном уборе — кипе. Сохранились снимки Горохова в кипе и в милицейской форме, правда, не сразу, а отдельно (но и так непросто поверить). У Тамары Бенедиктовны случилась какая-то история с мужем, в результате которой она осталась одна, и отец помог ей устроиться в книжный магазин — был тогда такой на углу улиц Саксаганского и Красноармейской. Там она работала продавцом. Потом в магазине обнаружилась недостача, Тамара Бенедиктовна была абсолютно не причем, но ее несправедливо осудили. Такое случалось, несмотря на повышенную бдительность, а, может быть, именно поэтому. Отца к тому времени из *органов* уволили, и, хотя гражданскую должность он получил завидную — Главный бухгалтер *мебельной фабрики имени Боженко*, но дочери помочь не смог. Мать работала заведующей Областным библиотечным коллектором, и жили бы они, можно сказать, беспечально, если бы не судьба дочери. Тамару Бенедиктовну отправили на лагерь, где она и находилась до амнистии по случаю смерти И.В. Сталина.

После возвращения в родительскую квартиру Тамара

Бенедиктовна познакомилась с Гольдфрухтом. На нее было тогда тяжело смотреть, ноги, опухшие в лагере, не влезали в туфли. Фридрих Бернгардович легко сходился с людьми, так же легко он сошелся с будущей женой. Первым чувством была жалость. Бывший лагерник — он был солидарен с людьми сходной судьбы. Это был опыт, недоступный пониманию со стороны. К тому же Фридрих Бернгардович обладал еще одним достоинством — он легко (но не легкомысленно) относился к деньгам. Предложил женщине помощь на первое время. Деньги у Фридриха Бернгардовича были — два года лечения ему шла зарплата. На себя он тратил мало, а аппетиты коварной жены сумел вовремя обуздать. Деньги хранил в сберегательной кассе, в начале Бульвара Шевченко. Себе в новую комнатушку купил только приемник, и то неудачно. Как-то в дверь позвонили, он открыл, без слов в квартиру вихрем ворвалась тогда еще законная жена Фаина Лазаревна и приемник унесла. Фридрих Бернгардович не оказал сопротивления. Теперь Фаина Лазаревна относилась к нему очень ревниво, следила за каждым шагом. Отношения стали враждебными, семья не могла простить Гольдфрухту разрыва, а теща — домохозяйка выбегала вслед за Гольдфрухтом на крыльцо и кричала ему в спину голосом актрисы Раневской — Вот шпион прошел, американский шпион. Держите его, держите.

Конечно, это было очень некстати. Развод Гольдфрухту категорически не давали, Фаина Лазаревна одумалась и настаивала на возвращении беглого мужа в семью. Теперь, когда появилась Тамара Бенедиктовна, это стало совершенно невозможно. Но и открыть свои отношения (женщины — соседки, через лестницу) было неразумно. Появились проблемы. И тут, в дополнение ко всему, по той же амнистии вернулась хозяйка комнаты. Фридрих Бернгардович приехал из командировки и нашел свои вещи в коридоре. Собственно говоря, и вещей почти не было. Отвоеванный у жены приемник Фридрих Бернгардович тайком вручил Тамаре Бенедиктовне, рассчитывая, что туда не дотянутся жадные руки Фаины Лазаревны.

А сам ушел жить на работу, в цех. День заканчивался, люди расходились, он вытаскивал раскладушку и устраивался на ночлег. Уборщицы его знали, начальство находилось в курсе, люди ему сочувствовали. Все кругом были инвалиды с разными болезнями и последствиями ранений. Все — бывшие офицеры, артель была организована специально для них. Фридрих Бернгардович пользовался среди этих людей уважением. Достаточно сказать, ему по общественной линии было поручено распределять инвалидный транспорт. Тут было много нуждающихся, еще больше желающих, и большая возможность

для злоупотреблений. Фридрих Бернгардович великолепно разбирался в автоделе, служил экспертом в сложных ситуациях и к тому же был *неподкупный*, как Робеспьер. Народ это знал и ценил, потому сравнение можно признать уместным.

Все было хорошо, если бы не противоестественность самой ситуации. Жить было можно, но негде. Фридрих Бернгардович стоял в очереди на жилье, регулярно навещал *квартирный отдел*, где на него стали повышать голос, как бывало (и бывает) с назойливыми посетителями, которые мешают занятым людям плодотворно трудиться и даже нарушают обеденный перерыв. И в командировки невыносимо стало ездить без штампа о прописке.

Если реальную проблему все время игнорировать, откладывать решение на потом, она непременно даст о себе знать самым неприятным образом и в самое неудобное время. В цеху работала семья в полном составе — муж, жена и взрослая дочь. Дочь заболела туберкулёзом почек. Все знали, что Гольдфрухт переболел этой болезнью, и семья на него набросилась. Напрасно он уверял, что никакой опасности для окружающих не представляет, что туберкулез легких не может вызвать заражение почек. И сама форма болезни у него закрытая, без выделения бацилл во внешнюю среду. Все было напрасно. Его проживанию на работе пришел конец. Семья стала писать в инстанции. Пошли в ход жалобы и доносы — опаснейшее оружие эпохи. Нагрянула милиция и выявила укрывающегося без прописки Гольдфрухта. Его оштрафовали и категорически запретили находиться на производстве в нерабочее время. Идти было некуда. И тогда Гольдфрухт отправился в Москву.

Комментарий. Следующая страница биографии Фридриха Бернгардовича выглядит фантастической даже по меркам предыдущего повествования. Но только на первый взгляд. В конце концов, человеку, чьи пути пересеклись с Муссолини и румынским королем, видавшему Гитлера и особ королевского дома Британской империи, почему бы не отметиться еще и среди советских вождей. В каждом отдельном случае рассказ Гольдфрухта выглядит правдоподобно, хотя по интенсивности эпизодов, повествование реального барона напоминает вымышленного, летавшего на ядре и вытянувшего себя за волосы из болота. Но ведь был и такой человек, реально был. У меня не было повода усомниться в достоверности рассказа. А что касается баронов — у каждого свое время и судьба.

Получение квартиры. Фридрих Бернгардович часто ездил в командировки, и отлучка его среди трудовой недели была не слишком заметна. Человек, доведенный до отчаяния, — он вышел на московском вокзале и отправился прямиком в Кремль. Тогда

еще действовали особые порядки, внутрь Кремля не пускали. На проходной, у ворот его остановили. Гольдфрухт начал сразу с главного. Он хочет попасть на прием к товарищу Маленкову. Тогда, в пятьдесят четвертом году Маленков был первым лицом в государстве. Разговор дословно был такой.

— Я хочу попасть на прием к товарищу Маленкову.

— По какому вопросу?

— По личному.

— Пройдите к телефону. Видите, будка. Перезвоните, и объясните, в чем дело.

Гольдфрухт перезвонил. Объяснил, что туберкулезный больной, инвалид со сложной биографией вынужден жить на улице, его отовсюду гонят, власти в Киеве не могут решить его вопрос.

С другой стороны выслушали внимательно. Видно, акцент действовал убеждающе. — Что вы хотите? — Спросил голос в трубке.

— Хочу попасть на прием к товарищу Маленкову.

— Это невозможно. Товарищ Маленков очень занят. Обратитесь еще раз к киевским властям. Вам должны помочь.

— Обращался много раз. Без результата. Если никто не может решить этот вопрос, дайте мне возможность уехать. Я хочу пойти в посольство Румынии и просить, чтобы мне помогли уехать. Потому что мне негде жить.

Голос помолчал. — Не нужно никуда ходить. Оставьте свою фамилию. И в четыре часа перезвоните.

Целый день Гольдфрухт, не приседая, бродил по Москве. Устал бесконечно, проникся полным равнодушием к собственной участи. Такое настроение и раньше его спасало. Поел в кафе при ЦУМе. Ровно без пяти четыре был на проходной. Там его ждали. По паспорту выписали пропуск. Не один, а целых три, разного цвета. Первый он оставил тут же на проходной, второй — отдал при входе в здание, куда его довел провожатый, третий, красного цвета — на этаже, у столика с охраной. Оказался в большой приемной, перед глазами секретаря. Назвал фамилию. Снял пальто, так было предложено. Оставил в углу чемоданчик (его проверили при входе).

И спустя пять минут прошел в кабинет. В кабинете был портрет Сталина, и живой Георгий Максимилианович Маленков за столом. Головы не поднимал.

— Садитесь. В чем дело?

Гольдфрухт протянул загодя подготовленное заявление. — Не нужно. Объясните коротко своими словами.

Он объяснил.

— У Председателя горсовета были?

— Почти ежедневно в течение полугода. Меня все секретарши знают.

— И никак?

— Никак.

Маленков позвонил. За спиной Гольдфрухта открылась дверь.

— Заберите товарища с собой, выясните, в чём дело, завтра в 16.00 доложите, как решен вопрос.

На этом аудиенция закончилась. Гольдфрухт едва успел сказать вождю спасибо. Поднялись на этаж выше. Фридрих Бернгардович еще раз изложил свою историю. На этот раз не спеша, подробно. Чиновник просмотрел выписку из истории болезни, документ об инвалидности, глядел двояко — на Фридриха Бернгардовича успокаивающе и даже приветливо, в документы — сосредоточенно и хмуро. Распорядился в телефон. — Свяжите с Киевом. Дайте Давыдова.

Голос изменился и разговаривал с далеким Давыдовым (или с помощником, тут Фридрих Бернгардович не понял) он преимущественно с помощью выражений, отягощающих деликатный слух. Приблизительно так.

— Вы что там, вашу мать. Больных людей гоняете к товарищу Маленкову. Сами вопрос решить не можете? Чей? Вы такого знаете? (Референт еще раз заглянул в паспорт). Так вот, завтра он у вас будет. И чтобы вопрос был решен. Вы меня поняли?

Обращаясь к Гольдфрухту, референт еще раз сменил тон на вежливый и даже проникновенный. По доброму. — Вот (записал на бумажке). Скажете, что звонил Федотов по вашему вопросу. Сейчас вас накормят и отправят в Киев. Утром прямо с вокзала зайдите к Давыдову, о результате перезвоните мне по этому номеру с любого телефона. На имя Федотова. Можете не беспокоиться, ваш вопрос будет решен. Сейчас вами займутся.

Гольдфрухта провели в столовую, накормили и отвезли на вокзал к поезду. Ехал он в мягком вагоне за казенный счет. Выпил в поезде чай и отправился прямо в Горсовет. В приемной стыла очередь с напряженным выражением в лицах. Ощущалась значительность момента. Были генералы. Стояла тишина. До тех пор пока не появился Фридрих Бернгардович. Секретарша (хоть и была знакома) глянула, не узнавая, равнодушно.

— Я вас очень прошу, зайдите и скажите только, что приехал Гольдфрухт от Федотова.

— От какого Федотова?

— Я не знаю, но он знает.

Секретарша доложила, дверь широко распахнулась и на пороге с шумом обнаружился сам Давыдов.

— Фридрих Бернгардович! Заходите, дорогой! Неужели не могли решить вопрос здесь? Вам надо было затрудняться в таком состоянии, ехать в Москву! Как же можно. Садитесь, пожалуйста. Начальника квартотдела ко мне немедленно!

Квартотдел был рядом на Крещатике. Начальник объявился спустя десять минут.

— Возьми товарища и по *нашему* списку покажи всё, что есть. Пока не подберешь, не возвращайся. И сразу ко мне. Ты понял?!

Видно, в глазах квартирьера проявилось недопонимание. Возможно, последуют разъяснения. И что за срочность?

— Ты понял?! Я спрашиваю?! Всё. Не волнуйтесь (это Гольдфрухту, совсем другим тоном), вопрос будет решён.

Немедленно отправились на машине, смотреть квартиры. Проехали несколько адресов. Действительно, выбирать было не из чего. Везде комнаты в общих квартирах. А Гольдфрухту нужна была отдельная, чтобы ему — больному и потенциально заразному избежать контакта с соседями. А отдельной квартиры не было. Начальник умаялся. Напоминаем, был пятьдесят четвертый год. Квартирное строительство только начиналось.

— Нет у меня таких квартир. — Квартирный бог отчаялся. — Нет.

Но Гольдфрухт был безжалостен. Это был его час. Приказано обеспечить.

Наконец, сообразили. Улица Шота Руставели, 35. Отдельная квартирка, комната — двенадцать метров, кухня крохотная. Но отдельно. Газовое отопление, плита. Одна проблема — квартира занята. Женщина с двумя детьми. Муж умер от фронтовых ранений.

— Позвольте осмотреть квартиру.

— Как? Почему?

— Позвольте. Вас устраивает?

— Подождите, тут люди живут.

— Сейчас, сейчас. Все будет в порядке.

Женщина давно стояла на очереди. И еще бы ждала. В тот день ей был выписан ордер на двухкомнатную квартиру в недавно отстроенной сталинской высотке, где кинотеатр *Дружба.* С единственным условием, немедленно выбраться с улицы Шота Руставели. Счастливая женщина тут же стала укладываться. Жили они бедно, много времени это не должно было занять.

— А вы, — это Гольдфрухту, — можете вселяться. И сообщите, куда следует, ваш вопрос решен положительно.

Как сохранить и найти мужа. **Р**ешение вопроса с квартирой поставило жизнь Фридриха Бернгардовича на новые рельсы. Известно, как много это значит, получение квартиры. Как много в

этом звуке для сердца не только русского, но и такого, как у Фридриха Бернгардовича, слилось. Тут же хлопоты по доведению жилплощади до приемлимого вида, покупка мебели, установка кранов, обивка дверей и многое другое. Фридрих Бернгардович — можно сказать определенно — был непритязателен, даже в своем довоенном обеспеченном быту. Легкий на подъем молодой человек, офицер. Но теперь с получением квартиры свершилось нечто особенно важное именно для него. Получив постоянное жилье, прописавшись в нем, Фридрих Бернгардович утвердился окончательно в новом для себя жизнеустройстве. И впредь до последнего дня жизни оставался советским человеком, несмотря на горечь воспоминаний. Он умел быть благодарным судьбе такой, как есть, и не требовать слишком многого.

Сейчас счастливому квартировладельцу пришла пора оформлять отношения с Тамарой Бенедиктовной. Но у этого желания оказались серьезные препятствия в виде *законной* жены — Фаины Лазаревны. Эта женщина теперь, когда муж окреп и встал на ноги, стала испытывать к нему постоянно растущее чувство собственницы. Фридрих Бернгардович не только не умер, но даже округлился, набрал вес и стал прилично одеваться. Теперь он выглядел элегантно, почти франтом, и даже стал покуривать. Рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя уверенно. А тут еще государство вознаградило Фридриха Бернгардовича жилплощадью, на которую жена, как ни крути, тоже имеет право. В общем, Фаина Лазаревна решила вернуть мужа в семью, несмотря на то, что Фридрих Бернгардович полюбил Тамару Бенедиктовну и возвращаться к жене категорически не хотел. Странная сложилась ситуация, буквально, для пьесы, там — водевиль, а в жизни — как получится… Фаина Лазаревна и Тамара Бенедиктовна были соседками, жили в одном подъезде. Стоит отношениям проявиться и шумного скандала не избежать. Это, с одной стороны, заставляло Фридриха Бернгардовича спешить, а, с другой, действовать предельно осторожно. Он отнес заявление в суд с просьбой о разводе. Тогда для этого полагалось дать объявление в газете *Вечерний Киев.* Он дал. Государство в трудное послевоенное время усиленно охраняло интересы семьи. Разводы разрешали с большим трудом, нужны были серьезные основания. Фаина Лазаревна этим бессовестно пользовалась. Объявила упирающемуся супругу, что хочет постоянно быть с ним в будни и праздники, ухаживать в случае обострения болезни, и на правах законной жены повесить занавески в его новой квартире. Приходить постоянно и в виде сюрприза, лежать в чулках на диване. Создать уют. Положение становилось угрожающим.

Поначалу Фаина Лазаревна даже не изволила явиться в суд, считая намерения Фридриха Бернгардовича легкомысленными и вздорными. Но злоупотреблять терпением советского суда было опасно. После нескольких отвергнутых повесток пришлось явиться. В суде Фаина Лазаревна расплакалась. Она рассказала, как самоотверженно ухаживала за Фридрихом Бернгардовичем во время долгой болезни. Между прочим, с риском для собственного здоровья. А вот теперь, когда он выздоровел, сами видите… Судья и народные заседатели (все женщины) смотрели на Фридриха Бернгардовича с явным неодобрением. Что он себе вообразил? А если все так… Решение отложили. Стороны отправили по домам, дав месяц на размышление.

Тамара Бенедиктовна приуныла. Мечты о семейном счастье разбивались о коварство Фаины Лазаревны. Любовники преисполнились печали. И тогда Фридриха Бернгардовича осенило. Вернее, он нашел хорошего советчика, имя которого для нашей истории, увы, утрачено. Имея ввиду некий план, Фридрих Бернгардович отправился к другу и врачу — Иде Осиповне. Не на прием, а прямо домой, он напросился. Ида Осиповна наблюдала полнейшее бездушие Фаины Лазаревны к судьбе умиравшего Гольдфрухта, и готова была подтвердить свои наблюдения в суде. Но Фридрих Бернгардрович попросил этого не делать. Позиции Фаины Лазаревны были настолько сильны, что появление нового свидетеля со стороны истца вряд ли бы что-то изменило. Пришлось бы ему и дальше влачить жалкое существование с нелюбимой и вероломной женщиной и, пожалуй, даже прописать ее на драгоценной жилплощади. — Вот только… — и тут Фридрих Бернгардович с надеждой поглядел на Иду Осиповну… — А как? — Ида Осиповна — добрая душа была целиком на стороне несчастного. Фридрих Бернгадрович сделал смущенное лицо и изложил просьбу. Тут сочувствие Иды Осиповны переполнило чашу: — А вы? Вы, действительно?.. Такой молодой…

Фридрих Бернградович понурил голову. — Боже мой. — Глубоко вздохнула Ида Осиповна. — Конечно, конечно. Я напишу.

На следующее заседание Фаина Лазаревна явилась с видом победительницы. Держалась уверенно. Клятвенно заверила суд, что готова остаться супругой Фридриха Бернгардовича в горе, и в радости. Тем более, что горе они уже пережили.

— Вот, стерва, — так или близко по смыслу, думал про себя Фридрих Бернгардович. Судьи обратили на него укоризненный взгляд. Дело было проиграно. Женщины за судейским столом задвигались, напрасно Фридрих Бернгардович морочит им головы и проявляет легкомыслие ветреника. Сколько можно?! Нет ему

пощады. В семью, и только туда!

Но вот Фридрих Бернгардович приблизился к судейскому возвышению и положил перед судьей бумагу, заверенную печатью. Вид у него был убитый. Три головы склонились над документом. Открытые комсомольские лица вспыхнули от смущения. Судья еще раз оглядела поникшего Фридриха Бернгардовича и самоуверенную пышущую энергией и здоровьем Фаину Лазаревну. В справке было записано, что туберкулез сделал Фридриха Бернгардовича импотентом. И надежды на исцеление, увы, нет…

Известно, что по части сострадания женщины превосходят мужчин и способны принять чужую судьбу как собственную. Возможно, это касается и судей. Не будем вступать в спор с несогласными, факт тот, что из суда Фридрих Бернгардович вышел свободным человеком. Фаина Лазаревна встретила бывшего (теперь уже) мужа на ступеньках и облила базарной руганью. Рядом, с трудом сдерживаясь, стояла бывшая теща. — Фаня, — сказала она дочери, с презрением глядя на непутевого зятя, — перестань продолжать этот крик. Не мучай себя. Ты себе найдешь. Я тебе давно говорила, что это — шпион. Ты разве не видишь, он завтра выдаст нас в заграницу.

Чем старше человек, тем мудрее (так, по крайней мере, считается). Теща как раз достигла нужного возраста. Узнав о романе бывшего мужа, Фаина Лазаревна принялась рассылать доносы на Тамару Бенедиктовну. А что остается делать покинутой и оскорбленной женщине, если счастливая соперница маячит перед глазами и портит пейзаж развешенным после стирки бельем? Пробуждает воспоминанья. Но справедливость (а она есть!) раздала награды победителям и побежденным. Фаина Лазаревна удачно вышла замуж за зубного техника и со временем отбыла в Израиль. Она была увешана *этими цяцьками*, как елка, — рассказывал Фридрих Бернгрардович, имея в виду доступные для вывоза золото и бриллианты. Он продолжал издали следить за судьбой бывшей супруги. В Израиле Фаина Лазаревна освоилась, похоронила мужа, открыла массажный салон, а далее следы ее затерялись.

Фридрих Бернгардович и Тамара Бенедиктовна еще долго не могли поверить в реальность своего счастья. Они продолжали встречаться тайно. Повидимому, бывшим лагерникам известно о жизни нечто такое (может быть, главное), что позволяет радоваться жизни просто так, изо дня в день. *Расписались* они спустя пять лет после знакомства и прожили вместе до смерти Тамары Бенедиктовны. В их доме было много фотографий Тамары Бенедиктовны. Фридрих Бернгардович любил фотографировать

жену, а это — верный признак семейного мира и благоденствия.

Советский человек. Союз (Артель) инвалидов Отечественной войны и офицеров-пенсионеров была огромной организацией, объединявшей под своей крышей (вернее, крышами) многие десятки и сотни раненых воинов. Одних генералов было четверо, а полковников — человек двадцать. Был рядовой — Герой Советского Союза, всего Героев было пятеро или шестеро.

Центральная контора Артели была на Чоколовке. А цеха были на улицах Саксаганского, Владимирской и Жилянской. Многие подвальные помещения принадлежали артели. Это была верхушка *Всеукраинского объединения инвалидов*, и, конечно, для послевоенного восстановления страны они делали огромную работу. Получали массу заказов на самые разные виды работ. Проводили инспекцию и паспортизацию отопительных систем — промышленных и городского хозяйства. Налаживали мелкое и среднее производство по всей Украине, сюда вывезли много предприятий из Германии, нужно было осваивать. Было много некомплектной техники, приходилось разбираться с каждым станком, как можно его пустить в дело. Главным руководителем был некто Гальперин, Фридрих Бернгардович считал его инженерным гением. Сам он выдвинулся на должность заведующего технологическим отделом. Было еще одно поручение. Он контролировал правильное распределение инвалидного транспорта. На получение льготного транспорта была очередь, направление работы, очевидно, было конфликтным, но на Гольдфрухта никто никогда не жаловался. Знали, работает он честно. Но главным в его работе технолога было налаживание производства. Эта отрасль называлась *местной промышленностью*, работала на основе местного сырья, в том числе, из разных отходов — так называемого, *вторсырья.* Этот вид деятельности давал большую возможность для злоупотреблений, при учете и контроле нужно было действовать расчетливо и предельно точно (или жульничать вместе с другими).

Как-то Фридриха Бернгардовича направили во Львов с инспекцией. В тамошней инвалидной системе работало 1300 человек, был художественный цех, шили меховую, кожаную одежду, обувь на разный вкус, начиная с резиновых калош и вплоть до модельной, отличающей львовских мастеров довоенного времени. Гольдфрухт попал на роль ревизора вместе с неким Толкачевым — главным деятелем местной промышленности. Толкачев приехал в Киев для организации этой командировки. Предполагалось, что инспекция будет неожиданной. Но на вокзале во Львове их уже ждала машина. Товарища проверяющего (впрочем, несколько раз хозяева

обмолвились, назвав Гольдфрухта *паном*) отвезли в лучшую гостиницу в номер *люкс*. В ресторане его ждал роскошный обед, хозяева не скупились. Позже Гольдфрухт через своего человека узнал, что, когда от Толкачева пришло известие о приезде ревизора, из цеха всю ночь вывозили неучтенные меха. Кое-что даже сожгли.

Гольдфрухт был настороже. Особо он должен был проверить и доложить правильность расхода материалов. Здесь они с Толкачевым крупно поспорили. Различия в оценке эффективности использования средств достигали огромного размаха, очевидно, что впечатляющие излишки шли на изготовление левой продукции. Гольдфрухт остался при своем мнении. Материалы проверки подходили под статью о хищении (этим все и закончилось спустя несколько лет). Очевидно, разоблачение воровства было Фридриху Бернгардовичу ни к чему и сгубило бы его самого. Приходилось маневрировать. Но факт, из всех многочисленных ревизий и проверок он выходил незапятнанным. Взяток он не брал категорически.

Был трагический случай. Там же, во Львове на фабрике резиновой обуви погиб глухонемой инвалид. Инвалида затянуло в машину. Нарушение правил техники безопасности было вопиющим. Местное начальство решило использовать Гольдфрухта, чтобы замять скандал. Предложили (конечно, за вознаграждение) подписать акт, киевский представитель — это много значило. Фридрих Бернгардович отказался. Его хотели купить — не вышло, шантажировали — не уступил. Глухонемой по характеру своей инвалидности не мог работать в этом процессе. В целом сложилось представление о львовской инвалидной артели как о предельно вороватой организации. В Киеве главный инженер Гальперин спросил: — Что вы мне привезли?

Он имел ввиду результаты инспекции. — Привез то, — отвечал Фридрих Бернгардович, — что мы все сядем в тюрьму за их махинации, и на очень долгий срок.

В целом, конфликтных ситуаций Гольдфрухт избегал. В денежных расчетах был точен. Вообще, к деньгам он относился равнодушно, тратил их легко, возможность неправедного обогащения его не прельщала.

В артели много пили. Люди не могли забыть войну, она осталась с ними на всю жизнь. Фридрих Бернгардович близко подружился с неким Александром Ивановичем — бывшим летчиком. Это был красавец-мужчина, огромного роста и могучей комплекции. Александр Иванович крепко выпивал, не менее литра водки в день. Он начинал пить понемногу с утра, а обедал с

водкой, как закон. Рядом с артелью на улице Жилянской размещалась воинская часть — *Почтовый ящик 25* со своей столовой. Инвалидов пускали по удостоверениям. Норма летчика составляла поллитровку, бутылку приносили с собой. Гольдфрухт, как правило, держался, присоединялся лишь изредка. Александр Иванович был человеком обеспеченным, полковник и инвалид он получал большую военную пенсию. Его жена — парторг *поликлиники для ученых* тоже была фронтовиком и человеком по тем временам не бедным. Два сына — молодые офицеры жили самостоятельно. Деньги водились, но откладывать их было не принято. Александр Иванович носил единственный цивильный костюм. Была еще военная форма (без погон, но с орденами), ее Александр Иванович надевал в торжественных случаях. Жена, в конце концов, не устояла перед соблазнами мирной жизни, в семью приобрели спальню из карельской березы. Остальное уходило на выпивку и угощение. Это были достойные люди, и они с Гольдфрухтом сдружились. Во время квартирных злоключений, идти ему было некуда, ночевал он на работе, что называется, томился, и часто сопровождал Александра Ивановича в дороге домой. Жили они в районе Покровского монастыря, путь неблизкий. Улица Жилянской до площади Толстого была утыкана забегаловками. Александра Ивановича всюду, конечно, знали. Везде в конце рабочего дня толпились небольшие очереди, но Александр Иванович, пользуясь гвардейским ростом, поднимал руку и посылал через головы условный знак — водку или коньяк и сколько. По Владимирской к университету поднимались уже сильно навеселе, но Александр Иванович держался крепко. Он не выглядел пьяным, только сильно краснел и немного раскачивался, как если бы был не летчиком, а моряком и ступил на твердую землю после долгого плавания. В районе университета была последняя распивочная перед пустынно безалкогольной улицей Короленко. Здесь заправлялись основательно, чтобы хватило до Правительственной площади. Иногда сворачивали и шли на Крещатик. Здесь у Александра Ивановича была любовница — директор швейной фабрики — красивая еще молодая женщина. Засиживались у нее. Александр Иванович сговаривался на вечер, и шли дальше. До Правительственной площади добирались часов в девять. Местный пивной ларек был уже закрыт. Но это не имело значения. Александр Иванович стучал в заднюю дверь.

— Миша, это я. Сколько? Четвертушку.

Появлялась бутылка. Александр Иванович поглощал напиток из горлышка. Здесь расставались, или, не расставаясь, шли к Александру Ивановичу ночевать. Жена визиты Гольдфрухта

приветствовала. Она свято (и справедливо) верила в его благоразумие. Мысль, что муж пьет не один, очень сильно ее успокаивала. На следующее утро обычно жарили яичницу с колбасой и распивали на троих четвертушку. Это выпивкой не считалось. Тем более, что все трое шли работать: жена — в поликлинику, вдохновлять кадры, а мужчины — в родную артель.

Как-то наутро Александр Иванович глянул на Гольдфрухта пристально, будто увидел его впервые, и определил почти трезво. — Слушай, ты — русский человек.

— Я — советский человек. — Фридрих Бернгардович привыкал к гражданству.

— А русский?

— Нет, я советский.

— А я и советский, и русский. — Мудро подитожил Александр Иванович, помолчал и добавил разочарованно. — А ты — только советский.

Мысль, зародившись, не давала летчику покоя. — Слушай, раз ты советский. Ответь на вопрос. Почему днем я могу Фридрих Бернгардович выговорить, а вечером уже не могу?

Фридрих Бернгардович промолчал. — А можно, — спросил деликатный Александр Иванович, — я тебя буду Федором Борисовичем звать?

Фридриху Бернгардовичу это было не в новинку. Рабочие в Черновцах, которых он учил ремонтировать трофейные иномарки, уже ытались переделать его имя на славянский лад.

— Так тебе легче?

— Легче, — Александр Иванович сосредоточился и выговорил четко и даже торжественно. — Федор Борисович.

— Тогда можно. — разрешил Фридрих Бернгардович, и сам же, расщедрившись, предложил: — А хочешь, давай, просто Борисы-чем.

— Нет, — отвечал Александр Иванович, — я тебя уважаю. И хочу по всей форме. Федор Борисович. Раз ты наш советский человек.

Как Фридрих Бернгардович разбогател. У Гольдфрухта во Львове (еще польском, до тридцать девятого года) был дядя по отцу — Иозеф Соломонович Гольдфрухт или просто дядя Юзек. Это был богатый предприимчивый человек. Владел заводом металлоизделий, производящим железнодорожный инвентарь, и ликерной фабрикой. Львовские Гольдфрухты (у Иосифа была еще сестра, она успела уехать в Италию, там и умерла) даже построили небольшую синагогу. Дядя Юзек хотел жениться на польке, но отец категорически запретил. — Пока я жив, ты не женишься — это его слова. Влюбленные терпеливо ждали своего

часа, но как раз в год смерти отца (тридцать девятом) началась война, Свадьба так и не состоялась. Спасаясь от немцев, дядя Юзек попал в Среднюю Азию. В городе Джамбуле было польское консульство. Шла запись добровольцев в польские армии: Армию Крайову (армию Андерса, ориентирующуюся на англичан) и просоветскую Армию Людову. Дядя Юзек колебался. Не хотелось далеко ехать, добровольцев Андерса отправляли через Иран на Ближний Восток, где шли тяжелые бои с Роммелем. Но буржуазное происхождение взяло верх, и дядя Юзек отправился записываться. И, буквально по дороге, был арестован. В тюрьме его сильно били, требовали подписать признание, что он польский шпион. В обвинении был пункт о подготовке террористического акта. Дяде Юзеку, почти не знавшему русского языка, пришлось туго. Пока он ждал приговора, что-то изменилось в политике. Дядю Юзека вытребовали из тюрьмы на новое следствие, сказали, чтобы он написал заявление о недозволенных методах допроса и самооговоре под давлением. Он подписал в надежде на скорое освобождение. Теперь дядя Юзек был готов присоединиться к любой армии. Но судьба распорядилась иначе. Его осудили на восемь лет и отправили в лагерь.

Дядя Юзек отличался немыслимым жизнелюбием и изворотливостью. Он был бизнесмен, профессии, пригодной для лагеря, у него не нашлось. Ее предстояло придумать. И он придумал. Обзавелся где-то учебником по изготовлению лекарств и объявил себя аптекарем. Поскольку профессия аптекаря в народном разумении считается еврейской, заявление дяди Юзека было принято как должное, а польское местожительство и плохое знание русского языка лишь добавило ему авторитет. Так дядя Юзек стал аптекарем в лагерной медчасти. Нужно отдать должное, дядя Юзек постоянно занимался самообразованием и быстро освоил скудные возможности лагерной фармакопеи. Он смело готовил те немногие лекарства, которые были доступны в местных условиях. Но главное, через аптеку проходил спирт. Дядя Юзек со временем стал для начальства незаменимым человеком. Все его силы были направлены на собственное выживание, и ему это удалось.

Жить в больших городах после освобождения из лагеря ему было запрещено. Он написал в Черновцы и выяснил, кто уцелел из тамошней родни. Так он нашел Фридриха Бернгардовича. Тот уже работал в Киеве и располагал нужными связями. Внезапно Фридрих Бернгардович получил письмо, дядя Юзек просил разрешения заехать в гости. На третий день визита явился участковый милиционер, соседи донесли. Но дядя Юзек приехал

больной туберкулезом (ему на допросах отбили легкие, а тюремно-лагерный режим сделал остальное) и Гольдфрухту удалось в кратчайший срок устроить дядю в противотуберкулезный санаторий в Пущу-Водицу. Приезжали за ним и туда, но дядя Юзек был болен серьезно, и главврач убедил милицию временно оставить больного в покое. Еще в лагере дядя Юзек стал из Соломоновича Бернгардовичем (как Фридрих), взяв, для нового отчества имя своего брата. В противотуберкулезном санатории он лечился и укрывался от гонений почти год. Подошло время выписки, ехать ему — больному было некуда. Фридрих Бернгардович пошел на прием к Заместителю министра здравоохранения. Его былая работа в Совете Министров давала основания надеяться. Заместитель министра повертел в руках документы (дядя Юзек к тому времени обзавелся нужными бумагами о фармацевтическом образовании) и направил аптекаря в распоряжение Львовского облздравотдела с приказанием — трудоустроить. Нужно полагать, Совет Министров тоже дал распоряжение.

Львовские чиновники пришли в волнение, редкие люди приезжали из Киева со столь важными бумагами. Куда хотите? Выписали двухмесячную путевку в противотуберкулезный санаторий. И дали немыслимую должность — заведующего центральной аптекой в курортном городке Ворохте. Не только район, но несколько местных санаториев находились под началом дяди Юзека. Это был триумф. Дядя Юзек развернулся. А тут еще пригласили в Киев, в Управление госбезопасности. Дядя Юзек ехал со смешанным чувством, мало ли что, могли всплыть грешки с документами об образовании, и все такое прочее…. Но закончилось наилучшим образом. Дядю Юзека поздравили с реабилитацией и просили ни о чем не беспокоиться.

— Как я могу не беспокоиться, — пересказывал племяннику содержание разговора дядя Юзек, — как я могу не волноваться, когда тот лейтенант, который меня избивал, теперь уже полковник?

Вопрос риторический. С тех пор дядя Юзек жил, как бог. У него был свой дом, женщина. Спирт шел канистрами. Дядя Юзек к бизнесу охладел, но начальство требовало. Потом у него началось кровохарканье. Его стали лечить, но дядя Юзек местным врачам не доверял, вызвал из Киева Фридриха Бернгардовича. Тот приехать не смог, поехала Тамара Бенедиктовна. В Киев они вернулись вместе через Черновцы. Там дядя Юзек долго молился в синагоге. В Киеве жили у Гольдфрухтов, дядя Юзек пошел по врачам, но состояние резко ухудшилось. Фридрих Бернгардович на правах старого знакомого обратился к главврачу

Тубинститута, дяде Юзеку выделили отдельную палату. Как итог туберкулеза почек началась уремия. Большую часть времени дядя Юзек находился без сознания. За несколько дней до смерти он пришел в себя и попросил Тамару Бенедиктовну (она регулярно его навещала) принести бутылку лучшего коньяка, разные деликатесы и красивую столовую посуду. — Хочу перед смертью пожить по-человечески, — так он объяснил. Бутылку он успел выпить до половины, прежде чем умер в пятьдесят восемь лет. Тарелка, на которой дядя Юзек пировал перед смертью, долгие годы хранилась в семье Гольдфрухтов.

Чтобы полнее осветить личность дяди Юзека (с несколько неожиданной стороны), следует добавить, что он самоучкой сочинял музыку. Видно, при более счастливой судьбе, из него мог выйти композитор. У Гольдфрухтов хранились письмо (письма?) композитора Дунаевского к дяде Юзеку с призывом не прекращать творческих исканий. Фридрих Бернгардович обещал письма найти и предоставить для этого жизнеописания, но не успел.

После смерти дяди Юзека Фридриха Бернгардовича ждал сюрприз. В сберкассе, куда он сдавал на хранение зарплату, его известили о крупных денежных переводах — из Ворохты, Яремчи. Переводы поступали один за другим, похожие на золотой дождь. Ясно, мудрый дядя Юзек не хранил сбережения на одной сберкнижке. Все деньги он завещал племяннику. На них Фридрих Бернгардович купил машину и несколько раз отдыхал с женой на море. Потом всплыла еще одна тайна. У дяди Юзека еще с довоенного времени остался скромный счет в западном банке. Эти сведения дядя Юзек по понятным причинам не оглашал, но пришло время и завещанием стало можно воспользоваться. Из тысячи отложенных фунтов Фридриху Бернгардовичу достались четыреста, остальное ушло в доход государства. Но и четыреста пригодились.

Похоронили дядю Юзека — Иозефа Бернгардовича Гольдфрухта на Байковом кладбище (Фридрих Бернгардович имел необходимые знакомства). Спустя годы рядом под той же мраморной плитой похоронили Тамару Бенедиктовну.

Торжество справедливости. Несмотря на несчастья века, буквально, перетряхнувшие Европу, у Гольдфрухта осталось немало родственников и друзей за границей. И, чем более оттаивал советский ледник, тем чаще они давали о себе знать. В послевоенной Германии обосновалось землячество черновицких немцев. Еще были живы старики, которые помнили его отца, и поэтому готовы были помогать сыну. В Италии жил его племянник с семьей. Немало родственников оказалось в Израиле.

В Париже был друг. Об этом человеке следует сказать несколько слов.

Зигфрид Бахтер был на несколько лет старше Фридриха. Ко времени возвращения Фридриха из Кембриджа он уже был адвокатом. У них составилась компания для бриджа. Играли в адвокатской конторе Бахтера. Как и семья Гольдфрухта, Бахтеры остались в Черновцах, не видя никакой вины перед Советами. Отец Бахтера ходил с бородой, занимал видную должность на бирже, считался богатым человеком. Его тут же арестовали и вместе с женой отправили в ссылку. А Зигфрид сумел спрятаться, и дождался, когда с началом войны вернулись румыны. Как он жил потом, неизвестно, важно, что, несмотря на еврейскую национальность, уцелел. Жена была родом из Праги. В конце войны они смогли переехать в Чехословакию по программе воссоединения семей. Там он записался добровольцем в формирующуюся чехословацкую армию, а в сорок восьмом году, как раз накануне окончательного присоединения Чехословакии к советскому блоку, оказался в Париже. Связь с родителями он потерял, считал их умершими. Отец, действительно, умер в ссылке, а мать после войны (уже после бегства сына на Запад) вернулась в Черновцы. Родственников не осталось, сын пропал. Она оказалась одна, совершенно потерянной, без всяких средств, голодала и, наверно, быстро бы погибла, если бы не встретила Фридриха Бернгардовича, Случайно, на улице. Он ей очень помог. Продуктами, деньгами. Когда переехал в Киев, помогал уже отсюда. А тут сын отыскался. Как французский гражданин, он добился для матери разрешения выехать во Францию. Это уже в пятидесятые годы. Мать прожила в Париже три дня и умерла. Бахтер был благодарен Фрицу и слал ему постоянные приглашения, приехать в Париж.

К тому времени Бахтер разбогател на международной торговле мясом. Закупал в Аргентине. Имел дело с разными странами, в том числе с Советским Союзом. Об организации советского бизнеса был очень низкого мнения. Советские могли отправить скоропортящийся продукт в обычном вагоне или в неисправном холодильнике. Бахтер таких партнеров не уважал, он был ответственный коммерсант. Среди черновицких деловых людей отдельным качеством, характеризующим таланты предпринимателя, было умение уходить от налогов. Здесь Бахтер был большой умелец, первое, что он сделал, когда появился капитал, открыл в Швейцарии собственный банк. Гольдфрухт гордился другом, хоть сам искусством ловчить не обладал.

Каждый год Фридрих Бернгардович направлял просьбу о гостевой визе — в Италию, Францию, Германию. Из всех этих

стран ему постоянно приходили приглашения. Он оплачивал соответствующие расходы (подача заявления с просьбой о визе стоила денег). И каждый год получал непременный отказ без всяких объяснений. Объясняться было не принято. Он привык. Так тянулось до начала перестройки. Неожиданно его вызвали на улицу Короленко 33, где помещалось Управление внутренних дел. В то время Фридрих Бернгардович запросов о визе не посылал и был занят самыми будничными делами. Потому встретил повестку с недоумением. Он вполне свыкся с ролью *невыездного* советского гражданина.

В окошке, куда он обратился, глянули равнодушно, отослали к секретарю. Секретарь просмотрел повестку, что-то такое сообразил и позвонил. Вышел человек в штатском, провел Фридриха Бернгардовича в комнату, усадил, отрекомендовался подполковником и сообщил: — Мы рассмотрели ваше дело, вам надо реабилитироваться.

Фридрих Бернгардович встретил эти слова буднично и даже как-то легкомысленно. — А зачем?

Подполковник доброжелательно разъяснил. — Вы более десяти лет регулярно подаёте заявление, чтобы выехать за границу. Они (то есть ОВИР — отдел виз и регистраций) пересылают эти заявления нам, а мы не можем разрешить выезд без реабилитации. Вот, когда реабилитируетесь, другое дело. Тогда разрешим. Не ОВИР, а мы, понимаете?

Так Фридрих Бернгардович проник (ясно, что лишь слегка) в таинственную механику, управляющую судьбами советского человека.

— Что мне нужно?

— Составить заявление, подписать. И можете идти.

— А дальше?

— Сидите дома и ждите.

Спустя две недели Фридрих Бернгардович получил бумагу из черновицкого КГБ. Бумага начиналась с обращения — Уважаемый Фридрих Бернгардович. Ваше заявление получено, о решении вы будете извещены… Спустя некоторое время следующее: — Уважаемый Фридрих Бернгардович. Ваше заявление направлено в Прокуратуру города Черновцы… Потом от самого прокурора города Черновцы: — Уважаемый Фридрих Бернгардович, ваше ходатайство о реабилитации направлено в Областной суд города Черновцы для окончательного решения… Вслед за этим последовало официальное решение о реабилитации.

Комментарий. Я своими глазами видел бумагу из Англии. Фридрих Бернгардович хотел восстановить давние водительские права. Ответ был составлен так, что его трудно было счесть

отказом, хоть по сути он именно таковым и являлся. В деликатней-шей форме подвергалось сомнению пригодность заявителя для автовождения. Ведь со времени выдачи первого документа прошло более пятидесяти лет и здоровье могло пошатнуться. Заочно восстановить права в таких условиях непросто, легче получить новые. Потому есть смысл. приехать, подтвердить дееспособность и заново решить вопрос.

Фридрих Бернгардович предлагал мне ознакомиться и с бумагами из *органов*. Но он постоянно лежал в постели и, чтобы найти переписку, требовались специальные усилия. Зачем? Зато я видел его фотографии под Эйфелевой башней, рядом с флорентийским Давидом, вместе с итальянским племянником, похожим на актера Фернанделя крупными чертами лица и выдающейся вперед челюстью. Фридрих Бернгардович держал снимки под рукой и, видно, пересматривал в одиночестве.

Время двойников. Богатая событиями жизнь Фридриха Бернгардовича к тому времени замедлилась до привычного (как у большинства людей) неспешного хода. Вместо порожистой реки — спокойствие и водная гладь, ласкающая глаз и нервы. И, хотя в тихом омуте водится своя живность, но тут она была домашняя и почти ручная.

Со времени получения квартиры и заключения второго (счастливого) брака можно начать отсчет жизни Фридриха Бернгардовича как полноценного советского человека. Ему, изучившему весь бытийный прейскурант по обе стороны *железного занавеса*, было что сравнивать. И то, что он свил гнездо у нас, можно считать фактом не только похвальным, но и поучительным. Трудно предположить, что в той жизни, к которой его готовили родители, с ним случилось бы нечто подобное. Бравый офицер, дорожащий понятием чести и дружбы, он мог погибнуть на войне, или, перебродив, жениться, завести собственное дело, приумножить капитал (автомобилестроение шло в гору) и вспоминать былые подвиги (любовные и военные) в кругу таких же старых господ (или, как они величали друг друга в молодости, *альтер херров*). Он остался бы визионером и сибаритом. Был бы неизмеримо богаче. Но был бы счастливее? Трудно сказать. Если счастье нужно выстрадать, или, как еще говорили, *заслужить*, то Фридриху Бернгардовичу в нашей стране было самое место.

Он оставался немного фанфароном и нарциссом. В меру, конечно, исключительно по своей природе. Носил дома шейный платок. Это был его личный знак, визитная карточка. Некоторая эстетская обособленность отличала его от тех, по чьим меркам принято судить эпоху — *настоящих интеллигентов*. Его

советское мещанство было золотой серединой между незнанием и всеведением, плодом уникального опыта, который делал его нынешнюю жизнь одухотворенной самим фактом пребывания в телесной оболочке. Не меньше, но и не больше.

И доказательством того, что все происходило именно так, следует считать появление его двойника — дяди Феди, Федора Борисовича, проникшего в его жизнь незаметно и решительно и потеснившего там Фрица и Фридриха Бернгардовича. Теперь, уже и в разговоре (например, среди соседей по дому на улице Строителей, где они с женой получили квартиру) трудно было понять, о ком речь, и только на фотографии человек узнавался безошибочно. Кстати, давно он не выглядел так хорошо, как в те годы. И чтобы быть предельно точным и не разрушить документальную ткань рассказа, здесь в советское время *товарища* Гольдфрухта справедливее именовать инициалами — Ф. Б. Возможно, пострадает сущность, но не *правда* — главный слоган эпохи.

Ф. Б. отдался страстям автомобилиста и фотографа. Осталась груда альбомов, хранящих запечатленные итоги его поездок по стране. Чаще всего это фото церквей и соборов, ленинградских и московских площадей и ансамблей. Снимать их — дело неблагодарное, на фото достопримечательности выглядят гораздо скучнее, чем в жизни. Казалось, от Ф. Б. можно было ожидать большего, но он снимал и заклеивал одну альбомную страницу за другой. Собственно, это были не альбомы, а большие бухгалтерские книги в картонных переплетах, они толстели и пухли от этих снимков, утративших удивление и восторг взгляда. Они были похожи на камни. Так настоящее день за днем вытесняло и избавлялось от прошлого. Так подводят новый фундамент под старый дом.

Помимо архитектурных красот, были фото семейных пикников, пиршеств, выездов на природу, *на шашлыки,* с увядающими дамами в купальных костюмах, с их бравыми спутниками возле распахнутых дверей авто. Фридрих Бернгардович нашел спокойную гавань и бросил в ней якорь.

Последний раз он засветился по нелепому стечению обстоятельств. В *свободном мире* (примем для удобства это определение) человека настигает фатум, у нас (при отлаженности социальных отношений) — досадная случайность. Сестра Фридриха Бернгардовича, умирая, оставила ему материнские серьги — подарок отца в лучезарные годы семейного благоденствия. Серьги с *хорошими* бриллиантами. Фридрих Бернгардович вручил серьги жене с единственной просьбой (гомо сапиенс!), не появляться в этих серьгах на улице и на работе.

Поскольку больше появляться было негде, жена снесла серьги часовщику и, по совместительству, подпольному ювелиру. Там ее и настиг рок. Тамара Бенедиктовна рассчитывала серьги продать и с шиком истратить вырученную сумму (они любили ездить к морю). Но часовщика арестовали за операции с золотом и ценностями. В пятидесятые годы сведения о таких *делах* часто мелькали, казалось, люди соскучились по *процессам*. Хотелось, чтобы враг был обнаружен и наказан, тем более, фамилии говорили о многом. Часовщик назвал Тамару Бенедиктовну. Ее вызывали, криминала не нашли, но сережки все равно конфисковали. Знакомая история, как началось с довоенных времен, так и закончилось спустя годы — быть имуществу семейства Гольдфрухтов конфискованным. Сережки ушли последними. О Гольдфрухтах написали в *Вечернем Киеве*. В этой газете (рупоре трудящихся) любили криминальные новости с паспортными данными и непременным указанием имен-отчеств, настораживающих бдительное ухо. Откуда у простой работницы диспансера такие ценности? Действительно, откуда?

А жизнь себе текла. Ф. Б. окончательно сдружился с веселым человеком Ферганюком — тем самым чекистом-оперативником, кто опекал его во время болезни. Тогда они много бродили вместе по Байковому кладбищу (туберкулезная больница рядом, делать было нечего). Ф. Б. выздоравливал и веселел, а Ферганюк вживался в образ больного, доставшийся ему по службе. Здесь среди могил он ощутил вкус меланхолии и тоски, которую дарит палочка Коха. Изведал особенную грусть и жалость к своему бренному организму, осознал тщету бытия, пусть даже оформленного по служебной надобности, но все же… Можно утверждать, что общение с Ф. Б. изменило его жизнь.

Ф. Б. не возражал. Искренняя привязанность секретных сотрудников к своим подопечным представляет отдельную область психологии. Так ученый привязывается к животному, уцелевшему в результате мучительного эксперимента, и даже берет его под свое покровительство.

Ферганюк стал заходить в семью Гольдфрухтов дружески, посвящая ей собственное, а не служебное время. Наверно, он знакомился с *делом* Ф. Б. Может быть, полностью, или не до конца, но знал многие подробности биографии Ф. Б. (конечно, меньше чем наш читатель), и это давало ему приятную уверенность в собственных достоинствах. Он даже ухаживал за Тамарой Бенедиктовной, слегка, мило шутя, оказывал ей знаки внимания, так, чтобы было видно, именно ухаживает.

В этой игре ему нельзя было отказать. Ферганюк был видным мужчиной и сам по себе, но основные черты проступили с годами,

будто из-под резца скульптора. Когда чудо (не иначе!) преображения свершилось, Ферганюк стал разительно похож на Леонида Ильича Брежнева. Это было потрясающе. Буквально, один в один. Если синтетический образ Ф. Б., как и подавляющего большинства мужского сословия, создается в некоем виртуальном смесителе, вбирая в себя различные черты, присущие возрасту и темпераменту, то здесь — для Ферганюка визуальное совпадение с обликом вождя было однозначным, ошеломляющим и мистическим[5]. Это сложное дело нести крест сходства с большим человеком. Представим, если бы Ферганюк внезапно захромал и появился в метро на костылях. Насколько, это вызвало бы умаление канонического образа, смятение простаков и насмешки нигилистов. И сам факт можно было воспринять как неуместное посягательство на чужое величие, или потакание нездоровым настроениям. Сам Ферганюк был знаком с такими настроениями по службе, хоть понимал *оттепель* буквально (можно не надевать кальсоны). Он сознавал ответственность за собственное лицо. И то, что партия доверила ему не только партбилет, но и возвышающее сходство, наполняло его чувством интимного сопереживания. По счастью, время было мирное, Леонид Ильич не нуждался в двойнике и читал свои речи самостоятельно. Мы это помним с чувством добродушного и насмешливого сочувствия. Потому Ферганюк видел себя в резерве, а пока уделял внимание отдельным свойствам своего двойника. Умению бескорыстно нравиться дамам, пробуждая в них томительные воспоминания и грезы о мужчине, который когда-нибудь непременно соскочит с коня (или кобылы) и постучит на рассвете в заветное окошко. Войдя в образ, Ферганюк бывал неотразим и не требовал большего. Поэтому Тамара Бенедиктовна слегка смущалась и даже хорошела в его присутствии. А Ф. Б. был и вовсе ему симпатичен. Ферганюк видел в Ф. Б. рефлексирующего еврокоммуниста, требующего, не перевоспитания (он его уже прошел), но постоянной разъяснительной работы.

И, что важно отметить, биография Ферганюка удивляла соответствующим сходством. Мистика (а как объяснить иначе?) не терпит случайностей. Ферганюк служил политработником на Дальнем Востоке, оттуда был переброшен в *органы*, а, выйдя в запас (в звании капитана), продолжал в гражданской жизни служить начальником Отдела кадров (спецчасти, первого отдела и т. д.), то есть (фактически) отдавал всего себя трудовому народу. При этом был веселый человек, жизнелюб, а не какой-то административный сухарь.

С годами, когда известность Леонида Ильича стала фактом

всемирного значения, обсуждать внешность Ферганюка стало просто неуместно. Аксиома, это известно, обходится без доказательств, а оно — сходство продолжало крепнуть. Хотя стали проявляться второстепенные различия — наградной пиджак Ферганюка заполнялся гораздо медленнее, по случаю юбилеев и торжеств, а не личных заслуг и подвигов, на которые Ферганюка не нужно было призывать дважды. Пребывание в туберкулезной больнице и усиленные посещения кладбища пришлись, как бы впрок, и когда Леонид Ильич стал болеть, Ферганюк повысил заботу о состоянии своего здоровья, можно даже сказать, *заступил на его охрану*. Стало ясно, в чем суть испытаний, о которых Ферганюк и прежде загадочно намекал. Как работник *органов*, он был прикреплен к ведомственной поликлинике. Кроме того, был *инвалидом собеса*. И еще числился в поликлинике по месту работы. А также где-то, что история не сохранила. Но было именно так. Ф. Б. утверждал, что Ферганюка опекали четыре поликлиники. Здоровье его было не только личным, но именно народным достоянием. Тут нет места иронии для тех, кто помнит, какие это были годы. Ферганюк не любил лечиться, так он утверждал, но считал своим долгом, и непрерывно лечился, особое внимание уделяя анализам и лекарствам. Результаты анализов он сличал, как показания.

— Видал, здесь четыре и шесть, а здесь пять и два — в один день.

Четыре и шесть отсюда, — Ферганюк показывал Ф. Б. палец на правой руке, — а пять и два — из этой. И главное, тот же палец. Один в один. Но на левой. А тот — на правой. Какому верить? Здесь лейкоциты есть, а здесь нет. Из одной банки. Как такое может быть? — И Ферганюк шел проверять, искал правильный ответ.

Зато с лекарствами повезло. Ферганюк получал их бесплатно сразу во всех поликлиниках. У него был целый шкаф с лекарствами. Лекарств было больше, чем в хорошей аптеке, о качестве и говорить нечего. Сплошной дефицит. Ферганюк подходил к хранилищу, открывал и вынимал наугад красивые упаковки. Он любил свои лекарства, как любят коллекцию живописи или редких марок. Он вложил в свое собрание некий особенный смысл, возможно, видя в них замену высоким наградам, которыми был незаслуженно обделен. И хотя Леонид Ильич тоже мог достать любое лекарство, но ему нужно было для этого вызывать академика Чазова, раздеваться до пояса или запускать в собственный организм чужой палец в резиновой перчатке, в то время как у Ферганюка все было уже наготове. — А вот этого нет даже у *Машковского*, — представлял Ферганюк

отдельные экземпляры своей коллекции. Фармакологический справочник под редакцией академика Машковского регулярно (раз в три года) переиздавался, и, если Ферганюку удавалось (нередко) его опередить, это значило немало.

Проглотить все сокровища было невозможно, даже потребляя их трижды в день за пятнадцать минут до еды и через полчаса позже. Некоторые средства Ферганюк любил, к другим недоверчиво присматривался, а многие оставлял на будущее (держал в резерве) под грядущие хвори. Шкаф был залогом его личного бессмертия. Особо его огорчало, когда истекал срок годности. В этом была не только жизнь лекарства, но и его собственная. Он расстраивался, как ребенок, откладывал устаревшее средство в сторону (в шкафу была отдельная полка) и бескорыстно предлагал Ф. Б.

Капиталисты — люди осторожные, а нашим — в самый раз. Срок вышел недавно, а само лекарство живет еще два года. Как минимум. Он узнавал. Что русскому здорово, немцу — смерть. Сам Ферганюк просроченными лекарствами не пользовался, так что поговорка выходила как бы наоборот. А вот Ф. Б. (Фрицу) было здорово, несколько раз он по необходимости пользовался коллекцией и всегда удачно.

Слово *порядок* — было у Ферганюка из любимых. Сколько раз он говорил, что нужно перебрать и навести в шкафу порядок. И перебирал. Но до всего руки не доходили. И просроченные лекарства множились. Особенно, когда Ферганюк отвлекся. Пришла пора получать квартиры (он состоял в нескольких списках). Настала пора воздаяний за тяжкие труды. Тоже были маневры с ходатайствами, со справками (вот где туберкулез пригодился), с характеристиками. Понадобилась энергия, помог жень-шень. Зато и квартир он получил целых три, расселился, как следует — устроил первую жену, выписал на отдельную площадь маму из деревни, и вознаградил себя. Фото Ферганюка, которое автор этого повествования держал в руках, сделано на балконе новой квартиры. А тут еще Ферганюк женился на старшей продавщице (теперь бы сказали — *младшем менеджере*) фирмы, которую последнее время опекал. Поздние браки, трудное счастье. Как объяснить дальнейшее? Здесь мы вступаем в область гипотез. Возможно, женщина поглядела на партийный съезд, увидела, как Генеральный секретарь мучительно выговаривает слова. И подумала: — Какой прок от этих лекарств, когда они не могут вылечить даже такого человека?.. Женщина не была готова к отвлеченным рассуждениям (это, увы, не единичное явление), следующая мысль оказалась сугубо личной и практической. Ведь, если сам товарищ академик Чазов не может справиться с

болезнью, закатывая в рот вождя чудеса импортной фармакологии, что ждет людей попроще? Ее, в частности. И примчится ли, запыхавшись, на ее зов прославленный академик? Совсем необязательно. Нет, уж лучше сразу. И выждав, когда Ферганюк отправится натощак сдавать анализы, она выбросила из новой квартиры все лекарства. Жить, так жить!

Глава предпоследняя. Умер Леонид Ильич Брежнев. Легко близнецам, которые поровну делят ответственность за свое сходство, а каково простому человеку, которого судьба то ли в шутку, то ли непонятно зачем наделила уникальным даром подобия. Каково ему? Как научиться жить заново без своего великого двойника? Чем заполнить пустоту? Заглянуть в мрачную бездну одиночества. И хоть за несколько лет Ферганюк сумел полностью восстановить свою сокровищницу, но здоровье его сильно пошатнулось. Тут дело не в лекарствах, вернее, не только в них. Судьба приходит за каждым. Пусть пока еще дожидается в приемной, но уже где-то рядом. И Ферганюк стал понемногу отдаляться, будто растворяясь в череде немощных генсеков.

Пошли социальные перемены, перестройка. Борьбу за признание прав Ф. Б. на зарубежные поездки начала его жена. Радужных перемен она, увы, не дождалась, и в Европе Ф. Б. побывал один. И не единожды. В Италии был, во Франции, в Германии, в Израиле, отыскал кое-кого из друзей молодости и даже богатых родственников. Его миллионерша-сестра поддерживала быт Ф. Б., когда с ним случилось несчастье. За эти деньги (через одну из немецких фирм в Киеве) можно было содержать квартиру и оплачивать услуги приходящей женщины, которая готовила и убирала. Даже на водительских правах он — восьмидесятилетний выглядел несгибаемым бодряком. Взгляд отвердел и сфокусировался на чем-то далеком, будто в туманную даль с вершины холма. (я видел это фото). С поездками Ф. Б. успел, повезло, но не повезло со всем остальным. Несчастье случилось два года назад. На подоконнике стояла деревянная кадка с могучим фикусом, Ф. Б. закрывал балкон, неловко повернулся, и фикус рухнул ему на ногу. Ф. Б. оказался в больнице, там сделали какую-то операцию и отправили домой. Все это не бесплатно, в этом ирония, если человеческое здоровье имеет реальную цену, как уверяют сторонники платной медицины. Причин того, что случилось дальше, было две — его необратимо уложили в постель, не оставив ни одного шанса на восстановление (пусть на коляске, пусть с костылями), и он остался совершенно один.

В таком беспомощном виде я его и застал. В особенном состоянии между жизнью и смертью. И, это нужно подчеркнуть, в

совершенном спокойствии. Стоял ощутимый запах мочи. От кровати тянулся металлический провод. С помощью приспособления (он его сам сконструировал) Ф. Б. мог открыть и закрыть балконную дверь. Пол был застелен полиэтиленовой пленкой, на которой стояла миска с едой. К ней с кровати и обратно на кровать, перепрыгивая через неподвижные ноги Ф. Б., сновали собаки. На стене над кроватью висели три большие цветные репродукции. *Флора* Рубенса, *Женщина в голубом* Генсборо и Тицианова дама с подносом полным фруктов. Между ними (так была задумана и решена композиция) находился большой фотопортрет Тамары Бенедиктовны. Она уже была в летах, с массивным лицом, тяжелым подбородком и полной шеей. Ее было трудно представить молодой. На другой стене, над столом висели вырезанные из дерева незамысловатые маски, репродукция с видом средневекового города (увеличенный задний план какой-то картины) и большой цветной снимок лаврских церквей, как они видятся с киевских холмов — золотые кресты, купающиеся в зеленом море. Нужно полагать, к искусству Ф. Б. был равнодушен. Был еще один снимок — лицо молодой красивой женщины. Гольдфрухт представил ее воспитанницей, о большем я не спрашивал. Рядом была дверь во вторую комнату, туда я не заходил.

И потом, когда разговор о бурной жизни Фридриха Бернгардовича был исчерпан и свелся к повторениям отдельных эпизодов, я продолжал навещать его. Я просто не мог оставить его одного. Сначала я сопротивлялся неизбежному. Неподвижная поза на спине лишала ситуацию всякой перспективы. А она могла быть — сердце и переболевшие легкие вели себя исправно. Нужно было хотя бы усадить его в постели. Я пытался достать инвалидную кровать. За новую кровать в *медтехнике* просили астрономическую цену, в прокате их не было. Из еврейской организации (хеседа), куда я позвонил, принесли металлическую конструкцию, в которой угадывался подголовник. Его нужно было установить в кровати, чтобы придать телу Фридриха Бернгардовича положение полусидя. А на ночь убирать. Кто-то должен был это делать. А делать было некому. Подголовник стоял под стеной. Ф. Б., одно время заразившийся моим энтузиазмом, придумал лучший вариант. Голова у него работала, что надо. Идея была, снять сиденье с машины (гараж и машина были неподалеку, во дворе) и использовать его в разных вариантах. Мысль была новаторской. Ф. Б. звонил какому-то приятелю, который хорошо разбирался в таких конструкциях. Он должен был воплотить идею в жизнь. Но приятель не пришел, и разговоры о нем затихли. За полгода, что я навещал Ф. Б., так

никто не появился. Даже удивительно. Кроме двух соседок — сверху и снизу, и женщин, заходивших на час-другой в дневное время — прибрать и подать еду. А нужен был постоянный уход. Отношения с всесильными (по деньгам) западными родственниками оставались для меня непонятными, в подробности я не вникал. Было ясно, что к заграничным услугам Ф. Б. прибегать не хочет. К тому же он, что называется, *перележал*, нога была равномерно желтого, неживого цвета. О подробностях туалета я умалчиваю. Спасала его удивительная способность обходиться по несколько дней без еды. Вода и сигареты (в умеренных количествах) — вот что ему было нужно.

Когда я приходил днем и заставал женщину, хозяйничающую на кухне, Фридрих Бернгардович непременно устраивал кофепитие. Иногда я варил кофе сам. Все было, как говорится, культурно, и исключительно бездарно. Шансы на сносное существование оставались, голова работала прекрасно, организм сопротивлялся и погибал буквально, на глазах. За период нашего знакомства Ф. Б. несколько раз падал с кровати (над ней была перекладина, по которой он мог немного подтягиваться на руках). Падал ночью, в темноте, со сна, и лежал на полу, пытаясь стуком привлечь внимание соседей. Когда (по занятости) я задерживался с визитом, Ф. Б. названивал сам. По пустякам он не беспокоил, сообщал скрипучим голосом: — Вы знаете, сегодня была трудная ночь. Вы придете, я вам расскажу.

И я приходил, обычно в субботу или воскресенье. Зима в тот год была бесснежной и отвратительно холодной. Не знаю, как сейчас (с тех пор в том районе не был), но пару лет назад Ленинградская площадь представляла огромное визжащее, гудящее нелепое пространство с чахлым сквером посреди, трамвайной колеей, отстойником автобусов и чередой продуктовых лотков, как раз со стороны улицы Строителей, куда я направлялся. Я покупал бананы у замотанных в платки продавщиц. Подъезд по улице Строителей, дом 3 был удручающе запущен. Я звонил старушке из нижней квартиры, и она выдавала мне ключ. Уходя, я бросал ключ в щель на двери с надписью *для писем*. Пару раз шумно вторгалась соседка с огромными жареными пирожками с горохом. Она без церемоний называла Ф. Б. Федей. Вначале была женщина, на которую Ф. Б. не переставал жаловаться. Он становился подозрительным. Сказывалась полная беспомощность и одиночество. Впрочем, мне обижаться не приходилось. Общались мы приветливо, но отношений не углубляли. Уже в конце возникла Валентина Ивановна. Послушная — она звонила каждый день между моими визитами, держала в курсе, бегала за лекарствами, врачом из поликлиники.

Так длилось, начиная с дней ранней осени, когда я вернулся из Черновцов, до седьмого марта, когда он умер. Ф. Б. сдал буквально за несколько дней, организм устал сопротивляться. Мне он пожаловался: — Вы не представляете, как тяжело умереть… Кажется, это было последнее, что я от него слышал. О смерти сообщила Валентина Ивановна. Никаких просьб и инструкций я от Ф. Б. не получал, и теперь вяло размышлял, как поступить. Тут позвонили, и мягкий женский голос сообщил, что похороны состоятся завтра, отъезд от дома ровно в двенадцать и просят не опаздывать. Я опоздал ровно на две минуты. Подвел приятель, которого я дожидался у метро *Дарница*, тот самый переводчик, который познакомил меня с Ф. Б. У дома уже никого не было, а разрумянившаяся Валентина Ивановна (она, готовила поминальный стол) сообщила, что недавно уехали. Дожидаться возвращения мы не стали.

На девять дней я пришел один. Была воспитанница с дочерью и мужем, была Валентина Ивановна. Были соседки сверху и снизу — с ключом и пирожками. Дружный, разговорчивый коллектив. Имущественные вопросы, видно, счастливо решились. Чисто прибрано, с пустым углом вместо кровати. Был еще таксист Володя, и какая-то квадратная дама в нахлобученной ондатровой шапке. Не скрою, мне было интересно, да и сам я был объектом интереса. Человек новый, непонятно как и зачем затесавшийся. С какой целью? По-видимому, так вопрос и стоял. Валентина Ивановна, пунцовая от угощения и хорошего общества, смотрела на меня иначе, чем прежде, с нескрываемым подозрением. Я чуть выпил и стал расспрашивать. Что еще было делать?

Впечатления Володи (дословно). Я раньше таксистом работал. Лет двадцать назад пришел с товарищем. Сидели на пятом этаже. Женщина жила там знакомая. Товарищ говорит. Знаешь, внизу такие люди, такие люди. Они приглашают. Давай спустимся. Я спустился и наверх уже не поднимался. С тех пор приходил к нему почти каждый день, сидели, разговаривали. Вот в этих креслах. Он всегда в халате. Белая рубашка, шейный платок или шарфик. Много лет дружили. А почему расстались? Он из Германии последний раз вернулся. Я его на вокзале встречал. Приехали домой. Он говорит, Володя, вы калькулятор взяли. Было два, а теперь один. Фриц, подумайте сами. Зачем мне ваш калькулятор. Нет, это вы взяли. Зачем мне это выслушивать? Я ушел. Спрашивал его, конечно. Фриц, почему вы не остались в Германии? Нет, здесь моя родина, мои собаки…

Воспоминания женщины (воспитанницы, в представлении Ф. Б.). Фото на стене, которое вы видели, это мое. Сейчас сняли. Знаете, как было на самом деле? Я приехала в Киев и устроилась

работать на почту. И он туда зашел. Постоянно что-то там получал. Разложил бумаги, стал заполнять. Тут я вышла. Девятнадцать лет. Он в своем пальто, всегда хорошо одевался (женщина махнула рукой, показала, что пальто было элегантным). Побледнел и вышел. Через час вбегает Тася. Девушка, девушка. Закончите работу, заходите к нам. Так она меня пригласила в дом. Что оказалось? У него в Кембридже была близкая подруга. Мать — француженка, отец — русский. Они расстались, подругу от него увезли. Были какие-то деликатные причины. И я оказалась точь-в-точь на нее похожа. Мы сами из-под Василькова, кажется, ясно, а он все равно не верил. Мою мать видел, я их знакомила, а все равно сомневался. У нас в роду были поляки. Мне бабушка говорила, ты будешь на польку похожа. Так и оказалось. Конечно, они никуда меня не отпускали. Жить предлагали. Я у них тогда часто бывала. Но никогда не ночевала. Только однажды на кушетке. Поздно было возвращаться. Тася была очень начитанная женщина. Сама рент-гентехник, а ее мать — библиотекарь на киностудии.

После несчастья с ногой муж привез Фрица домой. Говорит: у тебя деньги есть, найми сиделку. Круглосуточно. Но он отказался. Ему хотелось выглядеть одиноким, чтобы получать переводы от этой немки, и от *хеседа*. Он сам все так устроил. А я… Сколько я переживала. Я ждала, что он позвонит, а он не звонил. А почему мы не приходили? Он должен был позвать. Я ждала, а он не звал. Но я успела. Я была с дочерью накануне. Успела попрощаться, Он сделал пальчиками. Вот так. Это был его жест.

Собачки? Старую усыпили. Оказывается, есть служба. Приехали, сделали укол и увезли. Она, как чувствовала, так кричала. А для двух других нашелся человек, забрал, год назад у него своя умерла. Они к морковке привыкли, из *хеседа*. Я ему сто гривен дала, на морковку хватит…

Ясно, мне многое хотелось узнать. Мне было интересно. Женщина оказалась киноведом, муж — профессор по этой же части (он отсутствовал). Работы теперь много, энциклопедия, каталог или что-то вроде — сто лучших украинских фильмов. Человек счастливый — так она отрекомендовалась. Выглядела прекрасно, знала рецепты, как сохранить красоту. Я бы еще расспрашивал. Но тут вмешалась дама в ондатровой шапке (оказалась, сестра Володи таксиста). Что это вы все расспрашиваете? И как-то со всех сторон затихло, все поглядели на меня осуждающе, а моя собеседница несколько снисходительно.

В ней присутствовала уверенность в правильно прожитой жизни. Дочь тут же. Нестандартно красивая, с косой. Рослый,

приветливый, послушный зять. Вообще, застолье шло живо. Бегали на кухню курить. Говорили о разном. Считали, сколько машин может встать на дорожке перед дачей. Вспоминали, как Фридрих Бернгардович еще недавно (кажется, только вчера) приезжал с собачками. Всегда франтоватый, энглизированный. Он нашел свой образ. Захоронить прах решили в фамильном склепе в Черновцах. Так его дед и бабушка. Там Юзеф из Львова. Сговаривались (с Володей таксистом) собраться на днях и разгрести бумаги. Я просил (если найдутся) несколько фотографий. Для этого рассказа. Но видно, не нашлись. Единственная, что приведена, взята у Ф. Б. при жизни. Обсуждали (без моего участия), как хорошо, передать все это в музей. В Черновцы. Будем думать, что все это теперь там.

Воспитанница вышла меня проводить. Зять молча стоял сзади. — Не нужно никого судить. — Сказала она мне. — Вы сами когда-нибудь поймете… С тем мы и расстались.

Вместо эпилога. Задолго до драмы с лекарствами, в сравнительно ранние годы знакомства, случилась история, за которую Ф. Б. остался Ферганюку благодарным. И за которую терпел его всю дальнейшую жизнь. Как раз тогда он купил свою первую машину (Запорожец), и Ферганюк предложил съездить к его матери в село (она еще жила там до получения киевской квартиры). И они отправились. Ближе к концу лета, в лучшее время года. Добрались до Винницы, посидели в ресторане. По радио шел репортаж с чемпионата мира по футболу. Ферганюк познакомился с женщинами из цыганского ансамбля и уговаривал Ф. Б. задержаться на ночь. Но мысли Ф. Б. были не о том. И они двинулись дальше. Мчались на большой скорости, милиционер готовился остановить, но, разглядев Ферганюка, раскинувшегося рядом с водителем, вытянулся и отдал честь. И дальше они ехали почти без остановок, пока не добрались до Днестра. Как раз напротив луга, по которому Ф. Б. маневрировал когда-то со своей батареей. Первый раз он смотрел на землю былой родины вот так — с другого берега, который разглядывал когда-то в артиллерийский бинокль. Вокруг стоял хохот и детский визг. Богатое село на берегу реки разведали ленинградцы и отъедались здесь на фруктах и копченостях — мясо здесь умели коптить, как нигде. Ф. Б. подрулил к самой воде и, пока Ферганюк добивался расположения бледнотелых ленинградок, как следует вымыл машину. Человек не сентиментальный, он ощутил влияние некоего поля, которое так и тянуло его на другой берег. Они нашли паром и переправились. Заехали в сельский ресторан, заказали мамалыгу и брынзу, от которых Ф. Б. стало почему-то нехорошо (а Ферганюку хоть бы что). Проехались мимо

колхозного сада. Сад был великолепный, старый, помещичий, Ф. Б. отлично помнил хозяина. Сторож встретил неприветливо. Все изменилось, когда Ф. Б. заговорил по-румынски. Сторож оставил их ночевать (они отлично выспались на свежем сене) и загрузил машину отборными фруктами. Ночью Ферганюк открыл Ф. Б. тайну, оказалось, он наполовину молдаванин. Леонид Ильич немало времени провел в Молдавии, вот только даты не сходились. Теперь и из пробирки можно, но тогда… И все равно, что-то тут есть, он мог подъехать, заглянуть на часок. Ты же мою маму видел. В молодости, сам знаешь, как… А потом, конечно…

Отправились назад, мать Ферганюка добавила фруктов. Перегруженная машина тянула тяжело, а под Винницей совсем забарахлила. Пришлось разгружать. Инструменты, домкрат у Ф. Б. были под рукой, часа за три он неисправности устранил. Отъехали далеко и вдруг спохватились. Забыли на месте ремонта два огромных арбуза. Это сильно подпортило Ферганюку впечатление от поездки.

А Фридрих Бернгардович нисколько не огорчился. Водки он не пил, а местного вина напробовался. И сейчас его сморило. Остановились в ореховой аллее, он достал брезент и улегся. Ферганюк куда-то исчез, Фридрих Бернгардович лежал, прикрыв лицо рукой, ощущал скольжение сквозь листья солнечного света и слушал сквозь сон шум падающих в траву орехов…

Последний комментарий. Решив записать эту историю, я взял у Фридриха Бернгардовича несколько фотографий. Довоенный архив был очень скудным, мало что уцелело, и качество было плохое. Фридрих Бернгардович охотно со мной поделился. Я сделал сканы, но разобрать на них хоть что-нибудь трудно, а публиковать — только бумагу портить. Было фото родителей — отец, видно, что врач, немолодой, основательный, крепкий, в военной форме, мать рядом — медсестра. Несколько фоток молодого Гольдфрухта, совсем тусклых. Видно, где-то на маневрах, в поле, с радостным видом. Одна — офицер в парадной форме, вполоборота. Где-то там и крест за заслуги. Молодец, ничего не скажешь.

Была рассыпающаяся вырезка из газеты, по английски. Фриц в спортивной позе, трусах и майке, толкает ядро. Подпись удостоверяет, это Гольдфрухт — чемпион колледжа. Была затертая английская справка — права на вождение транспортных средств.

Все это я вернул владельцу в надежде воспользоваться еще раз, если понадобится. В застольной беседе на поминках я об этом просил, но увы…

Невероятное событие, как не раз случалось в биографии

Фридриха Бернгардовича, произошло где-то спустя год. Фото возникло буквально ниоткуда, мистическим (я не шучу) образом. Ведь я все вернул, незадолго до смерти, потом жалел, кому эти фото могли пригодиться, кроме меня. И тут такая находка. Рукопись с неудачными сканами лежала без движения, а чудом явившееся фото и дальше то появлялось, то исчезало. Даже сейчас мне пришлось потрудиться, чтобы его найти. Зато теперь с Фридрихом Бернгардовичем можно познакомиться, убедиться, что *такой* был. Намного позже, не помню от кого, я узнал, что прах Фридриха Бернгардовича покоится в семейном склепе в Черновцах. Наверно, там и фотографии. Хорошая новость. Жаль расставаться, что называется, *навсегда*. К вымышленному герою привыкаешь, а тут — *живой человек*. Хорошо, если бы Фридрих Бернгардович каким-то образом проявился среди нас. Он бы смог. Я бы не удивился.

Фридрих Бернгардович Гольдфрухт. Киев, 60-е годы

Соседи

В жизни всегда присутствует фантастический элемент, несмотря на все уверения в ее предсказуемости и оправданности здравым смыслом по известной формуле — Господь терпел и нам велел. Обычно, за ссылкой на авторитет всегда кроется нехватка собственных аргументов, но тут спорить не пристало. Для этого он и придуман — этот главный довод в пользу долготерпения, если, конечно, оставить споры о природе Первосущего философам, а самим обратиться к практической стороне вопроса. Она как раз и убеждает в правильности пути (сейчас бы сказали — *жизненной позиции*), обещая терпеливому некую заботу вроде страхового полиса, пусть даже на словах или во сне. Ведь и сон для бедняка в сравнению с явью своего рода рай и видение пиршества. И снится даже не богатство, а некая особая жизнь, которой иначе не бывает. От того он так дорог, этот сон.

В чем мы совершенствуемся постоянно? В добродетели? Или всего лишь ложное чувство манит, прикрывая любовью к бедности соблазны тщеславия? Или того пуще — надменной удовлетворенностью от завершенности зрелища, потому что если и есть в нищете нечто — это именно завершенность. Жалость унижает? Но кого? Жалеющего или жалеемого? Говорят и такое: — Господь рассыпает нищенствующих для заботы о наших добродетелях. А богатые на что? И они, как показывают в телесериале, тоже плачут. Страдание уравнивает, но тоже по своему — бедных на небесах, а людей состоятельных здесь, на земле — ведь и неосознанный грех переживается, кто считает — экзистенциально, а кто — кармически, отражаясь на судьбе потомков. Особый интерес представляют, однако, люди средние, застрявшие в начале бесконечного пути мирского приобретательства, чуть отступившие от края евангельской бедности, где-нибудь между черствой коркой (крошкой), благодарное приятие которой уравнивает страдальца с голубем, и кредитной карточкой, и еще далее — размеренным аскетизмом богатства, которое также не предполагает лишних трат, а жаждет, пожалуй, только одного — бессмертия. Пусть даже не в Царствии Небесном, отлучением от которого стращал Христос, а где-нибудь на южных островах, по масштабам мироздания — не более игольного ушка, в котором, однако, приятно задержаться.

Но если существует эта скрытая напряженность, силовое поле, противостояние между столь фундаментальными категориями бытия, как бедность и богатство, то должны быть и сюжеты, ибо именно так воплощаются Священные книги — через

жизнеописания реальных персонажей, приметы и обстоятельства биографий и собственно *слова*, которых хватает на увесистый том, и все они *значат* буквально: плен, предательство, жажда, голод, лестница, камень, вол, ясли, звезда, пастухи, стадо… много чего. И сами персонажи действуют в обстоятельствах житейских, сочетая декларативность предназначения со скромностью в быту. Пожалуй, только царю Соломону удалось обвенчать добродетель (не будем к нему слишком строги) с мирскими благами, и потому ничего не оставалось, как стать поэтом, заполнить печалью сосуды мудрости. Само по себе это делает его биографию исключительной, недоступной для подражания.

Обращает внимание настойчивое воспроизводство этих сюжетов, как будто Господь отвлекся или потерял интерес к своему детищу, и оно само повторяет известный рассказ автоматически, простым делением, наращиванием биомассы, раз за разом, выводя известную категорию — бедность, бедность, бедность и лениво подбирает похожие друг на друга персонажи, как пробуют на роли в скучную пьесу. Нужно же кому-то отыграть на виду у позевывающей публики. История тоже устает, обретая позу известного роденовского героя (странно, что никто не видит в нем иронии), она либо откровенно скучает, либо предается безобразиям — последствиям все той же скуки. Мировые войны — не более, чем такие безобразия. Ясно, что Святое семейство может существовать и теперь, даже не в смысле ожидания прихода Мессии, даже не в смысле святости, как таковой, которая при жизни явно выглядит попроще, а как свидетельство, как источник постоянного воспроизведения чуда, не одного, а сразу многих — тепла, света, горячей воды, которой месяц не было, а теперь *пошла.* Жизнь в современной квартире при нынешней запущенности коммунального хозяйства и крайне экономной высоте потолка может соотнестись с бытом пещеры вплоть до живности в коридоре и петушиных криков с балкона многоэтажного дома. Переселению из подземелий чуть ближе к облакам тоже можно придать евангельский смысл. Ведь не станем мы пенять нынешним подвижникам за пользование электричеством и водой, тем более, что те подаются не всегда, превращая достояние цивилизации в орудие испытаний, когда приходится ужинать при лучине продуктами из отключенного холодильника. Тут есть тонкость — и аристократ способен неплохо перекусить при свечах, но человек чуткий (homo humanus) легко обнаружит различия.

Никто не знает, где и когда творится волшебство, под чьей личиной оно деликатно обретается совсем рядом, и не его ли

рука терпеливо (в терпении — надежда) тянется к нам. Евангельские сюжеты живут в обыденной жизни постоянно, и кого упрекать, если собственному глазу не хватает зоркости, чтобы разглядеть чудо. Прогуливаясь недавно по Китаевской пустыни, в живописном склоне горы я набрел на место затворничества с желтой маковкой и замочком на дверях, и по привычке читать разные объявления на закрытых наглухо магазинах и конторах, извлекать полезную информацию на ближайшее будущее, ознакомился с аккуратным листком канцелярского вида. Он извещал, что монах Гавриил, сделавший фотоснимок у ворот Ново-Афонского Пантелеймоновского монастыря, обнаружил на нем Богоматерь, тихо и незаметно вставшую рядом с братией и паломниками, обитающую *незримо,* как и должно в чудесных обстоятельствах, и обнаружившую себя лишь при проявлении отснятого материала. Еще неизвестно — хотела ли Она того или просто замешкалась, недооценила технические возможности фотографии, и так *попалась*. Последнее, кстати, и воодушевляет более всего, делает понятным пафос записки в окошке затворенного скита — радостно сознавать, что мир не столь банален, как рассказывают астрологи и экономисты, он погружен в тайну, пусть лишь своей частью, отрешенной от рутины, но тайна эта удивительна и обещает каждому, кто готов в нее поверить, моральный выигрыш, вознаграждение, смысл, *если хотите*. Фотография — точный достоверный документ, принимаемый милицией и судом. Но то — юстиция, задолго до Пилата знаменитая своим лицемерием, а далее лишь многократно подтверждавшая это известнейшее человеческое свойство. *Лучшего не придумано* — но что в кончиках пальцев Фемиды, удерживающей балансир весов, беспристрастность или равнодушие? Оптимист не нуждается в оправдании бытия, *живет себе и живет*, а нытика, ипохондрика, пессимиста этот тезис способен вогнать в глубокую меланхолию, отравить сознание ядом тоски так, что вернее не думать. Темнота и покой — лучшие средства от головной боли. А куда смотреть? И кто мы — взявшиеся судить? Кого можно встретить? Как отличить? На дороге из Рима? На камнях у озера, под тихий плеск волны? Или в кабине лифта? Иногда мытого, а часто и нет с предупреждающей надписью (скрижалью?) на стене, выполненной фломастером, аккуратно и убедительно — *Не сорите. Вы здесь живете. Стыдно.* Последняя морализирующая часть фразы убеждает, задает некий камертон (интеллигенция назвала бы его *нравственным*), обжигает апостольской страстностью, для которой нет мелких пакостей и проступков, потому что даже дурное намерение, шевеление червячка в сердцевине (а с чем еще

сравнить душу?), а уже все равно — грех, не иначе.

Все это говорится полемически к тому, можно ли разглядеть *житие* за привычным банальным бытом или стоит дожидаться именно перста, указующего даже со стуком в лоб — вот оно, гляди, Фома, и не сомневайся. И как отличить это житие, от других похожих и не следует ли позаботиться, заметить его для себя именно как таковое, чуть двоящееся — не только лик, но и образ, и как при этом не впасть в богохульство или опошление, потому что искусство страшится опошления не менее, чем учение — ереси. Но можно же записать с расчетом на то, что записанное не окончательно и конец истории незавершен. Так и оставить, будто случайно, ведь, по некоей мысли, и Бог не завершил свое творение, отвлекся, а может, из лени? вот был бы славный ответ, находка — все наши поиски свободы — всего лишь крупицы этого божественного обломовского дара, и Господь, действительно, ходит неподалеку и обрек свое детище вечно искать равновесия, как девочку на шаре на глазах упитанного крупного мужчины — мыслителя? циркача? просто положительного персонажа, потому что хорошего как в эстетике, так и в истории, не бывает слишком много.

Вот так нечасто, но регулярно, что и характерно для обычного скучноватого течения жизни, Алексей встречался в лифте с несколькими женщинами из одного семейства. Странного семейства, состоящего из одних женщин, будто размножались они сугубо вегетативным путем. Начнем, пожалуй, с девочки, которая выводила во двор старушку и задумчивую дворнягу средних размеров, спокойно дожидающуюся возле ноги во время спуска и подъема. Старушка отличалась каким-то молитвенным выражением постоянно вскинутого личика с плотно зажмуренными глазками, запавшими глубоко в отверстия глазниц, с коричневой кожицей запеченного в духовке яблочка, сплошь в мелких морщинках, следах прижизненной мумификации, будто природе надоело ждать, и она начала делать свое дело (*вы сидите, сидите, а я начну пока прибирать*), пытаясь совместить старость с вечностью — занятии неспешном и тщательном, как теперь говорят, — технологии, требующей сухого климата, песчаной почвы, постоянного проветривания и, главное, безгрешной праведной жизни. Где же знать об этом, как не в Киеве, в близости к святоотеческим местам. Пожалуй, только нижняя челюсть у старушки была чуть великовата, будто на размер больше — остов, не подлежащий стоматологическому восстановлению. Острые подбородки, подтянутые к самому носу, придают лицам отечественных стариков особую непоправимую выразительность, добавляя к биологической характеристике

социальную, подводят точный итог — *старость и бедность*. Возможно, отсчитав назад немалое число лет, в таких лицах можно было обнаружить и характер, и порывы, все что затерялось в прошлом, и представляет теперь лишь интерес антропологический, наглядный, механику деталей анатомии, обнаженную изнанку чувствования, будто дно в час отлива с его водорослями, крабами, осклизлыми плитами волнореза и прочими фрейдистскими символами, сигналами из недавних глубин, открывшимися внезапно и ненужно в безжизненном свете луны. Как трудно все же разглядеть в старом лице полноценную прошлую жизнь, скорее можно представить старость не возрастом, а неким отдельным племенем, сидящим рядом, как в кинозрительном зале, но *ближе к выходу*.

Вниз бабушка ехала спокойно, а вверх на свой этаж постоянно шептала, переспрашивала, *когда же, скоро ли*, будто боялась проскочить нужную остановку и въехать прямо на небо. Жили они на предпоследнем пятнадцатом и проехать его было трудно, если, конечно, не поддаться фантазии и не вообразить лифт образно. Раньше ведь поднимались лестницей до самых небес, а прецедент значим именно повторениями — нечастыми, чтобы не превращать единичный запоминающийся акт в повседневную практику, но и не совсем редкостными, исключающими возможность прогнозов, а с ними и надежду, предвкушение чего-то неожиданного и ожидаемого одновременно. Впрочем, лифт и на шестнадцатый этаж ходил не всегда, часто простаивал. В новые бойкие времена с мотора сняли какую-то дорогую деталь, подъемный механизм обездвижился на месяц (хорошо еще, хоть так), а сама лестница стала похожа на липучую ленту для мух, в спиралях которой застывали подтягивающиеся старики. А потом лифт вновь заработал, хоть с перебоями, и время от времени в подъезде можно было встретить двух мужчин в грязных ватниках и невообразимых штанах, похожих цветом на использованную палитру художника с очень сумрачным темпераментом. Один из таких людей стоял внизу у открытой кабины, ковырял в ней длинным железным прутом, помогал себе рукой, и кричал, задрав голову: — Ну, Коль, шо у тэбэ, — а потом долго вслушивался, напряженно (как пытаются расслышать шум морской раковины) выставленным ухом в нечто неясное, плывущее из устремленной вверх дыры, будто впрямь общался с небом. Так заурядные мелочи быта становятся символами и обретают свой истинный смысл, подсказывают, что нечто происходит постоянно, *течет* рядом и не нужно заблуждаться, что явь — всего лишь явь, а сон — только сон.

…Итак, старушка — воистину. *одуванчик Божий* (образ — не

под силу поэту, существовавший *всегда*), зажмурив незрячие глазки, спрашивала тревожно, буквально, без перерыва — не проехали ли. Внучка отвечала странно, не раздражаясь, но невпопад. Отвечала неожиданно, как птица у гнезда, громкими нечленораздельными выкриками, не губами и языком, где шлифуется речь, а сразу и глубоко движениями гортани, что было удивительно не свойственно, неожиданно при миловидном личике отроковицы с бледными голубенькими глазками. Она зажигалась каждый раз, когда с ней здоровались, но лицо, однако, оставалось напряженным. И когда она открывала рот, сышен был этот дефект, кипящий сумбур звуков, неразгаданность бурной скороговорки, непонятной и обретающий от того свойство страсти. Она не слышала вопросов. Как много значит речь, способность (дар!), слышать другого, а еще раньше — самого себя, чтобы понять, привыкнуть, ощутить слово, расстояние между ними, насыщенность пауз, вплоть до оттенков смысла, знаков препинания и вот тогда оценить самое главное, что так важно запомнить и сохранить — взрывную силу тишины. К дефекту речи нужно привыкнуть, особенно постороннему, который придает этому явлению элемент эстетики, память обладает этим важным свойством облагораживания, выделяя дефект дополнительно, как самостоятельное явление и в таком виде сохраняет, передает дальше, превращая случайный элемент в образ, в нечто само собой разумеющееся, вроде отбитых рук на статуе Венеры. И так включает в некий канон. Так привыкают к чужой глухоте, возвращая слову изначальное свойство символа, заменяя звук жестом, придавая речи элемент театральной наглядности, актерства, когда Гамлет говорит, как ест семечки, щелкая их ногтями, чтобы не портить зубы, и разбрасывает шелуху, ведет разговор непрерывными усилиями пальцев. Когда к мимике темпераментно открывающего рот героя, добавился звук, выиграл зритель, но не кино.

В той же семье была старшая сестра, уже созревшая, у той было совершенно безмятежное лицо, из мягких текучих линий — волос, щек, сонной полуулыбки, обращенной всем и никому, ускользающей от точного определения — ни вежливой, ни радостной, ни чувственной, ни грустной, ни безразличной, наконец, а содержащей нечто глубинное из самой женской природы, не поддающейся прозаической разгадке. Многие из этих линий стираются с годами, *тают,* лишают аргументы силы, превращают реальность в метафору остановленного мгновения, засушивают живой сок растения, но тут же дают ему иную жизнь воспоминания, вздоха, неутоленного желания, как ни странно, жизнь более долговечную и эфемерную (что хорошо сочетается —

кто бы мог предположить), ведь даже в голодный год не станешь кормить корову экспонатами гербария и молока от нее так не получишь (впрочем, пробовали — не получили). Но пока она была привлекательна и позволяла предположить, что период мужского невнимания к семье скоро закончится и уже заканчивается, хоть процесс взросления происходит незаметно, задолго до того, как становится очевидным. Кое-что можно предсказать впрок. Вы как хотите, говорило это лицо, но я сама по себе, я чувствую силы, как птица, готовая к первому перелету, и, вы не удивляйтесь, если я скоро взлечу и покину вас.

А младшая была глухой и потому говорила нечленораздельно, не контролируя слова. Потому она не раздражалась в ответ на бесконечные старушкины причитания. Она их не слышала. Конечно, слепой и глухой — вроде лебедей на надкроватном коврике (а ведь это — как не понять — видение рая), перебор для художества, сгущение эмоций, требующее от рассказчика праздничного конца, чего то вроде рождественской сказки с продолжением и повторениями, ведь единичное чудо — не более, чем случайность, счастливое совпадение, стечение обстоятельств — да мало ли какое объяснение даст изворотливый прагматический ум. Но жизнь иногда устраивает для себя языческий карнавал, объединяя слепого с глухим, и так кружит их вместе, подчиняет прихотям, может, и вознаграждает за доставленное удовольствие и удовлетворенный интерес. Так экспериментатор ставит памятник собаке с изрезанным им же самим желудком, из которого по сигналу, звоночку бежит кислая струйка желудочного сока. Кто при этом спрашивает собаку, пусть даже предлагая ей памятник в обмен на мученическую биографию? Что же тогда удивляться капризам и прихотям Судьбы?

Впрочем, все было не так плохо. И молодость, и старость выглядели достойно, так что желание Алексея совершить по отношению к этим двоим нечто доброе казалось даже нелепым. Мы часто опасаемся выглядеть смешными именно в добрых порывах, поступках, дурные выходят вроде бы сами собой. Тем более, что единственное душевное движение было — подарить пластинки, старая его коллекция содержала немало классики. Про отсутствие слуха он догадался позже, а то хорош бы был со своим подарком, и сам подарок мог бы стать изощренной причудой, издевательством, железным топором, который Дьявол не замедлит подложить под компас лучших намерений и пискнет в ухо — *брависсимо*, когда нас станет корчить от собственной бестактности. Только и останется — оправдывать себя чистотой помыслов, а то чем же? Но кто утешит? Совесть? Так она по

определению — мучитель, прокурор, даже судебный исполнитель, но не адвокат. Хорошо, если утешит, придаст силы как Иову, удержит руку не расчесывать более собственные раны.

Младшая выводила безропотную дружелюбную дворнягу (свойства хозяев передаются животным), старшая тоже, но та не надолго, с явной ленцой, показывая озабоченность более важными делами. Младшая пускалась бежать прямо с лестницы. было видно, что этим двоим вместе хорошо и весело, связь явно существовала между младшей и собакой.

Мать — глава семейства состояла в возрасте среднем, что понятно, и при наличии старушки и внучек была интересна для лицезрения именно наглядностью работы, усилий, которые совершает время, следуя от безмятежного мая к полутемному ноябрю. Фигура еще оставалась, фигура еще была. А на лице отпечаталось все понемногу, работа, следы страстей, алкоголь? (не знаем, не будем наговаривать), рассветная одутловатая бледность истерички. Отвечала она невпопад, будто со сна, из глубокой задумчивости и, действительно, нелепо, поглупев от одиночества и отупляющих забот, зажигалась от внимания случайного собеседника и тут же гасла, как бы не веря в возможность долгого разговора и сближения. Это была растерянность женщины, застрявшей на обочине, с *путевым листом* (хорошие, точные названия рождает иногда наш забюрократизированный язык), в котором отмечены еще несколько лет увядания, его особого очарования с горьким будоражащим ароматом дымка (в другом случае для сравнения бы подошли хорошие французские духи, но здесь это будет неуместно), с предупреждающим, однако, знаком в конце. Соседи говорили, что у нее дача, и она ее продает, но не дешево, упрямо пытаясь получить *свое*, оправдывая тем, что кормится и кормит всю семью (старушку и двух девочек) продуктами своего натурального хозяйства, как говорят, *собственным горбом*.

С нее можно было снять несколько масок, как компрессами разглаживая черты лица, чтобы воротить ему былую привлекательность, расслабить напряженные черты, вернуть улыбке волшебное утреннее свойство пробуждения, мягкости, оживить резиновую кукольную растяжку губ с золотым сиянием в глубине. Таких можно было отсчитать несколько — отыгранных масок, размышляя над тем, почему западные женщины — буржуазки, напряженно думая о деньгах, обретая хватку, действуя расчетливо, умудряются, однако, сохранить женственность, даже очарование, а наши, теряют его в душевных порывах, не обретая толком ничего. Есть тут загадка, но какая?

Осенью женщина появлялась в мужских сапогах, словно

выдавая бивалентность собственного пола — отпущенного, если всмотреться, природой и обретенного в роли главы семьи, которую нужно защищать, кормить и обогревать. Она становилась шофером и, похоже, привыкла за рулем. Бывало уже поздно, свет фар плавился в осеннем тумане, и работа напоминала приключение, когда девочки тащили к лифту мешки. Ах, если бы только там была не картошка. Впрочем, хороша и картошка, только скучна. И сами мешки были небольшие, специально, видно, заполненные под слабые девичьи руки, хоть и с них лучше не начинать.

Пока младшее поколение запасало хлеб насущный, старушка сидела на лавке, задрав к небу личико — высохшую тыковку на острие бесплотного тельца с выражением постоянного напряжения, которое появляется у незрячих и может быть ошибочно принято за молитвенное состояние. Впрочем, здесь возможно так оно и есть — никто не заметил слепых в избыточном рвении, как и во все отметающем атеизме — свойстве часто мстительном и бунтующем. Считается (есть такая точка зрения), что человек изначально принадлежит Богу, а далее лишь отдаляется от него, подвергаясь искушениям, распаляя себя гордыней, обидой за собственное несовершенство, за несправедливость выбора, остановившегося на одном, а не другом, самой его случайной природой, исключающей, казалось бы, разумную волю, если, конечно, Разум там наверху, хоть немного соотносится со здешним благочестием и моралью. Таков вызов слепоты. Свет — это не только заполнение пространства некими физическими элементами, это еще и украденная у кого-то радость, наслаждение, неведомое зрячим счастливчикам, может быть, перераспределенное среди них, *за чужой счет*, не желающих поделиться, вернуть иначе, как за деньги. Разве это *справедливо*? Сказал ведь один из католических бунтарей (церковь называет их *модернистами*, чтобы припрятать суть), что под некоторыми формами антикоммунизма кроется желание замолчать общественную несправедливость. Так оно и есть.

Время это запомнилось как совершенно неподвижное, наполненное ощущением уверенности, что все происходит и будет происходить именно так. Из года в год. Потом стали обнаруживаться колебания среды, ее толчки, ее пробуждение от долгой сковывающей стылости, каталептической одеревянелости, движение частиц, выведенных из равновесия, все азартнее, возбужденнее, *процесс пошел* с треском и дымом, работающей газонокосилки. Это сравнение здесь будет уместным, особенно если треск и дым усилить до масштабов пожара, а вместо уютного газона подставить все подряд — виноградники (рубка лозы —

любимое упражнение, почти забава кавалериста, и кавалерии уже нет, а выучка пригодилась), так вот, виноградники, что еще? да все подряд — здравый смысл, историю, ловко, как оказалось, склеенную из одних пороков и преступлений, требующую *покаяния*, похожего на массовое ритуальное самоубийство по призыву мигом перевоплотившихся гуру. Это захватывающее зрелище полета (а потом и ощущение, жар) вулканического пепла, обрушенного на головы Содома, видение дымящегося остывающего кратера, повторяющиеся толчки — конвульсии земли и радостное возбуждение выбравшихся на промысел мародеров — все стало былью. Видно, одним из таких толчков старушку сорвало с насиженного места на лавочке, *отнесло* в сторону, и она объявилась возле подземного перехода. Тут она встала у схода травяной осыпи, устремила вверх личико солнцепоклонницы и, можно сказать, застыла в одной и той же позе, которую трудно выдержать более живому человеку, стойкий солдатик, пластилиновая куколка, удерживаемая спичкой, штырьком, *прикнопленная* так к легкому наклону плоскости, прямо таки деталь композиции, ландшафта, которая заметна из отдаления, которая, кажется, подмечена случайно, а на самом деле была, потому что сам *замысел* исключает случайность. Старушка держала палку, но не опиралась на нее явно, так что палка служила, пожалуй, для полноценного завершения образа, а лишь потом для опоры. Что-то она повторяла себе постоянно под нос, очевидно, молитву, нараспев, губы ее шевелились. У старческих ножек в стоптанных шлепанцах были разложены на мешковине куски тыквы, а рядом на пустом ящике расстелена тряпка с деньгами, придавленными аккуратно камнем. Расчеты, очевидно, вели сами покупатели, старушка лишь называла цену, цифры все время менялись, росли буйно с постоянным убыстрением темпа, отсчитывая десятки, сотни, тысячи, миллионы, как будто мир экономики слился в космосом и требовал подходящего исчисления в мириадах и парсеках.

О приходе перемен говорят часто совсем не те авторитетные облеченные властью лица, от которых мы рассчитываем услышать нечто определенное. Те еще что-то сулят, обещают, попросту врут, а прогноз дают случайные участники, заметные не самим фактом существования, а как бы движением проносящихся в счетчике частиц, *возмущающих* среду (как хорош здесь этот физический термин) *элементарным* желанием есть и пить.

Старик на базаре торговал подержанными книгами — отдельными томами Диккенса, Стендаля. Они останавливали взгляд. Цены были мизерными. Старик был ухожен, причесан, опрятная рубашка навыпуск предполагала консерватизм той

самой обеспеченной старости и дешевой колбасы, которая особенно ненавистна нынешним либералам, того постоянства, которое незаметно и естественно (в естественности — незаметность), но твердо определяло средний слой (у нас теперь его *формируют*, а он и был) при старом времени, безбедного века шахмат на сдвинутых лавочках в глубине парка, домино там же, пристрастия к газетам, скрученным к концу дня в трубку, при тогдашней дешевизне никто ими не дорожил и читали выборочно (*сегодня ничего интересного*), капризно рассчитывали, что на *их век хватит*, а о новом не желали загадывать из старческой раздражительности и мизантропии, как бы назло, *не слушаете старших, так вот вам*. В результате — их и *размазали* быстрее других. Так выразился один *аналитик*, как ни пеняй за цинизм, но по сути верно. Старик этот еще и не был стар, отмечен немощью, отказом от желаний. Наиболее правильно определяют возраст женщины со стороны, в случайном безличном обращении, как здесь, на базаре, реагируя инстинктивно и точно, так вот этот был не *дедушка*, а *мужчина*. Такие даже женятся. Он и был похож на отставного военного, даже в небольшом чине. Спокойный, уверенный, такой себе *индючок*. Каково ему было осознать фатальные перемены. Помимо материального, нищета — это некий экзистенциальный опыт, в котором нельзя надолго притвориться, она прорастает внутрь, как дерево в стену старого дома, оплетает его, гнет, куда захочет, делает своим, сменяет одну жизнь на другую, рушит, наконец, и тогда неожиданно обнаруживается это новое свойство, вчера еще чье-то предостережение, надпись на стене разгулявшегося Вавилона, а сегодня — уже свершение — как? когда? невероятно, а уже все. *Приехали.*

— Они хотят нашей смерти. — Говорил этот пораженный неожиданным открытием книгопродавец соседке по рундуку, торгующей узбекскими специями в мешочках — корицей, кориандром, кунжутным семенем. Он говорил спокойно, сидя комфортно, сложив на животе руки — белые неиспорченные тяжелым трудом. Он говорил без возмущения, как пленный после сражения. Согнанные разом, уставшие, оглохшие, без оружия, они остывают сейчас вне времени, вне желаний, еще только осознавая близкую участь, смиряясь и все еще не веря в нее, в равнодушном ожидании команды снять сапоги, встать, и идти.

— Они хотят нашей смерти. — Говорил он, а Алексею советовал, все так же спокойно, как предвещал гибель. — Берите Стендаля, молодой человек. Даром почти. Может, пригодится.

Неправда, что перемены затрагивают более людей молодых, как и то, что бьют по старым. Просто, каждый приспосабливается,

как может. Старушку отнесло еще дальше от дома, ветер перемен легко подхватил высохшую семечку, подтащил поближе к сердцевине огромного города, отряхнул среди сора, потому что сор (не будем из ложной стыдливости избегать этого слова), объясняясь цивилизованно, это — нечто, утратившее общественно полезную функцию, нечто *бывшее*, оставшееся от старого, которого уже нет. Нет государственной шеи, на которой так удобно было рассиживать до ста лет, *никакого терпения не хватит*. Зарабатывайте, кто вам не дает — юристом-международником, банкиром, маркетингом, наконец. Летайте по делам в Лондон, *боритесь*, читайте лекции. Но не стойте просто так. Вытяните вперед руку, ладошкой вверх, шею согните, не напрягайте, еще ниже, вот вам и работа, не нужно только капризничать. Оденьтесь, конечно, попроще, если есть протез — покажите, закатайте штанину, повыше, опустите чулок, не стесняйтесь. *Народ поймет*. И милиция поймет, только не надо делать из нее пугало, что у них родителей нет.

Старушка отыскалась в подземном переходе, у поворота в метро, ближе к ступенькам, к дверям, к легкому затягивающему сквознячку подземелья, видно, на неплохом месте, потому что занято там было постоянно. Теперь она тянула сложенную щепоткой ладонь и постоянно что-то шептала, чуть раскачиваясь вперед-назад. Она и раньше издавала какие-то звуки, во время прогулок, рассиживания на лавочке вблизи родного подъезда, во время подъема в лифте, *не молчала*, так что интересно было сравнить, но не с чем, потому что и тогда, и сейчас звуки выходили непонятные, вот именно *срывались* с губ, объясненные, пожалуй, самим свойством явления природы — звучать — ручеек журчит, лес шумит, старушка, вот, *бормочет*. И в этом ее жизнь, принимайте, как есть. И палка была при ней, как приспособление для выполнения упражнений, как обруч, скакалка, булава, лента — особый элемент образа, художественной пластики, продолжение собственного тела, заявка на награду (тогда как раз проходила Олимпиада, люди *болели*, и образ взялся не случайно). На груди висела бумажная иконка Богородицы, голова была покрыта аккуратно белой косынкой. Впрочем, косыночка была и раньше, и, вообще, старушка отличалась опрятностью, даже тщательностью в одежде, уважением к делу и к месту и, скажем без скидок, достоинством. Теперь договорились до определения — *человек — это стиль*, так вот, если нужен пример, — пожалуйста. Странно было то, что старушку не всегда можно было застать на месте. И возле дома ее не было, и в сезон тыквы (чем наша тыква — не карета, сказочный реквизит) место оказалось незанятым. Старушка бытовала в недрах

многоквартирного дома, то материализуясь, то вновь испаряясь (облачко в месте исчезновения еще оставалось на некоторое время, легкий прозрачный парок, как при небольшой стирке), и если бы западных фей — неопределенного возраста, в котором спохватываются, прожить жизнь наново, так вот если бы таких разглаженных массажем дамочек с кокошником вокзальной буфетчицы (такие точно смухлюют, и волшебную долю, навар приберут для себя, для молодого любовника) заменить нашими героинями первых пятилеток и крепкого тыла, то как раз мы бы обнаружили нашу старушку, *все для людей, все для людей* (как здесь уместно это бормотание)*, все для людей…*

Совершенно точно можно сказать, что с переменами старушка расцвела, не буквально, конечно, не по виду, но и не в переносном смысле, а в истинном результативном — *по плодам узнаете их*, вот это было заметно. Девочки стали взрослеть как-то быстро. Старшая уходила с утра пораньше, одетая неброско. В ней не было легкомыслия, даже странно для современной моды, которая предлагает женщине показать себя щедро. И тут было что, но девочка похвально не торопилась *обнародовать,* хоть было вполне можно, а там и претендовать замуж за иностранца, с такими данными белого можно подобрать, конечно, не румына, *такие же как наши*, тогда лучше *блэка* приличного или даже араба — те, конечно, кавалеры изрядные, но опасно, никогда не знаешь, куда попадешь, сулят жизнь — рахат — лукум, а запивать его чем — ни шампанского, ни пива, один бассейн с морской водой, хоть купайся, хоть топись со скучищи. Ясно, однако, и другое, главное — нельзя терять времени, кажется — молодость, молодость, времени не меряно, а пролетит — не заметишь, так и останешься *челноком*, с тощим кошельком в укромном месте, или кефиром торговать, вполне там красивые женщины, с грузовика торгуют, а вот застряли, не повезло, теперь с детьми куда. *Выживают.* Нужно старшей определяться. Собака перестала показываться. А младшая пошла куда-то в школу, оказалось — на курсы кройки и шитья. Глава семьи пока исчезла, дела с дачей не шли, объявился один, всю весну морочил голову, деньги собирал, и пропал. Даже не позвонил, такие теперь люди, ладно еще — не жулик. Но злиться некогда, пора теперь собирать урожай, хорошо, что не понадеялась на быструю сделку, *жизнь научила,* засадила все, что можно, теперь помидоры, *перцы*, скупают сразу с участков, и еще в трехлитровые банки, девчонки поедят, на зиму хватит, если вертеться, конечно.

Ну так, вот. В сложной социальной ситуации старушка оказалась именно стабилизирующим семейным элементом, не балластом, не держалкой с портретом генералиссимуса, не

маргиналкой, не обузой. И вновь замелькала, после небольшой паузы. Ее приводила теперь домой женщина с нижнего этажа. Женщина была раньше актрисой и сохранила эту артистичную привлекательность, никогда не сидела вместе с досужими соседками около подъезда, не выходила с ними *подышать воздухом*, хоть и это отдельный физиологический процесс, впрок, тоже подготовка к холодам, гипобиозу, спячке (тут тебе на лавочке и театр, и стадион, и показ мод, и сама жизнь — все для бедных, *бесплатно*), а берегла индивидуальность, располагалась отдельно, посреди двора, на резной скамейке, оставшейся после сваленного *детского городка*, под одинокой березой, что тоже было совпадением не случайным, а развивало образ, вместе с короткой стрижкой, открывающей шею. Она уже была в летах, но по особой памяти женщин — не в мозгу, а в коже, в глазах, в трепете (очень уместное здесь слово) сердца, в сохраненном (как помнит щека солнечное тепло) мгновении — неважно, одном или многих — успеха (у каждого он свой, пусть, скромный, дело не в количестве, вернее, не только в нем, а в ощущении праздника, которого должно хватить на обогрев души, как угля и дров на зиму), она и здесь на этой резной, как из народной сказки, лавочке, видела себя как бы со стороны, в ее кокетстве сохранялась эта прелесть, очарование бабьего лета, выражение, затверженное когда-то, казалось бы, на время, *для роли*. Именно теперь, возможно, спустя годы, оно — это очарование неожиданным образом проступило, оказалось не проходной, а именно *главной ролью*, которая и отличается тем, что не ты приспосабливаешься к ней, а она к тебе, пока самый признанный знаток, зритель воскликнет — *браво*, лучше не бывает. Именно так смотрелась эта женщина на резной лавочке, под березой посреди большого двора, между песочницей, оставшейся, как и сама лавка от детского городка, и асфальтовым разворотом к магазину с оранжевой надписью *продукты*. Теперь старушку видели часто с этой актрисой. Старушка, кстати, ничуть не изменилась, также молола, сыпала одной ей понятными словечками, сама с собой, торопливо, привычно, невозможно разобрать что. По роду нынешних занятий ей лучше, конечно, бормотать, и образнее, и просто веселее, чем *стоять молча*, и можно было понять так, что старушка не притворялась, вела себя искренне и, кстати, ни у кого сомнений на этот счет не возникало. А обыватель, сколько его не ругают, ничуть не ожесточился, не огрубел, чуть только прикрыл израненную душу, но готов ее распахнуть перед таким же бедолагой, хоть перед бродячей собакой, которых развелось великое множество. А ведь терпят, не ропщут, на живодеров смотрят не добрее, чем прежде,

понимают, что и *собакам не сладко*. Приручили, они доверились — лохматые, вот теперь и терпят, хорошо бы и им избирательное право. Разницы никакой, так хоть бы перед выборами кормили. Шутка, конечно.

Старушка вплывала в лифт вместе с актрисой парой на чуть вытянутой руке, *менуэтом,* и дальше поднимались к себе, высаживались, актриса еще вела ее по коридору, как по фарватеру (так входит подводная лодка в фиорд), осторожно, разворачивала, ставила перед дверью, звонила, потом только возвращалась к себе на этаж, а чаще шла на лавочку, опускалась на нее и надолго застывала блаженно. Лето, *нужно пользоваться*. Несмотря на оживление, и скопление молодых мам, которые по привычке собирались к месту детского городка (снесли его до основания, только что плугом сверху не распахали и солью не посыпали), к сохраненной песочнице, скамейка к ее приходу всегда быстро освобождалась, будто некто невидимый (в шляпе и камзольчике с кружевами) летел впереди и ломающимся голоском пажа поторапливал, освободить место и даже перышком щекотал за ушком молодых мамаш, отчего те хихикали, сами не зная почему, заталкивали платочки за вырез лифа, в ложбинку, и разбегались поспешно. Как раз в магазине начинали что-нибудь такое давать. Хоть изобилие, но дешевого на всех не хватает, пока еще мы научимся дорогое покупать, не скоро, пару поколений должно пройти. Таковы научные расчеты экономистов, кажется, знакомые по многолетним заверениям и призывам, но теперь точнейшие, *чикагской школы*. Ну, а пока место освобождалось для нашей красавицы.

Так что теперь старушку видели время от времени, и, если бы не полное несходство, недоумение по поводу совместных прогулок, можно было предположить некое актерское вживание в образ, освоение этого опасного пространства старости и слепоты, в котором рискованно заиграться не то, что в воображении (это при здоровой психике в голову не прийдет), а даже на алтаре искусства. Если есть из чего выбирать, наверняка, любая актриса подберет, помоложе, исходить еще раз знакомые тропинки, принцессы, служанки, хоть Джульетты — главное, *ощущение*. Только немногие рискуют забежать вперед, очень уверенные в себе, пренебрегают инстинктом и напрасно. Роль старит не только гримом, седым париком, бессонницей, приманка ядовита, попробуй скажи — примерь на себя, порепетируй для пробы, кажется, *ничего страшного*, подумаешь, *ну и что?* а уже *оп и готово*, как в сказке — не можешь оторвать руку, поднять голову, унять шум в ушах, отогреть ноющий сустав и, главное, вспомнить, отыскать ключик, чтобы распахнуть дверцу и выскочить *назад* к

себе прежней. Так и останешься *в роли.* А для чего, спрашивается, *куда спешить*?

Но не будем озадачивать себя загадками. Все — просто. Оказалось, старушку вывозят на метро, туда, где можно ожидать большего финансового результата. Если стоять, так стоять с толком. Это — тонкость, не всякое место — красно, нужно искать, а найдя, не вытаптывать, не высасывать сразу до дна, потрудиться, пожить на нем, но и не давать привыкнуть, а идти дальше. Короче говоря, нужно двигаться. Доставка и съем с места стоит, если по курсу, три доллара, расходы себя окупают, потому что старушке подают хорошо, и доход приносит в семью серьезную прибавку, куда больше, чем от тыкв. Можно, конечно, съекономить и на доставке, но девочки заняты, еще и стесняются, их можно понять. И не нужно думать, что бабушку эксплуатируют, наоборот уговаривают под разными предлогами, чтобы отдыхала больше, выходила раз в три дня, не чаще. А старушка, наоборот, разохотилась, не хочет упускать время, зимой тяжелее, зимой в пальто, скользко, холодно, сейчас лучше, а дают не меньше, добрый человек — он круглый год добрый.

Потому старушку можно было застать в самых разных местах. Так полководец прикидывает картину будущего сражения, переставляя на разложенной карте солдатские фигурки. Где расположить основные силы, где нажать, как следует, где определить священные реликвии (у старушки была такая на груди). Дух обретается везде, но есть и для него заветные места, нужно уметь разглядеть особенным взором, *мысленным* — сияние, золотой обвод — границу между бескрайней тьмой снаружи и тем, что внутри, что присутствует незримо, скрывает лик, а все равно — *есть*. Слепота здесь — даже в помощь.

Говорят нельзя угадать, где больше дадут. И впрямь нельзя, не потому, что отгадки нет, а сам Дух на месте не стоит — витает. Нужно следовать, тем более линии метро позволяют, и в том, что цена равная в любой конец, тоже есть *смысл.* Дело за выбором. Могут дать больше на Подоле, а могут на Оболони, куда совсем немного дальше проехать, или на новой линии — Харьковской, или на Нивках, где раз оказались просто из интереса, а потом стали бывать часто. На Печерске не дадут, не потому что там люди бедные, совсем наоборот, на них напраслину не нужно возводить, просто там *гоняют*, лицо государства — нужно беречь, а когда не гоняют, идут разные шествия, манифестации, требуют зарплату, но отнюдь *не Христа ради.* Актриса раз завезла, когда еще только присматривались, где лучше, милиционер подошел, не меньше капитана, говорит: — Ваша бабушка? Забирайте. *Своих хватает…* Актриса отмолчалась, увела старушку, а у самой на

языке было, как теперь разберешь, где свои, а где нет. Когда она старушку определяла на место, подыскивала, чтобы и на виду, но и не в самой толчее, тут тоже опыт нужен, *глаз*, рядом собирался отряд, готовили плакаты. — *Руки прочь от НАТО*. А старушка как раз в их сторону рукой потянулась.

Правильно, до банальности правильно говорят — в любом деле нужен опыт. Актриса опасалась конкуренции, скандалов, в низах тоже свой порядок, свои правила. Она вспомнила *Трехгрошовую оперу*, как там все отлажено до мелочей. Есть чего опасаться, тем более — слепой. Но *опера* эта — оттуда, и при всей схожести занятий, рода деятельности, так сказать, пугает напрасно, не учитывает *главного*. А оно в том, что наше общество гуманнее, именно так, без деклараций и поз, *душевнее* (так еще точнее сказано), чем их — капиталистическое. Там нищета — тот же порядок, но с изнанки, с подкладки, никого не удивляет — спишь ли ты вместе с крысами, или нет, наоборот, считается, что так и должно, в этом твоя свобода и если какой-нибудь биржевик, тот же юрист-международник, специалист по консалтингу захочет *на дно* занять законное чье-то место, укусит его муха, то получит должный отпор (*купи* — а тогда занимай), свобода быть бедным и голодным нерушима, требует к себе уважения, соблюдения *прав человека*, которые так близки нашим *борцам*, потому и подкладка, изнанка так же выразительна, как сама ткань, сукно, из той самой шерсти, на которой сидит как его там, в общем, не последний человек на родине капитализма, в английском парламенте. Так вот, у нас считалось раньше, так быть не должно. Умирай себе в лагере, но со справкой, по правилам, даже с реабилитацией, *если заслужил*, а на улице не смей. Во всем должен быть именно этот бюрократический порядок, который мало-помалу пережевал идеологию, заполз в ее шкуру, стал единым целым, и изнутри переварил жилистую идею *подлинного пролетарского гуманизма* в какие-никакие калории для жизни *гуманного пролетариата,* а, говоря о народе, уместнее еще раз подчеркнуть — *добродушного*. В этой стране притчи о Павлике и Тимуре сплелись, как две гибкие нити одного провода, обе — половинки его существа, источники энергии — немыслимые друг без друга, какой стороной не включай, а результат един. Скажешь — *кто не работает, тот не ест* — социализм. Не так? Не той стороной воткнули. Ладно — вытащим, повернем, теперь правильно? Вот он — либерализм, а все равно — *кто не работает* (в администрации, брокером, на фирме) *тот не ест*. Правда, уточнит раздраженный критик — еще не учится, не лечится и похоронить не на что, а в ответ услышит — зато с *правами человека* и полной свободой выезда. Не бывает

завоеваний без потерь. Но те, кто съездили, говорят твердо, есть о чем *поспорить, подискутировать*. У них — порядок, законность, а холод душевный такой, что зубы стучат, *экзистенциализм*, у нас — хамство, блин, …, словами не передать, но красота при этом невыразимая, *соборность,* хоть танк заводи, хоть веник березовый запарь, а ангелы ликуют. *Благодать*, ё — моё.

У актрисы тоже не было лишнего времени, далеко ехать, да и лучше постоять в нужном месте с толком, чем болтаться в поездах. Старушке уступали место без вопросов, молодежь уступала, книжки захлопывали, *ой, бабушка, садитесь,* очень она была *настоящая. Умиленная.* Такой, что-нибудь хочется сделать хорошее, косыночку, что-ли на голове поправить, волосики пригладить седенькие, пока она сидит на кожаном, откинув слепое личико, только губы шевелятся, быстро-быстро шевелятся, а поезд тут-тук, тук-тук, дверцы лязгают, едут густо, *Господи, а эта куда же*. Потому и подавали старушке хорошо.

Актриса эта — Ксения Николаевна недавно потеряла одного человека, сама виновата, не мог выбрать между ней и женой, ныл, не может *там*, но и она должна подождать, она и ждала, теперь удивляется, злится на себя тогдашнюю, а ответ один — *любила*, может быть, и перетянула бы, но жена заболела, поняла, как удержать, она его отпустила — *иди.* Как? Почему? Ты хочешь, чтобы я считал себя *подлецом*? Подожди еще. *Иди.* Она сама себе удивлялась — черствости, а потом поняла, все эти метания, объяснения, *конспирация* (даже такое слово пошло в ход), постоянная оглядка на часы, вранье — без этого не бывает, кто-то кому-то, но обязательно врет — сначала они — союзники, а потом каждый по себе, даже недоверие — этот неизбежный загрязнитель отношений (можно привести сравнение, сейчас реклама стиральных порошков, прямо оттуда). А-а, да что теперь вспоминать. Выгорело без следа.

И что же? Осталась одна. Совсем одна. Сын жил в России, за границей, это серьезно, нужно привыкнуть — *Россия — за границей.* Менеджером служил по продаже немецкого пива. Считалось хорошо, очень хорошо. Сначала она не верила, *как? пиво?, это — хорошо?*, но он ее сводил к себе на работу, действительно. Сервис, немец в розовой бабочке. Зер гут. Сын, кстати, приезжал в Киев, брал *Оболонское светлое*, клялся, не хуже немецкого. А немецкое светлое — лучшее в Европе. Общепризнано. Кое-чего мы добились. Ему, кстати, здесь предлагали, но жена московская категорически против. Если бы еще московская, сама чуть не из Обнинска, но тоже москвичка *считается*. Половина зарплаты уходит за квартиру, но не жалуются, скоро его в Германию обещают послать на стажировку.

По пиву — так по пиву. А по станкам лучше? По нефти? Все зависит, как устроишься. В общем, тут все нормально. О себе пора думать, но когда дергаешься, толком не выходит. Потому она и не суетится, хоть нужно себя уговаривать. Считается (так она себя убедила), что она даже любит это состояние, которого страшатся — быть одной. Говорят — для женщины неприлично. Но отбросим предрассудки, жизнь идет себе и идет. Нужны усилия, самодисциплина. Незачем загадывать. Все равно — нужен этот внутренний тормоз, без него не обойтись, кто-то должен внутри повторять — *спокойно, спокойно*. Нужно постоянно отвлекаться, заполнять себя всякими заботами, обязанностями. Очень хорошо, когда *есть дело,* но и тут беда, Ксения Николаевна — человек неделовой. Знакомые дамы с похожей судьбой нашли себя в бизнесе, квартирами торгуют, дым коромыслом, посредничают, зашла недавно на день рождения, у той подруга сидит, ножки, как спички, еще и кривые в цветных колготках. И что же? У нее с мужем фирма по торговле цветными металлами. Он как раз звонил из Вены. Сигарету раскурила, ушла в ванну разговаривать. А для остальных в комнате вроде ничего не случилось, но есть напряжение, а в нем подавленность. Все, вроде бы, в одинаковом положении — коньячок пьют, но у кого-то пока дело идет, *варится*, акции растут, проценты, готовая продукция, а у других время вхолостую, пьешь — и дальше пей. Ксения Николаевна хозяина пожалела, там еще два доктора наук были, и оба стали какие-то жалкие, говорят рассеянно, запинаются, думают о другом. Как изменился мир, раньше — *доктор наук* — и там дураков хватало, но каков звук. Ее, кстати, бывший любовник — тоже *доктор*. Ну и что? Кто от этого счастливый, довольный? Он сам? Грызет себя. Поседел, изолгался. Этот с цветными металлами содержать может, в Вену прокатит. С евреями хорошо, они с женщинами мягкие, обходительные, *благодарные,* сидит себе в гостинице, считает на калькуляторе, контракты листает, а ты пока по магазинам. А вечером театр, ресторан. *Венская опера.*

Чего это она Вену вспомнила? Можно подумать, была там. Вот так, чуть отпусти воображение и покатит, пойдет крутить, как вода мельничное колесо. Лучше не заводиться. Говорят, женский организм чувствительнее к алкоголю, привычка образуется быстро. Но если взять рюмочку, просто посидеть на людях, в кафе, теперь их много. Это расслабляет, то что сейчас нужно. Вернуть себе благодарное ощущение жизни без надрывов, без самоедства, без дурных запоздалых упреков — к нему, к себе, какая разница, просто ощущение, как у врача, после удачного лечения, застегиваешь пуговички, подсаживаешься к столу, еще чувствуешь на животе его мнущие пальцы, кажется, для здорового

ерунда — *нигде ничего не болит,* а какое это счастье. Чего тогда еще? Потому актриса завела со старушкой такой порядок, ставила ее на место, еще подходила проведать, а потом отправлялась гулять — благо в Киеве везде есть — где, сидела, расслаблялась, пару раз проведывала старушку, как она. В ее обязанности это не входило, ясно — ее дело привезти, поставить, а потом вовремя забрать, через четыре часа, больше старушка уставала. Навещать — это и в голову не приходило, но она навещала. Она и привыкла к старушке, хоть та особой доверчивостью не отличалась, а это обижает — вот, значит, я к тебе по доброму, а ты так. Но на старых обижаться — грех. Старушка сама носила затертый ридикюль со щелкающим замочком, в него ссыпала подаяние, а если были бумажки — разглаживала каждую и клала в отдельное отделение, кстати, бумажки давали часто, и актриса стала о *народе думать лучше*. Не сразу Ксения Николаевна уговорила отдавать ридикюль ей, пообещала, не заглядывать, вот еще, не хватало пересчитывать. За вывод она брала в тот же день, еще неизвестно, как завтра, лучше, чтобы сумма не накапливалась. За такой труд немного, но хоть что-то. Искать занятие, конечно, нужно немедленно, как раз пока передышка, не будет же она *всю жизнь* этим заниматься. В театре — швах. Труппу сокращают раза в два, за место нужно постоянно бороться, входить в группировки, льстить, подлаживаться. А теперь вдвойне. Все их партийные дамы, функционерки оказались во главе перемен, борцы за права человека, всех *преследовали*, вплоть до партийной секретарши — неясно, кто мешал (как сказал местный остроумец, не могут никого найти на роль мракобеса), пять лет назад за Коллонтай сражались, за Арманд — та вообще *секс — символ, дальше, дальше, дальше,* они то уж подлинные, и, вообще, как Крупскую сыграешь с ее данными (а еще раньше уверяли, *высший смысл* в том, что оттеняет образ вождя, *внутренний свет,* потом уже взялись за Инессу), но не успели переделить *наследство* (наш киевский *автор* — в театре не говорят — *драматург*, настрогал к современной Лениниане, приносит — *не актуально,* сами же заказывали, министерство — *уже не актуально, вот так,* на год, говорит, *опоздал*), теперь *Боже царя* запели, только-только и осеклись, не подходит для нового государства. Есть у них одна, мужа сюда секретарем из Москвы перевели, она с ним в партийном порядке, нужно было видеть их главного — *искусство не прощает лицемерам* — его слова, *искренние*, что тут говорить, роли с ней согласовывал, *советовался*, высокая политика (так, он объяснял, удается обойти министерство, при такой *крыше* они не пикнут — и то правда), теперь, о чем это я? а-а, Ксения Николаевна сама видела, а как иначе поверить, эта самая в фойе,

молодой человек ей *ручку*, коммерсант с виду, молодчик, а она ему перчатку на голову, глаза закатила, и с придыханием, *храни Вас Бог*. Королева мать. Полные сумерки. В театре ей — Ксении Николаевне места нет, уже не звонят, все, кто мог, в Германии, в Израиле. Тоже хнычут — не сладко. А кому сладко? Нужно искать работу.

А пока — вот это дело, непривычное, неудобное, морально неудобное — кто мог подумать, что ей, Ксении Николаевне придется заниматься подобным *выводом*. Но свыклась, месяц прошел, второй на середине, и они — *люди живые* почувствовали себя ближе, не то, чтобы любовь, конечно, нет, и не дружба, а, вот точное слово, *привязались* друг к другу. А это — всегда открытие. Старушка — от того, что слепая и все время на людях, обнаруживала необычайную чуткость, не сопереживание, а именно редкое свойство — предугадывания. В каком-то виде оно существует у животных, но там оно инстинктивное, *безрассудное,* у человека отпало вместе с хвостом, хранится где-то глубоко в *бессознательном*, оттуда не достанешь, а так чтобы проявлялось и в сочетании с умом — это, конечно, редкость, *дар*. Старушка на одном месте могла десятый раз споткнуться, хоть должна была уже запомнить, а говорила иногда, вроде, невпопад, но так, как это передать? человек идетидет, а потом вдруг встанет и начинает хлопать себя по карманам с растерянным лицом. Вроде бы и забыл, и вспомнил одновременно. Совершенно неожиданно. Такие случаи в мире известны, причем, именно со слепыми старушками, даже войну могут предсказать, не то, что судьбу. Слепые — они ближе к Богу, еще издавна известно из Библии, глаза прикрывали те, кто удостоился, а тут и закрывать не нужно, сами *не видят*. Общий портрет таких ясновидящих (вот замена *нашему* зрению) составить трудно, но про старушку еще можно сказать точно — была суеверна. Тринадцатого числа боялась, хоть, что ей *то* число. Был в прошлом месяце договор, Ксения Николаевна явилась, а та — нет. По радио услыхала — тринадцатое. В этом месяце сама Ксения переспросила, ни — ни, тринадцатого она дома, только бы тихонько пересидеть. А как же Господь? Для атеизма — предрассудок, а для веры — прямая ересь. А вот Он и учит — *Дьявол наследил, а ты умнее будь — обойди.*

Все это *так*, мелочь (потом оказалось, что *нет*), а пока Ксении Николаевне она предсказала главное событие жизни — встречу с Арнольдом Петровичем. — *Походи, походи, не стыдись да не ленись, мне — добро, тебе — счастье.*

Пока старушка дежурила в метро, Ксения Николаевна пару раз на пляж заглянула. И скисла, там тоже перемены, девочки

разгуливают, как с другой планеты, купальник не на всякой, верхняя его часть. Куда ей. И желания нет, и зависти (она проверила мысленно) и возможности, честно говоря, уже явно не те. Природа мудро поступает, соразмеряя желания с возрастом, обратная сторона инстинкта, который не только влечет, но и смиряет. Нудисты где-то затерялись в кустиках, скромно, обязательно своими компаниями, под опекой мужчин — вегетарианцев, как правило, на женский пляж Ксению Николаевну никогда не тянуло. Пока она осматривалась, отошла недалеко, села, даже не переодевалась, тут же рядом пристроился. Аполлон в джинсах, торс, как в музее, дотронуться хочется. И сразу, почти откровенно, без игры, свою руку на ее, повел на бедро. Она сначала даже не поняла, Боже мой, *это он с нее деньги хотел*. Оказалось, по неведению она забрела на пятачок, где именно такие дела решаются, запросто. И где? На былом чинном семейном пляже, оплоте физкультуры и отдыха. Сейчас так. Всему свое место. Она села *не там*. Но раз место есть, *значит это кому-нибудь нужно*. Помните, *если звезды зажи-гают*… Так что ничего удивительного, нечего возмущаться, как раз в этом современная терпимость, *культура*. Это ей объяснил Арнольд Петрович, она на него наткнулась, когда выскочила из *джунглей*. Ничего подобного, никакие не джунгли, наоборот, предельно деловые отношения. Еще удивился, когда она по свежим впечатлениям высказалась. Аркадий Петрович сидел возле моста, ел подтаявшее мороженое, смотрел, чтобы не капнуло на брюки и туфли, и одновременно изучал жизнь. Арнольд Петрович отметил ее волнение, *праведность*, именно, эстетику, *невинность*. Арнольд Петрович был режиссером и сейчас готовился ставить спектакль, только не решил еще какой. Спонсор давал деньги с единственным условием, чтобы некая Лариса Петухова обязательно была в главной роли. Классика или современная — все равно, Петухова верила в Арнольда Петровича, выбрала его и доверила ему это ответственное дело. Про Петухову Арнольд Петрович выразился так — что есть, то есть — и еще добавил, чтобы полностью определить отношение. — Сырой материал, но бывают хуже, намного хуже. Лариса Петухова когда-то была студенткой Арнольда Петровича, он вел в институте курс. С ней нужно терпение, работать, много работать и может получиться. Она это понимает, это ее *шанс*. Со спонсором, как в старое доброе время, но спонсор что? ракета, дал ускорение и отвалился. А дальше сама. Хорошо, что так. Гусары вывелись, банкиры остались. Но это *их дела*. А вот как вы?

Последние слова обращены были к Ксении Николаевне. Арнольд Петрович мороженое доел, аккуратно сложил бумажку,

вытянув вперед руки, как дальнозоркий, урночку нашел, на асфальт не бросил, и ей предложил угощение, выбрали среди всех лотков самое твердое в шоколадной глазури. Ксения Николаевна согласилась с удовольствием, жара, самое время остыть. Нужно было видеть Арнольда Петровича — свежего, благоухающего, легкого в манерах, только из-за границы, из Мюнхена, где был на фестивале, вернулся полный творческих планов. Он заканчивал режиссерский на два года раньше, не прославился, не дотянул до гения, но имел ровный успех, Арнольд Петровича знали. В жюри его приглашали, вот теперь человек предложил спонсорские средства. Это — объективная оценка. Разговаривали они с Ксенией Николаевной раньше мало, даже странно для знакомых, занятых одной профессией людей, но по работе не пересекались, только случайно. И Ксения Николаевна — человек, как мы уже знаем, гордый, замечала у себя подъемы настроения от таких встреч. Бывает, что столкнешься случайно, и тут же забудешь, ни жарко, ни холодно, а, бывает, вроде бы ничего, улыбнулись, почти не останавливаясь, на ходу, чуть перехватит руку повыше локтя, приобнимет, пустяк, знак внимания, почти, как на счастье, и, правда, в душе светлеет на несколько часов, ничего, как будто, не произошло, даже не объяснишь так сразу, почему, а градусник показывает — теплее. (Арнольд Петрович позже признался, что и с ним было похожее, это они в себе открыли оба). Потому были основания, чтобы отметить нынешнюю пляжную встречу. Оказалось, Арнольд Петрович даже рисковал, мог упустить шанс. — Я вас недавно видел, — сообщил он. — Это матушка ваша? В метро. Думаю, только помешаю. Зато теперь не отпущу. Правда, не отпущу.

Ксения Николаевна не смутилась, а последнему обещанию *не отпускать* обрадовалась. Подвозит она одну старушку. Сейчас не зазорно. И Ксения Николаевна рассеянно продолжала: — Из нашего дома, соседка. Пристрастилась просить. Живут, вправду, бедно. Нужно иногда забрать, домой вернуть.

— Замечательно. — Согласился Арнольд Петрович. — Христова невеста.

— Что, что?

— Те, кто побираются. Достойно сочувствия. И ваша миссия благородна. Хоть вы, между прочим, должны за это деньги брать. Да, да. — Ксения Николаевна промолчала, а Арнольд Петрович продолжал — Удивительное занятие. Вроде, и не труд, а попробуй, просиди так четыре часа.

— Она стоит.

— Стоит? В таком возрасте. Так это вообще, каторга. Как Симеон Столпник. Это прямо подвиг.

— Вы что — религиозный?

— А мы разве на вы? — Удивился Арнольд Петрович. — Ну, ладно, прошлое не будем ворошить, но с этой минуты исключительно на ты. Не знаю, наверно, религиозный. Бабушка крестила. Вот за что благодарен. Папа с мамой отдыхать, а она крестила. Зато теперь — и партбилет, и крестик.

— Не мешают?

— Ничуть. Две веры, как одна. А сколько их пожгли. Люда (жена, она поняла, по тому как он осекся, заноза посреди гладкой, плавно льющейся речи) говорит, неси, сдавай. А у меня дед без ноги. Я помню вернулся, у него этот, как его, остеомиелит после ранения. Перевязки, запах, пардон, по всему дому. Отрезали ногу. В детстве эти костыли хорошо запоминаются, падают часто, стук от них. Так вот, он этот партбилет получал на фронте. Я решил, сдам — это предательство. Ни эти райкомы, *хреномы*, — тут он еще раз покосился, но Ксения Николаевна кивнула, ничто так не воодушевляет мужчину, как это понимание. — Не сдал я, и не жалею. Наоборот.

— Как это, *наоборот?*

— А это — интересное чувство, из актерских, когда нужно за себя прожить и *за героя,* и так, чтобы, по возможности, совместить. Видишь себя со стороны, *без грима*. Так вот, чувство теперь, что я — порядочный человек. Это — честно. Сохраняешь самоуважение, а мог и потерять. Я к КПСС без симпатии относился, *нужно было*. Но состоял? Состоял. Так теперь что — бежать, раз кормушка закрылась? Я же сам писал в заявлении: *клянусь, обещаю*. Никто меня за руку не тянул.

— И с крестом?

— Да, с крестом. Сохранит от заблуждений. Но что мы так сидим? Пошли, по коньячку. Или пива? Вот время благодатное, выбирай, что хочешь.

— Может, от того, что *побросали*? — В Ксении Николаевне был этот нерв, жилка противоречия, *в интересной женщине* не поймешь, может, от гордыни, а может, от неуверенности, что вот пока хорошо, а ведь закончится, так лучше держать дистанцию, чтобы легче собой управлять.

— Ложное мнение. Я думаю от того все и появилось, что они билеты побросали. Коммунизм наш был это — что? Середина на половину — пятьдесят процентов — на номенклатуру, на пятьдесят — всем остальным — медицина, образование, отдых (они д*о*суг говорили) и, удивительно, крутились кое-как. А теперь фокус-покус — угадай, в какой руке. В правой? Пусто. В левой — пусто?

Арнольд Петрович не только говорил, но еще показывал. Брал

руки за спину, вынимал кулаки, протягивал, а потом раскрывал пустую ладонь. — Было общее, а стало чье? На все сто. Остальным — не хочешь — не надо, а хочешь — не заслужил. Вот люди и забегали, а что делать. Теоретики нынешние говорят, так и было задумано, как в семнадцатом, на два поколения вперед. Только там — *грабь награбленное*, а тут… грабь, что старики заработали. Чье же это? Ничье, говорят. А раз ничье, тогда, конечно… — Арнольд Петрович неожиданно ожесточился, разлетелся в негодовании, и как споткнулся, замолк какой-то весь подавленный.

Нравы переменились. — Сказала Ксения Николаевна, про себя подумала, какие мужчины слабаки, но с теплом, сочувственно к этому именно мужскому сочетанию силы и слабости. Себя она знала (хотя бы упрекая задним числом), могла различить в этом сочувствии признак крепнущего неравнодушия. Нужно еще сказать, что Арнольд Петрович был хорош собой с крупным выразительным лицом, он даже снимался эпизодически. Такого мужчину можно и пожалеть, если он *позволит*.

— Это точно. — Согласился режиссер. Пожалуй, слишком быстро, не хотел продолжать разговор.

Тогда они провели часа два, пока не пришла пора снимать с места старушку. Теперь Арнольд Петрович говорил о специфических проблемах собственного искусства, кажется, ставь, что хочешь, снимай, что хочешь, а реализовать очень непросто (это слово *реализовать* — он и употребил, к разговору о творчестве и слова нужны подходящие, *масштабные*). Пили они пиво, рядом с речным вокзалом. Было очень хорошо, и в воздухе — свежо от реки, и в самой себе, как если бы в душе — самом загадочном месте у живого человека открыли форточку и теперь *там* проветривалось. Говорили на значительные темы, об искусстве, собственно, Арнольд Петрович почти сам все и говорил, наслаждаясь вниманием собеседницы, а потом, когда прощались, он вдруг сказал грустно, *жалобно* и посмотрел при этом в стол. — А от меня жена ушла…

Ксения Николаевна только рассмеялась, так это было нелепо, может, проверял на ней какую-то свою творческую находку, готовил мизансцену. Жена ведь была не простая, известная, в телевизоре постоянно мелькала. Потому Ксения Николаевна сразу не поверила и постаралась подыграть. — Ой — ё–ёй? А к кому, позволю спросить? Неужели к тому разбойнику, шо имеет два вида икры с одной рыбы и красную и черную (эту историю она недавно слышала и собиралась Арнольду Петровичу рассказать, но он *заговорил*).

— Нет и вправду. Взяла и ушла… именно к разбойнику… из

нынешних… — Подтвердил Арнольд Петрович и неожиданно добавил. — Я еще вас хочу увидеть.

— Это можно. — Сказала Ксения Николаевна, про себя она подумала. — Пожалуй, то, что нужно. — Сердце отозвалось лишним ударом, подтвердило.

Вот вам и подарок. Они еще встретились спустя два дня. И провели вместе несколько часов. Сначала была страшная духота, потом разразился неслыханный дождь — они пересидели его в кафе, а потом вновь вышло солнце и принялось убирать следы недавней непогоды. Асфальт высох на глазах. Арнольд Петрович сказал, что благодаря погодным капризам, они прожили за день — сразу три. Он нежно поцеловал ее. Он почти не курил, но горький привкус табака чувствовался. Это запомнилось, как бы отдельно, какое-то ощущение всегда запоминается сильнее остальных — и не самое значительное, а живет дольше — такой *сувенир*. На следующий раз он пришел к ней. Тут случилось нечто любопытное, почти смешное, если взглянуть с расстояния. Он прошел мимо скамейки, где Ксения Николаевна любила отдыхать одна, прошел себе и прошел, казалось, не обратил внимания, потом вдруг развернулся (она ничего не говорила ему про эту скамейку, он даже ее подъезд еще не знал), глянул (у режиссеров и художников — впрочем, одно и тоже, есть эта привычка всматривания в обычный, заурядный по нашим меркам пейзаж), ее придержал за плечи, описал в воздухе круг указательным пальцем и изрек очень значительно, для истории: — какой удивительное место. Вот так у нас всегда, *чудо*, посреди обычного двора. Сколько поэзии. Береза. Нужно будет Петухову сюда подвезти.

— Только попробуй. — Сказала Ксения Николаевна. Она уже знала его характер, немного, остальное подсказал опыт. Должен же быть хоть какой-то прок от этой нелепой жизни. — Только попробуй. Здесь, между прочим, был раньше индейский городок. С частоколом. Так я восстановлю. И посажу тебя на самый высокий кол. Или нет. — Ей показалось мало, и она ткнула красивой рукой прямо в Арнольд Петровича. — Голова твоя будет сидеть. — Голова у режиссера была полуседая с нерастраченной шевелюрой, настоящая актерская голова, даже на колу она должна была смотреться, если без этого варварского интерьера нельзя будет обойтись.

— Что я такого сказал? — Арнольд Петрович опешил.

Вместо ответа Ксения Николаевна подошла совсем близко, прижалась к нему и застыла на на виду всех многооконных домов. Это бы украсило финал, а пьесу они должны еще придумать. — Все, что ты сказал, замечательно. Ты видишь, как я

тебя слушаю, каждое словечко. Но, что я ответила, тоже важно. Учти.

Все сомнения Ксении Николаевны вокруг поспешности их отношений к тому времени отпали. Вечер они провели вместе, долго целовались, не спешили, именно, как влюбленные, как много значит постепенное узнавание, он был очень нежен, и когда на следующее утро Ксения Николаевна проснулась в его объятиях (именно так, обнявшись они и спали, он теперь уютно похрапывал), Ксения Николаевна почувствовала себя счастливой.

Потом в переходе появился конкурент. Старик нищий с косматой шевелюрой сидел боком на ступенях, а рядом за поручнем, который был предусмотрен для немощных, неспособных подняться наверх самостоятельно, за этим полезным приспособлением, ставшим отчасти недоступным из-за самовольного захвата полезного пространства, торчал наискось костыль. Большой солидный костыль с седлом для подмышки и, что интересно, почти новый, частично из металла. Сначала старик даже казался упавшим, так каменно он оседал, привалившись грязным пиджаком к стенке в мелких плиточных изразцах. Потом уже становился понятен этот расчет позы, ее затверженная безнадежность, диалог, который можно установить не только словом, но жестом, самой понурой бессильной посадкой, капитуляцией, сдачей на милость всех остальных, в чьих карманах еще задержалась копейка, а в сердце — жалость. Он сидел в этой неизменной позе, низко опустив голову, не показывал лица, спал или нет, наверно, спал, что еще делать вот так, час за часом, хоть можно предположить (Арнольд Петрович так предположил), что душа его временно замирает, *успокаивается*, возможно, даже отходит неподалеку из любопытства, такие случаи бывают, возьмите, сон, вернее, не сам сон, а его отсутствие при уже отключенном сознании, приближение, а где тогда душа? вот именно, *витает* (это Арнольда Петровича аргумент), а на месте, по факту присутствия обретается лишь плоть, обряженная в старый пиджак, брюки (если всмотреться, было видно что это брюки) или, если учесть отсутствие складки, штаны, которые когда-то были брюками, по крайней мере, какая-то неопределенная ткань на составленных плотно и подтянутых к подбородку ногах и черные туфли, идущие пузырями, и даже носки, во всяком случае, не портянки, а матерчатое покрытие, одинаковое с двух сторон, свалявшееся в трубки, между туфлями и бахромой сверху. Все это было серого, пыльного цвета, кроме блестящего костыля и сивых густых сваленных на лоб волос, вообще, бедность сродни серости, изобразительные возможности языка не зря петляют в этих

закоулках — цвета, сумеречного ощущения, самой метафоры заурядности и неудачи. С кем его было сравнить? Ну, конечно, идеальный натурщик для реалистической русской живописи прошлого века. А старушка стояла напротив, в привычной позе, расставив ноги, вытянув вперед руку с иконкой, и задрав голову с высушенным личиком, выдвинутой вперед челюстью, втянутыми щеками, обозначившими беззубый рот — классический пример завершенной жизни с ее простыми желаниями — пожевать кусочек, обогреться и отдохнуть. Если бы кому-нибудь пришло в голову открыть памятник бедности, то так и нужно изобразить на низком постаменте, почти вровень с землей, две фигуры — старушка с протянутой рукой, вцепившаяся ногами в твердь, в некотором уже прорыве, к небу, и старик рядом на ступенях с упавшей головой, боком, привалившийся к стене, с подтянутыми к подбородку коленями, готовый *свернуться калачиком,* обратиться вновь в позу эмбриона и так проследовать в обратный путь к зачатию, к мигу любви и далее, раствориться, истаять ничтожным отблеском света, песчинкой в черном небытии. Образ этот настолько совершенен, читается так убедительно и легко, *реалистически*, в отличие от сложных метафор или откровенной беспредметности современного искусства, что, кажется присутствует всегда и захватывает сразу самого неподготовленного, случайного человека, подтверждая, что подлинное *искусство, действительно, служит народу*, если буквально запечатлеть, ухватить миг нашего беспокойного бытия. И этого достаточно. Красота доказательства говорит сама за себя. Вот пример. Глава администрации — *префект* проезжал по вверенному району, *готовил его к зиме*, заглянул в переход на предмет реконструкции, попробовал ногой выбитые ступени, люк канализации, сквозь который смутно блестела жижа, (хорошо, что закрыто, предупреждал — *приеду — проверю*, а то переложили крест-накрест палками, тряпку красную воткнули, а кто ее видит, когда темень, а ведь тут — *наши люди*, повертел головой под зачерненным, будто сажей, потолком, прошелся, осматриваясь, и вдруг застыл, да, да, именно так — застыл, замер, завидев напротив на ступенях в квадрате света описанную выше композицию. Занятый человек и убежденный демократ, он встал — неторопливый, осененный глубиной образа, *залюбовался*, и приказал референту строго, чтобы и пресса услыхала: — Ты запиши, а то забудешь. Найди парочку бизнесменов — наших хлопцев, шо они зря хлеб едят. Бери за шкирку от моего имени, пусть деньги дают, запечатлим, шо большевики с народом натворили. А милиции скажи, не трогать. Начнем купоросить, сами утекут, а пока пусть сидят…

Дал указание и повернул назад, просчитав на ходу тонкость ситуации. Выйти напротив, нужно будет дать копейку и старичку, и этой старушке, прямо как памятник Гагарину, крылышками буквально *шмяк — шмяк — шмяк — шмяк*, как в песне, и полетит. Дать не жалко (жена говорит, кстати, что постоянно дает и за себя, и *за него*), но как он будет выглядеть в своем районе или, пардон, *префектуре,* на глазах у ехидной прессы. Вот должность, даже жалость нельзя проявить — *извратят*. Хоть взял *своих*, но и тех *не вводи в искушение*. Так, кажется. В Евангелии цитат не меряно, как в книге *мудрых мыслей*, что от Матфея, что от этого, как его, Луки, не меньше, чем у Ленина, *для практической работы*, нужно изучить, как следует, скоро все спохватятся. А пока он повернул назад. Ничего, нужно будет запомнить, перед выборами проехаться, не деньгами, конечно, но что-нибудь такое придумать, *для народа*.

Почему так произошло? Нужно видеть эту связь между случайными буквально не совпадающими друг с другом событиями, явлениями, видеть незамутненно, догадываясь, что именно в них — подлинное глубинное течение жизни, ее тепленький греющий Гольфстрим. Нужно только угадать это русло и пристроиться, выкроить себе местечко на вечнозеленом берегу. В этом суть для умного человека, а не очевидных, мельтешащих в глазах, впечатляющих будто бы фактах, выпирающих, не дающих усидеть, как пружина в старом диване. Те видны, болтают, выворачивают порой, как морская болезнь, крик, стрельба, вздернутые кулаки, *ну и что с того*. Подлинную таинственную связь следствий и причин, их результат определяют не они, здесь глубже, неоднозначно, наощупь, здесь заповедная тайна, как говорят теперь, *мистика.* Без этой мистики никуда. А все ведь просто. Все как-то просто или нет, но взаимосвязано между собой, как не отдалены друг от друга, эти узелки, ячейки, но они единое целое — порвется в одном месте, а где-то далеко уже пошел перекос, еще ничего не заметно, кажется ничего и не произошло, а уже трет, уже жмет и чувствуется. Нашли Ксения Николаевна и Арнольд Петрович друг друга и вот уже нарушилась транспортировка старушки на далекие объекты, пришлось приставлять к ней другую женщину, а та — безответственная — свои дела, хотя, какие свои, когда тебе платят, ты же не одолжение делаешь, один раз не забрала, пришлось девочкам ехать, старушка перестояла два часа, хорошо, что под крышей. Пьянчуга, хоть бы смутилась, хоть бы совесть имела. Считает чужие заработки, а ты постой сама, постой, пусть подадут с твоей мордой опухшей. То-то и оно. Не стало отзывчивости Ксении Николаевны и порвалась связь.

Или вот еще. *Это — вообще.* Петухова разругалась со своим спонсором. Прямо в казино. Нужно было еще раз поставить, всего только раз, она сама больше не хотела, но последний раз. Нужно было? Она бы обязательно отыгралась. Она чувствовала. Чувство актрисы чего-то стоит? Нет, вы скажите! Или проще самодурствовать? Оскорбить? Еще один раз, последний. А он — хватит. *Уже хватит.* Правильно говорят — *не поверила своим ушам.* Как это хватит, когда женщина просит? С кем это хватит? Ты что? С Петуховой? Да, пошел ты со своей фирмой по предоставлению услуг. Хватит! Ну, так и не надо твоего спектакля. Обойдемся. *Коз — зел.*

Арнольд Петрович, как стоял, так и сел, когда услыхал. Не смог стоя перенести. Даже лицо руками закрыл, потом пальцы раздвинул и сквозь них так скорбно глазом послал вопрос. Лариса, что ты наделала? Что наделала — то наделала, все мое.

Видели когда-нибудь, как падает с мраморного камина большая великолепная ваза мейсенского фарфора с рисунком из пастушеской жизни? Не видели? Но все равно, вообразите тогда без вазы, чтобы не подбирать других сравнений. Вот так разбился спектакль, который Арнольд Петрович вынашивал под сердцем. Многие явления неожиданны в нашей жизни, но самые главные, *фундаментальные* случаются точь в точь по биологическим законам. Россия беременна революцией, женщина ребенком (теперь даже пол можно предсказать заранее), а мужчина — своим творчеством. Вот здесь непредсказуемо. И тут же пример — нынешний факт. Только взял старт, пришпорил, разогнался и на всем скаку, буквально, через голову. Взбалмошная баба. А тот — жлоб, меценат называется, надежда культуры. Не хотел Арнольд Петрович связываться, как чувствовал. Так, нет. Змея. Арнольд Петрович — вы гений. Нет, правда, гений. Какие у вас красивые руки, как у Бетховена. Теперь она в круизе, как ни в чем не бывало, а Арнольду Петровичу самому впору старушку за узду выводить. Где деньги? Что делать? Хоть на еврейке женись, так тоже рассосались, через газету ищут, повышенный спрос. Нужно в провинцию ехать. Да и там, через *Пенсионный фонд*, других не осталось. По телевизору говорят: *Рабинович*, а молодежь не смеется, не чувствует соль анекдота. Теперь можно рассказывать, так нет Рабиновича. Смешно, нужно запомнить. А что смешного? Хорошо, что Ксения рядом. Сейчас на кухне, готовит баклажанную икру, уже запах пошел, а все равно — рядом. Можно подозвать или самому подойти, обнять сзади, вдохнуть. Она поймет. Все хорошо, хорошо. Нет, правда, хорошо. Вон, стоят у подземного перехода, с балкона Ксении хорошо видно. Вот финал, итог. А они выберутся. Телефон звонит. Он оставлял

координаты. Да, да. Вы же знаете расценки *заслуженного*. Я понимаю, понимаю, *какое сейчас время*. Хорошо, я согласен. Плюс проезд и суточные. И еще. Есть одна замечательная актриса. Не можете? Ну, хотя бы жилье. Умеет все. Макияж, портниха, секретариат, шведский стол. Уверяю, она будет полезна. Договорились? В понедельник встречаемся сразу на вокзале. До свидания.

Ксения, Ксения, бросай свои банки. Едем на фестиваль. Нет, не конкурс красоты, еще не хватало *сиськи обмерять*. Никакой я не пошляк, *нормальный мужчина*, но это — потеря квалификации, как ты не понимаешь. Настоящий фестиваль, настоящий, *о — о, мамма миа*. А меня зачем? Как это *зачем*? В жюри. Арнольд Петрович подошел к зеркалу и долго стоял перед ним, поднял подбородок, медленно повел головой в одну сторону, замер так, теперь в другую. Казалось, любовался, настроение должно подняться, а он взял и тяжело вздохнул. Накатило *гражданское чувство*. Загубили искусство, сволочи. Ну что ж, в жюри, так в жюри. Только и остается.

Удивительное дело. Полностью в пику, под нос экономистам. У нас, такие мы необычные, все решают не деньги, а люди. Разладилось у Ксении Николаевны, то есть, не разладилось, конечно, но нашла она свое счастье, и уже на *нашем фронте* — катастрофа, прорыв вражеских сил. Не могут найти сопровождающего. Нашли, конечно, но не то. Сама старушка жалуется, совсем другое отношение. Дергает, ведет нервно, на ступеньках не всегда предупреждает. Торопится, лишь бы скинуть, а старушке еще работать. От огорчения даже голосок пропал, раньше какой ни есть, но *пи — пи — пи,* и все про Богородицу, можно разобрать, а теперь только губами шевелит. Ксения Николаевна — святая душа даже теперь в период личной гармонии забегает справиться, соду принесла, наколоти вот в стаканчике и полощи, полощи. Ну, что ж делать, когда *люди такие*. Немного *ажиотаж* пройдет, утихнет, наладится у нее с Арнольдом, станет она *посвободнее*. Раз в три дня — всегда время можно найти. А потом — хлоп, укатила на фестиваль, видели ее Арнольда по телевизору, в жюри, как вставал. кланялся, придерживал на животе пиджак. Старушку, пока шел фестиваль, усаживали перед телевизором. Дочь — умница, как раз дома была, сама комментировала. — Вот она, вот она — Ксения. Старушка не видит, ей все равно, а дочь девочкам сделает рукой, чтобы молчали, не удивлялись и рассказывает. — Самая, самая красивая. Ты, мама, не видишь. И Арнольдик ее. Встает, вон, встает, сейчас говорить будет. Слышишь, девять баллов, всегда самую высокую оценку дает. Если человек в жизни добрый, так он

и на службе такой. Ой, повезло Ксении. С экрана в это время пели про любовь, про что же еще, и в таком сопровождении рассказ о Ксении Николаевне выходил очень взволнованным и достоверным. Радовались за нее. Слава Богу, пусть не нам, а все равно — хорошему человеку счастье. Старушке дочь наказала строго. — Мама передохни. У нас все есть. Я тебя только с Ксенией Николаевной отпущу, она хорошо присмотрит. Ты же видишь, люди пропадают, завезут в Чечню, у нас, чтоб выкупать, таких денег нет.

Но старушка проявила настойчивость. Дома чего сидеть целый день, погода пока хорошая, жара спала, лето заметно уже поворачивает к осени, *Маккавей*, мак в церкви понесли святить. Такой красоты, как в эти дни, не бывает никогда, ни до, ни после. Женщины идут из церкви, всю дорогу запрудили, облепили по обеим сторонам улицы, ждут троллейбуса и у каждой букет. Как будто Клинтона встречают. Маковые головки точные, хрупкие, как фонарики из драгоценной бумаги, кажется, светятся, за что нам такое совершенство, кажется, не заслужили. Что мы — японцы? Не японцы, а Господь лучше знает. И кругом — цветы — полузасушенные, полуживые, но зато теперь надолго, природа подбирает для себя, не на день, не на два, месяцы простоит и от каждого цветочка, каждой веточки, каждой травинки в прозрачных искорках — свое особенное свечение. От того и праздник. Ты букетик в руках сжимаешь, а он тебе самой сердечко гладит. Ликуй, душа, радуйся. Почему самой не встать рядышком. Все *Христа ради.*

Вот потому старушка объявилась возле подземного перехода, где произвела такое сильное впечатление на префекта, затронула эстетические струны, казалось, обвисшие оборванные. Так гитара висит-висит на стене, уже пыль на ней, уже скука, никто не берет, а потом вдруг тихонько дзинь-дзинь. Не задумываемся, почему. Сама себе? Не угадано. В мире каждый с каждым переговаривается, все имеет *голос* — и капля по воде, и внизу дверь хлопнула, и даже мертвый лист — лишних звуков нет, каждый что-то *значит*. Физика поучает, это — механические причины, голос связан со специальными устройствами, все остальное — только звуки, обязательно могут подсказать опытному, настороженному уху, поэту могут подсказать, но именно звуки, а никак *не голос*. Но если бы только физика определяла, скажем со вздохом, наша жизнь была бы безоблачная и прекрасная, чернозем, нефть, заплыв в день военного флота, что еще, калиево-марганцевый суперфосфат в мешках. В том и дело, что струну не бездушный закон физики шевелит, не Бойль-Мариотт какой-то, а гитарист бесплотный, бывший здесь когда-то,

может быть, совсем рядом, знаем таких, сдвинет очочки, хмыкнет, подсядет к столу, *аванти,* ребята, *аванти,* пока за него пьют, не чокаясь, он сам струночку так нежно подденет, как при жизни, а теперь только *дзинь — дзинь*. Ему — бесплотному больше и не нужно, только поговорить, посидеть *за компанию*, от того он и напоминает о себе. А тут, как всегда шумят, смеются, рюмками звенят, женщинам говорят приятное и *не слышат.* Сообразят, спохватятся, а уже нет. Вот так — *нет*. То есть, *есть,* конечно. Но прямой связи нет, даже по мобильнику…

Теперь начинается тот самый героический период, который обозначен *свидетельствами.* Обыденное явление жизни можно объяснить, описать — художественно или, наоборот, по строго деловому, как описывают имущество при конфискации — сколько там вилок, ножей, наволочек и прочего, прочего, чем государство не побрезгует.

Так вот, первое свидетельство было получено, когда Алексей возвращался с собакой с базара, где приобрел неплохую дыньку и два килограмма придавленных персиков, не гнилых, а именно давленых, что для персика служит даже знаком качества. Персики были мохнатые, тяжелые, оседающие в руке, налитые темным бордовым светом, разбавленным теплой солнечной желтизной. Персики были, что надо, продавщица пыталась уговорить Алексея купить все разом, а он по привычке интеллигента спорить и не слушать разумные доводы отнекивался.

— От тут как раз два. — Говорила очень живая *тетенька*. — А то берите усе. Еще два кило. Вы ж посмотрите, какие персики.

— Нет. — Упирался Алексей. — Столько не съем.

— Так у вас и дыня. Шо с вашей дамой не съедите четыре килограмма *таких* персиков?

— Для дамы, — говорил Алексей, несколько пыжась, гордясь манерами, воспитанием, даже, как бы рыцарством, неведомым *простым* людям, — для дамы нужно брать вот те. — И кивал на соседнюю пирамиду точно таких же персиков, но уже совсем отборных, даже без намека на возможное несовершенство.

— И те можно. — Соглашалась продавщица. — Но, я вам скажу, раз вы уже берете. Честно скажу. *Дамы сейчас едят усё.*

Удачно закупив фрукты, Алексей вернулся назад по бульварчику, мимо большой затоптанной клумбы (не нарочно, а просто не прижилась она тут), среди полдневного опустошенного затишья, как паузы между частями сонаты, мимо лавочек, где пили сейчас пиво, где отдыхали теперь, поставив сумки, лежа на коленях у женщин, где была своя жизнь в ожидании, когда сделано одно дело, а другое еще не начато, как отмечен любой летний день — сменой забот — утренних, дневных, вечерних, как

бы отдельных среди долгого светлого времени, когда надо двигаться и успевать, даже в отдыхе, даже в еде, потому что и солнце и витамины впрок на зиму, она еще не торопит, *пока*, как будто рассчитывает на нашу сознательность и трудолюбие.

При выходе из перехода Алексей отметил лицо нищего. Это был первый случай, когда старик поднял лицо. В такие лица лучше не всматриваться. Нищий — не просто живое существо — это еще и метафора, библейский сюжетец, напоминание. А живое лицо было землистое и какое-то суетливое, морщинистое, старое лицо, но *обычное,* разочаровывающее, выпадающее из образа непривычным возбуждением, сладким оживлением свидетеля, которому повезло увидеть чужую беду и, рассказав, просмаковать ее снова, без злорадства, без низкого удовлетворения, а просто с бескорыстной (и тем бесстыдной) радостью зеваки, который готов присутствовать и углядеть, что угодно, тянется к настоящему, как к воде в жару, а что может более настоящим, чем зрелище чужой беды. Свою не увидишь, не *пронаблюдаешь*, она слишком близко, а тут — зрелище из зрелищ.

Голос у него был сбивчивый, поспешный, как у обычно молчаливого человека, не готового, чтобы его слушали. — Три часа назад забрали. Стояла тут. Шур — шур, палка покатилась. А сама хоть бы охнула. Лежит. Из ларька скорую вызвали, они на улицу за три минуты. Увезли, говорят, сразу в машину. А я что. Сержант подошел, я сижу и сижу. — Все это старик рассказывал, хоть возбужденно, но голосом обычного, говорят, *рядового человека*. Потом Алексей понял, что его удивило. Нищенство предполагает особое отношение к жизни, даже отстраненное, даже *служение, подвижничество, альтруизм* — да, да, он и в падении свой, особенный, а тут старик говорил суетливым, мирским голосом (*голоском*) обывателя, падкого на заурядные происшествия, на сплетни, невинный, как муха разносящая инфекцию. От того и нищенство теперь казалось ненастоящим, не вызывающим сочувствия, даже не профессиональным, потому что, если вошел в образ, так *будь добр*. Впрочем, и событие было незаурядным, потому что — тут Алексей вдруг сообразил, *чье это место*. И собачка его подошла и тоже принюхалась к выбитой траве, обратила внимание, обошла круг пошире, как бы обозначив силуэт упавшего тела и удивилась, подняв навстречу Алексею умную морду. Потом собралась метить это место, но остановила себя, мало ли что происходит у людей. И спокойно потянула поводок дальше к дому.

А Алексей шел, подавленный событием, даже не самим событием, а его следом, почти случайным совпадением во времени с чужой судьбой, переживанием (тут интерес к себе)

степени собственного равнодушия или участия, как пробой монеты, которая не падает двумя сторонами сразу. Он шел к дому, думал о странностях случайных встреч и расставаний, мельком, между прочим, где-то на самой периферии загруженной памяти. Он предполагал обнаружить возле подъезда какие-нибудь признаки, поспешное движение, беготню, следы этой беготни. Но ничего не обнаружил. Скамейка была плотно занята женщинами средних лет, и его собака вступила в перебранку с их собаками, вертевшимися тут же, издала привычный рык, показала себя *при деле,* и, выполнив долг, запрыгала по ступеням. Значит, они еще не знают. — Думал Алексей, глядя на уютно расположившихся женщин и испытал мучительное состояние обладателя свежей новости. Но удержал ее при себе, поздоровался и прошел мимо.

Потом пришла подруга, они ели дыню и персики, совмещая с игрой, потом он принес с кухни еще персики, смотрели телевизор, новости, которые теперь шли ворохом, персики *не подвели*, оказались такие, что нужно есть вдвоем — один откусывает, другой снизу подставляет рот, чтобы сок не пропал. Они так и пытались, отчего закапали скатерть, руки были липкими, неудобно, еще и собака лезла, а по телевизору объясняли тяжелое экономическое положение, все это смешалось одновременно, тем более с коньяком, персики доели (женщина похвалила — хорошие, нужно было больше взять), потом Алексей пошел провожать, проводил, осмотрелся возле подъезда, были сумерки, вечер уже наступал почти по осеннему, поторапливал, но теплый, старшие сидели густо, можно сказать, *на своих местах*, молодежь прощалась поодаль, но никаких следов возможного проишествия ни тут, ни в лифте не нашлось. Глупо было спрашивать. Так день и закончился. Дальше совсем забылось. Хоть через несколько дней Алексей встречал старушкиных девочек, по одной, пробовал читать по лицу, но на молодом разве что-нибудь разглядишь, кроме безмятежного состояния самой природы. Среди одной семьи, если всех разом пронаблюдать, по лицам хорошо видно, наглядно, время, как песок в часах, из старого усыхающего, сыпется, перетекает в молодое, наполняет его жизнью, женственностью, само себе мера, предел, и вот уже новый переворот и еще. Алексей спрашивать не стал.

Ксения Николаевна вернулась с фестиваля счастливой. Неделю они провели в делах, в суете с утра до вечера, некогда было присесть, Арнольд был свободен, его дело — жюри, интервью, он даже из бассейна давал, держался за бортик, а корреспондентка наглая сверху *лезла*. А ей самой досталось, приехала — так отрабатывай. То встреть, то укороти, то

проследи, чтобы оркестр накормили, потом истерика за истерикой, того раньше поставили, того позже, прима — *в буфете не так на нее посмотрели*, скандал, один, как раз симпатичный, из окна на галлерее свесился, смотрел сверху на ресторан, сзади подошли, *коллеги*, за ноги и через перила, а, между прочим, высота четвертого этажа. Хорошо, что зацепился, полчаса висел, орал, думали сначала, разыгрывает. Прожектором подсветили, визг, браво. Ничего себе. За что? Думаете, нашли? Нет. А, может, и не свои. Здесь в это время *мафия отдыхает, депутатский корпус вплоть до спикера,* мало ли кто мог. И спикер мог, люди сейчас с характером, не дай бог. Зато все хором на закрытии пели под бурные аплодисменты. Про главную лауреатку Ксения Николаевна *вообще молчит.* Нет, нет, она себе поклялась не рассказывать. Корреспондент, грузин один, пронюхал и прямо, как шило. — Вы не могли не видеть. А она — именно, не видела, уходите. А он — ми — инуточку, *общественность хочет знать*. Настырный такой, заика, вроде бы. *Ми — ми — нуточку. — Не видела ничего, не знаю. Я же ясно сказала.* А Арнольд говорит. — Обычный фестиваль. Не выдумывай. Какой *импичмент*, что ты несешь. И, действительно, в газетах — почти восторг, тот же грузин пишет — *праздник удался.*

Потом остались на неделю, уже вдвоем, еще одна пара набивалась в компанию с машиной. Но Ксения Николаевна решила мудро, именно правильно, она потом поняла, другой вариант был бы хуже. Арнольд Петрович — душа общества, любит внимание, и сам достоин. Такой мужчина *на дороге не валяется*. И она рядом с ним не будет клушей. Но пока лучше побыть вдвоем. И они прожили эту неделю именно вдвоем, никого не подпускали. Ходили много, зарядка, конечно, ну, и море, море. Этот фестиваль оказался как подарок судьбы, Ксения Николаевна к концу даже могла вспоминать без раздражения, конечно, далеко не все. Ей еще предстоит после возвращения. Одна из лауреаток просила Арнольда *заняться.* Ксения Николаевна только вздохнула. А что, Петухова лучше? Это его работа. Ей, кстати, тоже кое-что предлагали, Ксения Николаевна деликатно отстранилась, дала понять, она здесь не одна. Но если, действительно, роль, если, действительно, работа, как ее уверяли. Визитку она засунула глубоко в чемодан, еще не хватало, что Арнольд на нее наткнулся. Через месяц позвонит, когда у них прояснится. Этот, правда. просил раньше. Будет видно, что загадывать. Счастье оно, как облако, движется, колышется, пока живешь так, собственной руки впереди не увидишь, растопыренных пальцев, и не нужно, блуждаешь, как во сне (некоторые, которым наяву не дано, говорят, что оно и есть —

сон), а потом рассеется внезапно, впереди свет, холодная ясность, день в декабре. *Счастье кончилось*. Так что наперед загадывать.

По приезде Арнольд Петрович почти переселился к ней, иногда только сбегал, говорил, что нужно побыть одному, хорошо, что у них есть еще квартирка. Ксения Николаевна откровенно говоря, рассчитывала ее сдавать, хоть однокомнатную, но спорить пока не стала. Это из тех же аргументов — пусть само отстоится, прояснится, и все станет видно.

Как приехала, столкнулась в лифте с соседкой. Еще одна новость, не самая главная, но лишила равновесия, напомнила, что одним — счастье, а для других жизнь идет просто, и хорошо еще, если так. Старушка, которую она выводила, лежит в больнице. Кажется, как давно это было, но Ксения Николаевна — отзывчивая, побежала справляться. Обошлось без переломов, только травма головы. Хорошо, что упала затылком в траву, *на мягкое*. Подозревали гематому, просветили компьютером, бесплатно, хоть предупредили, если *найдут*, все равно делать ничего не будут. Не было даже гематомы. Ксения Николаевна себе сливу готовила и старушке закрутила баночку. Могли и внучки ее сделать, но грех говорить — они разъезжались с утра. И вообще, хочешь сделать доброе дело — делай, а не попрекай других. Потом Ксения Николаевна взяла визитную карточку и задумалась. Это был ее первый секрет от Арнольда Петровича, мелкий пока, но грешок, не должна была она тайком от него брать. Теперь она ему показала, раньше забыла. И хорошо сделала. Арнольд Петрович просто вышел из себя. Когда? Где? А я где тогда был? — Это его вопросы. — Хорошо, хорошо. — успокаивала Ксения Николаевна. — Откуда я могла знать. Положила и забыла. Не буду я ему звонить.

— Нет, ты позвони. — Настаивал Арнольд Петрович. — Я хочу, чтобы ты позвонила.

Она позвонила, тот сейчас уехал. В Чернигов. *Набирать команду*. А ты знаешь, какая команда? Так вот, именно он по конкурсам красоты. А до того в райкоме комсомола, *по культуре*. Ну и, конечно, *убежденный антикоммунист*. — Как ты себе свою роль представляешь? — Настаивал Арнольд Петрович. — Как? Сценическое мастерство? Нужно оно им. Я тебе скажу, чем ты будешь *там* заниматься. *Сводница*. Вот ты кто. — Арнольд Петрович бросился к дивану, уселся на него в профиль, поставил руку локтем на спинку, подпер ладонью щеку, и так застыл. *Трагически*.

— А что делать? — Спрашивала Ксения Николаевна. — Как жить? Где деньги.

— Если ты намекаешь на квартиру, то я пока не могу. Мы репетируем.

— С Петуховой? Теперь эта еще. — Зловеще пересчитывала Ксения Николаевна. О том, что Петухова вернулась и снова хочет заниматься, Арнольд Петрович ее честно предупредил.

— Да, да. И тебе не мешает. Ты посмотри, как ты ходишь, — творческий человек — Арнольд Петрович легко уходил от бытовых сцен, вернее, переводил их на уровень искусства, эстетизировал.

— Как, *как*? А что прикажешь? И так *сэконд хэнд*. — Ксения Николаевна сказала сгоряча и пожалела, не нужно ему знать, вещи, как вещи. Но Арнольд Петрович внимания не обратил.

— Я не говорю, *в чем*. Я говорю, *как*. — Он вскакивал и показывал как Ксения Николаевна ходит. Грузновато. Она сама знала, в красном пиджаке не должно быть заметно. Но то осенью, нужно дожить. А пока, значит, *засек*. Обидно, мало того, что правда, так еще и *утрирует*. Плоскостопия у нее не было, это, *извините*.

— А как Петухова, ты не видишь? — Взрывалась Ксения Николаевна. — Вот именно. Я тебе скажу. Как эта самая… ходит. — Она не позволяла себе *выражений*, которыми, как известно, грешат все чаще многие женщины, значит, действительно, это был взрыв.

— Ничего подобного.

— А как? Ну, как?

— По правилам. Как будто пятак зажат между ягодицами и нужно пронести, не роняя.

— Вот именно. Пятак. Пора милостыней зарабатывать, пусть бабка моя научит.

— Ты не справедлива. — Стихал Арнольд Петрович. Он, вообще, был отходчив, *золото*, а не мужик. На таких бабы и ездят. — Петухова — порядочная. Даже удивительно. Уже давно могла в Нью-Йорке жить. *Народные* бегут, а эта ни с места. Пока, говорит, свое не отыграю, не уеду.

— А не много ли ты на себя берешь? — Тоже успокаивалась Ксения Николаевна. Тоже, ведь, редкая женщина, *не стерва*, ни капельки (разве только чуть-чуть). — Дуришь голову, там замуж бы вышла.

— Успеет. — Безжалостно резал Арнольд Петрович. — Ты посмотри, что я нашел. — И он зачитывал:

Плакали мы, плакали без слова…
Что слова, когда нам запрещен

Наш зеленый у Днепра святого
Многохолмный наш Сион? [6]

— Вот из-за таких как ты… — говорила неукротимая Ксения Николаевна, сгорая от любви к Арнольду Петровичу, душевной и плотской одновременно, а вернее одной *большой любви* — немедленно и сейчас. Это были ее последние осмысленные слова на ближайший час. Но не сказать их она не могла. — Вот такие, как ты, дурят голову этой несчастной стране. Романтики. А сволочь приходит и пользуется. Как это я еще тебя терплю…

До того дошла идиллия, что Ксения Николаевна отправилась проведать старушку. В другое время у нее от своих забот голова пухла, но тут она подумала, счастьем нужно делиться. Семье старушки было лестно. Ксения Николаевна и одна бы пошла, как женщина жалостливая, но Арнольд откликнулся. Он любил поговорить, как не хватает жизненного материала, кислорода, *когда б вы знали из какого сора*… Так же и в режиссуре, та же поэзия. С возрастом обособляешься, ныряешь в кокон, в скорлупу, прямо, как в природе, только, наоборот, там наружу, а тут внутрь, и теряешь *связь с жизнью*. А важно каждое ощущение, запах, слово, главное, чтобы естественно, жизнь такое придумает, такое подскажет, ни в какой голове не вообразить. А где реальность, как не в больнице. Дальше тишина, обрыв, здесь самое место *битвы за жизнь*, здесь не придуманное, без холостых патронов, все боевые.

Ксения Николаевна выслушала внимательно, кивнула, где надо. Она уже *своего Арнольдика* знала. Польза от него должна быть. Внушительный, известный, кому ж тогда ходить по богоугодным заведениям, подарки разносить. Такой белую руку на лоб положит, прохлада от нее и *больному легче*. Тем более, что самому и самому Арнольду Петровичу хотелось.

И еще волновало Ксению Николаевну. Лежала старушка в *тринадцатой* палате. Суеверия — пустяк, но когда к ним относишься именно, как к пустяку, а старушка верила и тринадцатого опасалась. И надо же, чтобы именно ее в тринадцатую. А тут — здоровье, с этим не шутят. Дочь просила, но робко, *заикнулась*, ее оборвали, говорят, если все начнут *выбирать*, а сейчас *отпуска*. Как это причем *отпуска*? Короче, какие у вас претензии? У нас, если хотите, есть приказ, после семидесяти вообще не держать. А мы держим. Так что лежите тихо.

Ксения Николаевна волновалась, ожидала увидеть хуже, а

старушка ничего, кашку при них поела, за руку Ксению Николаевну ухватила. Они сока разного принесли, чтобы твердого не жевать. По руке и определилось, немного силы, но есть, не расслабленная, а в таком возрасте — это главное желание жить, не следовать покорно течению болезни. Как она только ходит, без глаз, в туалет как, а водят, водят, люди всегда помогут. Гладила руку Ксении Николаевны. Она Арнольда Петровича представила. Старушка говорит: не знала, что он придет, а про тебя знала, *видела*. — Спрашивай, спрашивай, — просила старушка. *Кормют*, а как же. Раньше голова кружит, кружит, теперь меньше. Только шумит… Арнольд Петрович сидел молча, но осматривался с любопытством, потом нагнулся к Ксении Николаевне и на ухо: — Как думаешь, инсульта нет? И кивнул удовлетворенно, что нет, какой инсульт, когда руку жмет. Отделение было почти пустым, лето, народ лечится неохотно, ходило еще несколько *неврологических*. От того и позволяли лежать, лечиться, нужно *загрузить койки*. Раз уж попала, думала Ксения Николаевна, нужно подлечить впрок, чего *зря* лежать. Врач, как раз забежала, молодая, меняются теперь, постоянных нет, отпуск. Ну, с временной и легче договориться, ей что. Витамины есть больничные, группа Б, кроме шестого, того нет, ну и ладно, можно капельницы *продолжить*, три сделали, еще три, *вены хорошие*. Ксения Николаевна записала, что нужно, очень удачно, у нее были связи в гуманитарной помощи, лекарства чуть просроченные, на грани, но для простых людей — находка, они еще два года полностью годные. Это *им* — нельзя, а *нам* — только лучше. Вообще, у Ксении Николаевны открылось особенное удивительное состояние, сразу от многих причин — и что делает она доброе дело, и бескорыстно, от души делает, и чувствует себя надежно, рядом надежный мужчина и с его стороны ощущает одобрение своего деятельного усердия, значит, *понимает*, а она — прямо, как сестра милосердия, в старомодной косынке с красным крестом, *как раньше*, не по мобилизации, а по зову сердца, именно потому, что *иначе нельзя*. Старушка лежала тихая, а потом высказалась. Я тут, *доця* (первый раз она так Ксению Николаевну назвала), смерть свою высматривала, рядышком была, а не встретились. Не бойся (тут рука ее еще крепче пожала руку Ксении Николаевны), просто лежу, а про себя смотрю, иду. Иду, и сама знаю, куда, встречайте. Вхожу в коридор, комнату, везде темно, я привычная, а там темень такая, будто комашка в кусок угля залезла и смотрит внутри. Чернее не бывает. Я знаю, здесь она должна быть, руками вожу, думаю: вот сейчас схватит. И весело мне, ищу, ищу, нет нигде. Я утомилась, дальше прошла, вдруг светит, будто на солнышко смотрю в самый светлый день,

свет, и ничего, в темноте не знаешь, куда идти, а идешь, а тут встала, не могу ступить. Пошла назад, снова темно, пусто, потихоньку кровать свою нашла и забралась. Вот так сходила за смертью напрасно.

— Что, бабушка, может нет ее? — Спросил Арнольд Петрович. Он заинтересовался рассказом.

— Для всех — одна, а на каждого — своя. Я свою пока не нашла. Но рядом была, мимо прошла, а не встретила.

— Ну, теперь точно поправимся. — Сказала Ксения Николаевна и свободной рукой погладила старушку по голове. — Это *вещий сон.*

— Не сон. Как с тобой сейчас, так и тогда было. В полном уме лежала.

Собрались уходить, тем более подходил обед, когда из коридора крикнули, что в *тринадцатую* сейчас понесут. И тут же втащили штатив с капельницей. Пока сестра возилась, старушку усаживали, укладывали руку поудобнее, Ксения Николаевна нагнулась к самому уху. — Может, в другую палату перевести?

— А можно? Когда Господь определил. — А сама рукой дернула, так обрадовалась. — Вот, если бы…

— При чем здесь Господь? Мы тоже кое-что можем. — Сказал Арнольд Петрович самонадеянно. — В наших силах. — Встал, поправил на плечах халат. В рукава не вдевал и от того смотрелся еще внушительнее, точно — генерал в блиндаже, сейчас красным карандашом стрелу проведет, и все выйдет именно так, как он *принял решение*. Сестра попросила пересесть уважительно. Пора было уходить.

По дороге заглянули в соседние палаты, эта половина коридора была *женская.* Во всех места были, по одному, по два человека, зачем раскладывать, тем более в тринадцатую. В некоторых государствах вообще такого номера в медицинских учереждениях нет.

Заведующая отделением вышла, и сама Ксения Николаевна себе удивилась, чего она беспокоится, действительно, лежит и еще неделю пролежит, а там — домой. Ясно — пустяк, но тут Арнольд Петрович с ней не согласился. Он был взволнован рассказом о путешествии за смертью, это — *подарок*. Если больная просит, пусть, прихоть, но что *жалко*? Все равно *лежит*, места есть. А психологически — сильное облегчение, это ему ясно — режиссеру. И Арнольд Петрович настоял, дело так не оставлять.

В больницах есть такая официальная должность *начмед*. Если главный врач отвечает за все сразу, что происходит на введенном ему объекте, то начмед привязан именно и непосредственно к

медицинской части — ее учет, статистика, планирование. Он начальник штаба, утром сводки ему на стол — кто умер, скольких за ночь *скорая* привезла, как с лекарствами — это к нему, весь лечебный процесс на нем — на начмеде. Он — интеллект, мозг, советчик, а часто и есть самое главное лицо. Пока главврач ездит в инстанции, а теперь и за границу наведывается за передовым опытом, пока заседает в районных, городских комиссиях, пока возводит новые корпуса, принимает передовое знамя (и сейчас еще сохранился этот полезный обычай), начмед ведет корабль. От него многое зависит. И уж точно — он главный профессионал, авторитет и в своей *узкой* специальности, но и в остальных успевает — и в реанимации, и в хирургии, и в травматологии, в общем, везде, где тяжело. Он и кровь выбьет для переливания, именно надмед и звонит, и с санитарной станцией ведет нелегкие переговоры, и с заведующим хозяйством поругается из-за *перевозки*, и городское начальство не побоится спросить — *кого это вы нам направляете?* На такой должности нужен тот самый талант, почти фокус, который, как чаша со змеей, представляет медицину — *гореть и гореть, не сгорая*. Если все эти моральные, интеллектуальные и просто физические нормативы собрать в одном месте и сложить, то как раз выйдет живой портрет начмеда Мирошкиной. И то будет бледно, на настоящее описание (маслом) не хватит красок. Приходила Мирошкина раньше, за час до пятиминутки, а уходила позже всех. Надевала реаниматорскую форму — белую рубашку и белые штаны, как военный лыжник, вешала на шею резиновую трубку — японский фонендоскоп, слышимость прекрасная, оружие жизни, поясок затягивала туго, уже в летах, а живота нет, какой живот (да вы что!), если все время в деле, на бегу и вперед, вперед. Худая она была, но никак не хилая, наоборот, жилистая, крепкая, ходила быстро, ступала не на полную ступню, а упруго — сначала на носок, а уже потом на всё остальное. И понеслась. То там, то здесь, везде. Пролетала. Больные расступались, среди врачей — почтение, но она любимчиков не выделяла. Потому, что а ля герр комм а ля герр (это по французски), никаких поводов для сплетен, кремень, а не женщина, вот пример — хирург — двадцать лет стажа, первая категория присел на краешек ее стола, была *проверочка*, но она выдержала, теперь он дважды стучит, пока войдет. Может, и с насмешечкой, но вряд ли. И какое ей дело. Место свое он знает. Дома — семья, она — не синий чулок, но легкомысленность — это точно не про нее. Как была, так и осталась борцом. Все силы — для дела. Теперь говорят, неэффективное руководство только вредит, чем больше пыла в него вкладываешь, тем этот вред больше. Про нее злейший враг такого не скажет. И врагов,

собственно, нет. Ее стиль известен, если сказать одним словом — *несгибаемость*. Потому не любит просьб, протеже, обходных тропинок. Прикажите — сделает, пусть позвонят, представятся, она выполнит. Время трудное, как в обороне, нужно пережить. Кафе открыли в больничной пристройке, ее подпись была нужна, делайте, но учтите, для больных, для родственников, а не с улицы, и без сигарет, без алкоголя. Согласны? Она сама решила с санитарным надзором, всегда с ними проблемы. И работают. Если бы так всегда, но жизнь врачебная — она, как зебра, сегодня — белое, завтра — наоборот. Звонят теперь из правительства, каждый день, интересуются, случай безнадежный, но она сгоряча взялась, думала *вытянет*, могла отказаться, все аргументы были, чтобы отказаться, сами там запороли, пусть выкручиваются, а она — *везите*, те, конечно, рады стараться, ей *лично* — не нужно, но больнице — репутация, раз предложат, второй не станут, перевели, а теперь некуда отступать, каждый день на *станцию* звонит — кровь, кровь, везут, всю больницу можно обеспечить, а она все льет, льет, *исход* ясен, а остановиться, передумать — нет шанса, скажут — что же вы раньше? все это время? Врач — на то и врач, чтобы *спасать*. Вот как она сейчас, бежит, бежит по коридору, каблуки гнутся, некогда подбить, а на новые денег нет, другие, только и слышно, берут, обогащаются, она не такая, разогналась, кажется, притормози на повороте, но ждут, никак без нее и потому с разгона *вписалась*. Минута? Секунда каждая дорога. Стетоскоп уже готов, подлетает, загогулины в ушах, сразу и пульс, и сердце, и легкие, живот мягкий, болезненный, еще сама не отдышалась, а уже спасла. И так каждый день. А теперь, представьте, идут с пустыми просьбами, каково это. Только она разложилась, дала команду подобрать *истории болезни* за последние три года, опыт, опыт, не успеваешь набирать. Сейчас все новое везут, фирмы телефоны обрывают, препараты неслыханные, только деньги плати. Денег нет? Тогда вот тебе на испытания, гуманитарные, пусть глотают страдальцы бесплатно, а сама статейку в газету дай, по радио выступи. Жили мы не дай бог, а теперь появились пилюли фирмы *Лола* и жить стало лучше, жить стало веселее. Глядишь, и появится лишняя копейка. Но Мирошкина строга. Без диссертации трудно, то есть, считается, *нужна степень*, у них заведующие отделениями со степенью, и еще кафедры. Но консультантов она уважает далеко не всех. Защитил, уже старший научный сотрудник, доцент, а к больному не знает с какой стороны подойти, вчера одна на кровать села, прямо больной на ноги. Хорошо, что не сломала, и то, потому что нога в гипсе была. Все нужно предвидеть, она — практик, не собьешь.

Только села, телефон на пять минут замолчал, и уже заходят. Дверь забыла на ключ закрыть, теперь никуда не денешься. В коридоре усядутся и будут сидеть, откуда у людей столько времени. Мужчина заметный, по телевизору она его видела. Женщина, как женщина, он ее лучше. Одеваться они умеют, просто, вроде, но как вещи сидят. Впрочем, и не просто. Актриса эта — начмед угадала безошибочно профессию Ксении Николаевны — *опытная*, везде опыт, для любого случая, брючки розовые в *ее* возрасте. Уметь надо. Раньше бы назвала *товарищами,* а теперь как? — *господами* с ходу не назовешь. Значит, просто, без обращения: — Я вас слушаю.

Арнольд Петрович уселся, она не приглашала, но с улыбкой, вышло у него естественно. И спутница его уселась. Ну, ну, дальше, дальше… время…

— Мы — работники театра. В больнице бываем по необходимости. — Арнольд Петрович еще раз привстал, ожидая, что знакомство сейчас и начнется. И его попросят, что-нибудь рассказать, всегда наготове смешной случай, *в лицах,* с фестиваля. Интеллигенция любит про культуру, кто, что, интрижку, анекдот из жизни, хлебом не корми… а там можно и *просьбочку*.

— Да — да. — Сказала начмед. — Так что вас привело?

Начало было самое обескураживающее. Но Арнольд Петрович знал себя, он перестраивался на ходу. — Попова. — Начал он с фамилии старушки.

— Отделение?

— Неврологическое.

— Неврологическое? — Переспросила начмед. Только успела сказать. И тут же заглянула заведующая неврологией. Казалось бы, чудесным для несведущего человека образом, а на самом деле, как и должно быть в работе опытного администратора. Заглянувшая была женщина полная, круглолицая, незамысловатая с виду, без полета фантазии, с дряблой легко краснеющей кожей в квадратном вырезе декольте. Еще и с двумя сумками. Почему? А день, оказывается, уже закончился, домой пора, только Мирошкина еще в работе. — Зайдите, зайдите. Как раз кстати. — Приказала и усадила жестом за другой край стола. — Это насчет Поповой. Ну, так что? — Отодвинула в сторону истории болезни. Была спокойная минута, а теперь нет. И кто посочувствует? Кто? Никто.

— Собственно, все в порядке. — Начал Арнольд Петрович. — Это наша родственница, немолодой человек, слепая.

— Сколько лет?

— Семьдесят шесть. — Подсказала Ксения Николаевна.

— В специализированном отделении? — Удивилась начмед.

— Места были. — Пояснила заведующая. — Скорая привезла, с улицы. В травматологию, а те к нам. Я давала по сводке.

— Все равно. Специфика пожилого возраста…

— Мы глубоко благодарны. — Поспешил Арнольд Петрович, разговор съезжал не туда. — Я специально отложил генеральную репетицию, чтобы выразить огромную благодарность. Понимаю, это ваш долг…

— Более чем долг. — Прервала начмед. Разве этот поймет. Пришел рассказывать актерские байки. Не ценишь свое время, так и чужого не жаль.

— Мы просто в восторге. — Еще раз нажал Арнольд Петрович. Он не привык спешить в разговоре. Но эта занудливая баба так и норовила отделаться побыстрее и выставить за дверь. Впрочем, улыбнулась, смягчила. — Я очень люблю театр. Сейчас, просто, видите, времени нет.

— И это летом. — Подхватил участливо Арнольд Петрович. — А что тогда осенью? Зимой? Ранней весной…

Говоря языком военных, Арнольд Петрович чуть ступил на крохотный плацдарм внимания и теперь пытался расширить его. — Прекрасные палаты, сестры заботливые…

— Это я знаю. — Мирошкина показала на коллегу, мол, и ее заслуга.

Арнольд Петрович совсем ободрился и завертел головой, пытаясь взглядом ухватить сразу обеих женщин. — Какая удивительная профессия. Сколько нюансов. Вы, наверно, читали Станиславского. Он говорил о нюансах. Изображаешь одно, говоришь другое, а выходит совсем третье. Так у вас…

— У нас не так. — Опровергла начмед. — У нас — диагноз при поступлении, диагноз при выписке.

— Патанатомический еще. — Подсказала заведующая.

— Не у всех. — Строго поправила ее начмед. Вот уж дура, прости господи.

— Тем более важны нюансы. — Арнольд Петрович шел вперед, как ледокол, льды тяжелые, но машина сильнее. — Я говорю о психологических нюансах. — Он еще искал, как сказать лучше. — Попова наша очень суеверна. Знаете, этих фронтовиков.

— Она на фронте была? — Спросила заведующая.

— Почти их не осталось. — Нейтрально высказался Арнольд Петрович. — Лежит в тринадцатой палате. И переживает. — Я говорю, чтобы здесь лежать, в тринадцатой, нужно палату освятить.

Лучше бы он этого не говорил. Не понимаем мы часто, как пустым словом можно смять немощный стебелек зародившегося

доверия. Как легко задеть…

— У нас все палаты освящены, — сказала строго начмед. — Все, что нужно для больных мы делаем. Попова ваша — православная?

— Православная. Это я в шутку, освятить. — Заспешил Арнольд Петрович. — Думаю, может, перевести в другую.

— То есть, как вы предлагаете, для одних привилегии — освящать, а другим что? Так оставить?

— Я не то хотел. — Арнольд Петрович вновь взял рассудительный тон.

— Причем два раза освящены. — Неожиданно вмешалась заведующая. — В прошлом году и в этом. Отцом Николаем и отцом Василием. Отец Василий и на ремонт благословил.

— Помимо всего прочего, это важно для молодежи, для среднего и низшего персонала. — Уточнила начмед. — Не только для больных. Потому и нет таких разговоров, хорошая палата, плохая…

— У нас все. — Арнольд Петрович встал и раскланялся за себя, и за Ксению Николаевну. Та еще пыталась что-то добавить, но, кроме *спасибо*, ничего не придумала.

…Когда вышли за ворота больницы, Арнольд Петрович сказал. — Ты видела, у нее эта длинная трубка на шее. Напомни, как называется.

— Фонендоскоп?

— Во-во. Красного цвета. Чем это Айседору Дункан удавило? Шарфом? Красного цвета? Почему, если хороший человек…

— Откуда ты знаешь, что она фронтовик? — Сбила Клавдия Николаевна с нелепого хода мысли.

— Сказал и сказал. Сейчас все — фронтовики. Или в тылу. Или партизанка. Чем плохо? Где-то же она была. Недавно по телевизору показывали, один подписал бумаги, вывезли алмазы на двести миллионов долларов, его еще не посадили, а уже амнистия — фронтовик. Это сколько фрицев нужно положить на такие деньги. Как Жуков, трижды Герой, не меньше. Почем сейчас киллеры берут? Тысяч десять? — Арнольд Петрович поднял голову и зашевелил губами. Видно, погрузился в расчеты. — Ц — ц–ц… Сколько в миллионе тысяч?

— Вроде, не знаешь. Сам миллионами пользуешься.

— Так это разве миллионы. Это для нас — несчастных. Мой совет — скажи дочке, чтоб забирала старуху побыстрее. Я стал суеверный.

— Ты? — Удивилась Ксения Николаевна.

— На нашу тупость никаких примет не хватит.

И вот совпадение, вечером того же дня пришлось ехать к

вокзалу на тринадцатом. Арнольд Петрович принюхался и прошел к водителю. — Можно ехать. — Сообщил он Ксении Николаевне. — Освятили сегодня с утра. — По православному? — Уточнила Ксения Николаевна. — А какому же? Другие на лимузинах давно ездят…

Дальше судьба старушки размыта во мраке. Полного мрака, конечно, нет, видят ее постоянно и там, и здесь, но как-то поспешно, как если взять книгу за корешок и дать страницам перешелестеть, перемелькать. Как будто вот она, а уже пролетела и при живой приходится питаться разговорами, расспросами в третьем лице. А так недолго и до легенды. По некоторым сведениям старушка выздоровела окончательно, даже *помолодела*, а на *божий промысел* доставляет ее теперь офицерская жена. Пока еще привыкает, стесняется, хоть чего стесняться, если муж третий месяц без зарплаты. Важно, однако, что навык остался с лучших времен, когда муж ее выводил подразделение на парад, а до того еще долго репетировал на плацу. Теперь и жене сгодилось, не нужно думать, что нет общего, главное как раз общее и есть — вера и пафос, как там, так и здесь.

Раньше можно было бы спросить у Ксении Николаевны. Но она переехала к Арнольду Петровичу, а в собственной квартире делает *евроремонт,* чтобы сдавать. Потому Ксения Николаевна не в курсе. Старшая девочка вышла за немца или еще собирается, но здесь не живет, младшая — немая, у нее не узнаешь. В общем, нет никого, мать их засела на даче, так и сидит, а старушка, как подводная лодка в крейсерском плавании, то всплывает, то отлеживается в таинственных местах, действует по собственному усмотрению и обстоятельствам. Цельных сведений о старушке потому и нет, что каждый занят своим, но по частям *народ все видит*, женщины на лавочке, паспортистка рядом живет. Алексей недавно наткнулся, увидел, может подтвердить, *была жива*. И, кроме того, что видел, узнал немало о том, что еще только вызревает, обсуждается исподволь — то ли будет, то ли нет. С давним знакомым, преподавателем духовной академии они как раз и наткнулись на старушку. Алексею хотелось знать взгляд своего спутника, способного увязать воедино очевидное с высшим, прояснить духовный смысл.

— Бог ее примет легко. Потерпеть недолго осталось.

— Подлечилась она. Но стоять трудно.

— Не о том я. Еще будет подмога. Святое дело сейчас делаем. Не может церковь в час неблагополучия в стороне остаться. Потому готовим обращение Владыки. Во всех храмах зачитают. Церковь объявит мучениками, кто достиг пенсионного возраста. При жизни прославят. Чем они питаются, как не Духом святым.

Вот и выйдет утешение. На пенсию не проживут, и надежды такой нет, а что в житницах было, сбережения всякие под чистую выгребли. С книжек осыпалось, до последнего листика, потому, как учил Иисус, негоже земное копить. Ослушались при безбожниках. Теперь от нас придет благая весть. На небе и получат отдохновение.

— А остальные? Вон, инвалиды, им еще на лекарства нужно.

— Будет и им.

— А если кто здесь *устроен*?

— Есть такие? — Спутник Алексея удивился.

— Много. Чиновники, депутаты.

— А, эти… Фарисеи да саддукеи. Так они ж и посланы для испытания. Зато сами обращаются, открывают душу Господу. Как на службах стоят. Как на храмы жертвуют. И сами возводят, всё лучше, чем на острова вывозить. Душой к Богу тянутся постоянно, идут под Патриаршье благословение. При каждом особняке часовенка, и с лифтом бывает, на самом верху, чтобы ближе к Господу. Хоть и тут… э-эх, прости и помилуй, несовершенен еще человек.

— А как церковь различает? Кому когда?

— На этих же и полагаемся. При ЖЭКах списки составляют. Кому выплата по бедности, тот и наше благословение получает. Комиссию готовим, по канонизации жертв экономической реформы. Дело божеское. За прежних, кто в репрессиях отмучился, денно и нощно молимся, а нынешних кто помянет? Всю жизнь трудились — тут тебе целина, тут тебе космос, тут тебе химия, не хлебом единым. А теперь только хлебом и жив. Мучеников много. Ой, много. Аки душ возносящихся после большой битвы. Каждому свое, у бедных и заботы свои, не о теле пекутся, что о нем печься, когда одно лекарство больше стоит, чем вся пенсия, а о душе. К президенту Борису — хворому да убогому со всего мира светила слетались, сердечного лечить, а эти тихонько себе отходят и отходят. Зато с миром. Для того и послание готовим, чтобы не было задержек с Царствием Небесным. Пусть бабушка твоя потерпит, *уже скоро*. Сейчас с Ватиканом связались. Папа *своим* тоже дает благословление. И городу, и селу. Славянин, понимает. Так и поможем всем миром…

— Вы все-таки поспешите. — Попросил Алексей. — Осень, зима скоро, замерзать начнут. Послание кстати будет, каждый день важен.

Осень, действительно, пришла, на улице не простоишь, метро — лучшее место. Наши люди самые терпеливые — хоть в окопе, хоть в поле, у мартена, а теперь еще здесь, в тепленьком, как

встанут, так и застынут на весь день, хоть пыль с них сдувай. Выстроились. как в музее английской мадам Тюссо, отливая восковой желтизной (свет тут такой в переходе), точь в точь королева — мать в свои девяносто или девяносто пять, и там простота, и у нас, неопределенность вечности в чертах, только у нас компания лучше, приличнее — ни одного злодея кругом, только скорбь и доброта, никого не топят в бочке с мальвазией, ни мальвазии этой нет, ни даже бочки, только Тэчер с виду и есть, победнее, правда, с пристрастием в лице к алкоголю, и неверно, что сыр бесплатный только в мышеловке, как наши умники подхватили. А вот и нет. Это у них все за деньги, за акции, а наши подадут и на сыр, из одного милосердия. Хоть и чопорный протестантизм проникает в нашу гущу, внедряется, вот, кажется, просит, согбенная, а, подойди поближе, она еще и работает, распространяет средство от тараканов импортное, *не зря хлеб ест*. Значит, чему-то мы у *них* научились, так ведь, говорят, и Рокфеллер с малого, в переходе начинал. Кому спички, кому крем черный для обуви, так свой миллион честно и нажил. Главное, как пастыри наставляют, терпеть и не роптать. Он и не роптал. На все воля Божья. Эх, если б только спешащая толпа двигалась помедленнее, если бы было время глянуть поспокойнее, поточнее, многое мы бы разглядели в этой экспозиции, как никак один народ. Вот и аккордеон, вальс на сопках Маньжурии. Небогато, а ведь как проникает в душу, как греет.

Как жить? Дело в том, что наяву правильный ответ не получишь, сколько книг не читай и не обращайся за советом. Не дадут совета. Потому, что ответ в себе самом. Представим, как создают творение из благородного материала, из дерева. Первым делом, кору с него снимают. И у нас та же кора озабоченности, суеты держит, облегает со всех сторон плотно, а закроешь глаза, уйдешь в сон, пронырнешь из — под панциря наружу и откроется сокровенное. Правда откроется, только во сне она и видна.

Вот так и Арнольд Петрович *увидел*.

Стоит наш город над вечной рекой, и, если смотреть с другого берега, самого города не видно, а вся панорама между водой и небом в плавных текучих горах. Ближе на склонах в осеннем свете — купола сверкающими россыпями, как горсти самородного золота среди облетевших ветвей. А дальше в глубине берега, если только над землей приподняться повыше, как отлетающая на зиму птица, заметна еще одна гора, прикрытая от прямого взгляда. Эта гора — Лысая, известнейшее в Европе место, жилище для ведьм. Нет для них границ, потому и карта одна на всю Европу, нас они не спрашивают, селятся, где хотят, *шабашничают*. Единственный город — Киев, где эти места

соседствуют — пещеры с праведными мощами и обиталище нечистой силы. На Лысой горе были когда-то огромные артиллерийские склады, и плоская верхушка уставлена ровными рукотворными холмами — насыпями. Как-то они называются по военному, а мирные люди названия им так и не придумали. Все здесь давно густо заросло деревьями, тропки хоть вьются, но сами насыпи не потеряли свой многозначительный таинственный вид. Живут здесь бродячие собаки стаями, дичают, изучают человека заново, без былой привязанности. Густо растет омела, ветер треплет шапки в голых ветвях, как будто ждут они своих таинственных хозяев, а пока небо тускло светит сквозь ажур вязи. Все здесь настороженно, но сама настороженность эта не живая, сюиминутная. Так природа разговаривает со временем, *без нас*, и само забвение здесь, как бы в насмешку над куцей. обрывистой жизнью. Когда-то здесь казнили, а наша эпоха, оставила легкомысленный камень, обещание, что здесь организуют парк. Но нет здесь никакого парка, нет его, и не будет, потому что и днем ноги сами несут отсюда за пределы, а вечером и подавно. Собаки только воют. Заброшенное место, куда не следует ходить в темноте. Не *почему*, а *просто так*. И сама тьма здесь гуще. С берега эту гору можно засечь по современному ориентиру — высоченной полосатой трубе Института физики, говорят, что *реакторной*, вот она здесь кстати.

Ночью спящий Арнольд Петрович увидел на этой трубе как бы тень, что-то вокруг летало. Издали он не разглядел, потому что и во сне его была тоже ночь, по крайней мере, густые сумерки, а сам кончик трубы чуть попыхивал, как горящая сигарета. Не такой человек был Арнольд Петрович, чтобы оставлять загадки без ответа, даже во сне. Подобрался поближе и увидел, что тень эта и есть наша старушка, мечется, бьется, все кругами, а оторваться никак не может. Или трудно ей во тьме без света, без направления. Арнольд Петрович замер, наблюдая. Тут как раз быстро стало светать. И вдруг старушка рванула, сделала шире круг и взмыла. Теперь она была хорошо видна. Зависла на ветру, как умеют птицы, осмотрелась и полетела туда, где сверкали золотом купола.

Накануне, как раз послание Владыки зачитывали. Но Арнольд Петрович ничего этого не знал, потому объяснить видение не смог, он и не проснулся почти, но стало ему неожиданно хорошо, как будто весточку получил от близкого человека.

Киев, 1998 год

Львовский пейзаж с близкого расстояния

В годы, определившие начало нового исторического бытия, никто не думал, что это возможно — налет на музей среди бела дня, со стрельбой и убийством. Эти *стены*, как принято почтительно именовать вместилища сокровищ искусства, затертые мраморные ступени — именно на них все и случилось — не видели ничего подобного до того самого рокового дня. Хоть именно в ступенях и мраморе есть родовое свойство классицизма, требующее пространства театральной сцены, багрового занавеса с ухмыляющейся маской, как если бы убийцы явились с ножами, припрятанными в тогах, а жертва, глядя помутненным взором на покидаемый мир, успела попенять злодеям за вероломство.

Нынешняя эпоха не располагает к сантиментам, вернее, требует упрощений в духе времени, безразличному к театральным эффектам. Теперь играют почти без декораций, исчезая и вновь всплывая в пятне света, и глубина сцены почти не нужна, а только этот впившийся в лицо и руки луч. Все, как в жизни, там тоже нужно дожить до своего героического часа и не ошибиться в выборе жанра. Трагедии достаются не всем, и редко достигают чистоты замысла, гибельный акт часто случаен или нелеп, и его обстоятельства становятся элементом полицейского протокола, где известно время и место. Тут не до мрамора. Нужно быть проще.

Но и простота обманчива. Двое неприметных молодых людей проследовали в гардероб, сдали сумку (*— Я отут повішу. А ви ж номерок не забудьте. — Так, так, дякуемо, не забудемо*), а в сумке оставили дымовую шашку.

Молодцы глянули в зеркало, еще раз оценили обстановку, и отправились быстренько, взволнованной походкой любителей искусства. Вслед шашка задымила. Решили, что пожар. Единственный милиционер таился где-то с пустой кобурой, от охраны в таких случаях мало пользы, и право на подвиг остается за доброхотами. Был обычный день, в музейной анфиладе почти никого. Служительницы кинулись вниз, на пожар. Беспокойные немолодые женщины, восседающие на пороге каждого зала. Они так и бежали с кудахтаньем, все разом. Поднялся переполох. А те двое прошли легко и ножиком вырезали полотна из рам. Небольшие работы художника Яна Матейко легко свернулись трубкой. Пока все шло гладко. Но на выходе, уже в виду непарадной двери, ведущей в музейный дворик, столкнулись с

искусствоведом. Минуты не хватило, если бы шашка задымила чуть позже, все бы обошлось. А так искусствовед спешил с огнетушителем. Стреляли с ходу без предупреждения, пуля срикошетила и угодила искусствоведу в поясницу. Умер на месте. Еще одного — заместителя директора застрелили в дверях, когда отходили во двор, к забору, за которым ждала машина. Заместитель встал на пороге, здесь стреляли в упор.

Двое убитых за два холста. Ясно, был заказ. Можно вообразить, как бродил здесь заказчик, любовался, как говорится, *долго стоял*, отходил, щурился, прикидывал место в собственной коллекции и решил, что будет в самый раз. Кто же знал, что молодые люди возьмутся за пистолет.

Никого не нашли. Матейко — известный польский передвижник, туда, нужно полагать, его и вывезли. Или в Америку, *в диаспору*. К тамошним ценителям и патриотам. Во *Львовском художественно-промышленном музее* когда-то было двадцать три работы Матейко, среди них единственный пейзаж — вид на Босфор (есть репродукция в книге начала двадцатого века), остальные холсты жанровые, исторические. Может, среди персонажей тех картин есть родственники заказчика и картины ему дороги, как семейная реликвия. В галерее остались ценные итальянские работы. Брать их было проще, почти у самого выхода. Переждать поспешающих на пожар тетушек и тащить. А если не итальянцы, то французы почти рядом с Матейко. Сохранились нетронутыми. Нет, договаривались на Матейко, а на французов с итальянцами заказа не было.

Так разворачивается детектив со стрельбой, кровью и таинственной, скрытой в глубине фигурой удачливого дельца. Нынешние нравы примечательны — преступление можно заказать как блюдо в ресторане. Сделать заказ и спокойно дожидаться. Убийство входит в меню. Исключительно по деловым соображениям, *ничего личного*.

С выстрелами наступает просветление от бурных восторгов нового времени. Добросовестные служители вместо того, чтобы послушно поднять руки, бросаются под пули. Теперь над теми ступенями мемориальная доска и несколько увядших гвоздик. Вдовы приносят, другие женщины. Новая легенда города. Самое время дать погибшим *почесного громадянина*, но с этим не спешат и вряд ли дадут.

В прокуратуре, дело завели для проформы. Хоть налицо двойное убийство, дерзкое ограбление, похищение национального достояния. Поерзали по столу папками для вида. Холсты теперь где-то в укромном месте. А искусствовед погибший — здесь чужак, хоть с Украины, но чужак. Не местный, это много

значит. И похож на еврея. Не иначе, как еврей. Мать допросили, намекнули, может, это он сам. Как это сам? *А отак, а потім його і вбили*. Такая оформилась версия у сыщиков.

Здесь никогда не жили на свету, а у конспирации двойной подпольный расчет. У них — свой к своему, как костяшки на старых счетах, пришлых они не любят. *Свій до свого і по своє*… Свой к своему и за своим. Переводится трудно, магическая формула, вязкие сумерки смысла, заглатывается сразу и целиком. Собственно говоря, перевод и не нужен, свои понимают и так…

В глубоком дворе на Армянской улице есть дверь, обложенная по периметру крупным камнем, годным для крепостных сооружений. Неожиданная среди пустых стен, и от того несколько загадочная, единственная, без вывесок, надписей, просто дверь, как картинка из мрачного комикса, за которой казематы с отравленными плесенью стенами и плеском темной воды. Воображение только мешает. Это приватный клуб для своих. Сюда сходятся романтики западно-украинского государства. Здесь они собираются. Каста местных интеллектуалов. Братчики, масоны, карбонарии, антимонархисты. *Прияетели люду* — как великолепно звучит по украински — *Друзья народа*. Мечта обращена в счастливое прошлое. Таким оно теперь видится — время нефтяного галицийского бума. Если найдут еще, эти конспираторы будут первыми, а пока они собираются за этой дверью, гадают. Местный кофе *Галка* — растворимый, без гущи, но то в уличных заведениях — сглотнул и побежал дальше, а здесь по настоящему. С гущей…

Из Киева в любую точку Украины можно доехать за ночь, в этом преимущество страны, не нужно томиться днем у запертых вагонных окон, провожая деликатным касанием следующих в туалет попутчиков. В чужой город любопытно приезжать на рассвете, продлевая чуткий поездной сон интригующей явью, дополняя собственное пробуждение видением незнакомого места с обилием узнаваемых деталей, перемешанных, однако, по иному, *по ихнему*, в другом порядке, предполагающем смысл, который еще предстоит постичь, растворенный в безлюдье улиц, подлежащих угадыванию и смутному ощущению былого присутствия именно здесь у скособоченной вывески с не русской, не украинской, а какой-то чужеродной надписью, с поблескивающей от ночного дождя мостовой, с дамой, садящейся в экипаж, упирающей изящный ботинок в гнутую ступеньку. Смутная, заимствованная из кино подробность модерна, требующая пояснений сонника, или нет — именно теперь в незнакомом месте — не сонника, а путеводителя. Здесь в чужом

городе, зримая картинка, лишенная подсказки памяти, легко переходит в иллюстрацию, в оттиск и, усиленная многократными повторениями, возвращается назад, создавая образ, похожий на сбывшееся сновидение.

Утро только разворачивается, и плотность растекшегося тумана истончается на глазах, как затертая марля, удивляя монохромностью открывающегося пейзажа, общей серостью одежды, предметов, машин, самих людей, черно-белой картинкой, не допускающей колористических излишеств. Сейчас на исходе перегоревшего лета, еще влекущего шлейф пыльной жары, мир окрашен в цвета реализма. Яркой заплатой выделяется пятно привокзального сквера. Тут оазис особенной жизни с разбросанными грудами тряпья, одеял, полиэтилена, мерцающего из сумеречных глубин — грандиозного лежбища бродяг, не нашедших другого жилья и теперь вяло встречающих рассвет, озабоченных необходимостью вставать и жить дальше. С другой стороны площади, рядом со станцией пригородных автобусов, у края тротуара держится, настороженно оценивая обстановку, стая бродячих собак. Они тоже начинают день, и общее устремление живых существ, казалось бы, лишенных тягот плоти, объединяет всех разом фольклорной картинкой. Фольклор спасает обыденность от убожества.

У ворот стоит собака,
Смотрит на бульвар.
У нее не жизнь, однако,
А сплошной кошмар.

Посреди площади, возвращаясь в город, разворачивается трамвай, он неожиданно, как гусеница на дачную скатерть, вползает в привокзальное бытие, старомодные вагончики, похожие на картонные, плывут, позвякивая и пошатываясь, с натужным брюзжанием, будто старый гном в цветном колпаке жалуется на жизнь, что гонит в дорогу прямо с утра, когда еще не отпустило застывшие за ночь суставы. Скрытый замысел неожиданно проступает из броуновского смешения персонажей, осознания их поступков, умножения усилий, направляющих разгадку творения из предвечного хаоса по единственному пути, факту участия в этой — земной жизни. Таким простым до очевидности доказательством полны картинки средневековья — приобщением к одному делу, принадлежностью к месту и времени, которое открывается воображению сквозь знакомые

приметы (они ощутимы и сейчас): запах дыма, перекличку выбравшихся на базар крестьян, прощальный вскрик петуха, рвущийся сквозь скрежет уносящегося трамвая. Перемещаясь в пространстве без всякой, казалось бы, причины, мы хотим оживить время, наше путешествие в историю, всего лишь проблеск родовой памяти, попытка вернуть утраченное когда-то изначальное ощущение покоя. Старый город держит в себе исчезнувшее время, как колодец темную (мертвую или все еще живую?) мерцающую в глубине воду.

Это не метафора, вернее, не только она. Достаточно осознать, что значат проплешины вокруг собора посреди старой площади. Это — *Елисейские поля* средневековых захоронений, и, глядя на них со скупо выступающего из стены балкона, мы видим вместилище старого кладбища, как видели его когда-то те, кто стоял здесь несколько веков назад. Толстяку здесь не повернуться. Но место осталось, оно под балконом. Кладбище, ставшее центром современного города, укрытое каменной чешуей, стянутое трубами канализаций, присутствует в измерении вечности, оставаясь тем же, чем было когда-то, россыпями праха под ногами галдящих и шумных, как все бездельники, туристов.

Уместно почтительное снисхождение к далекому прошлому. Но само время исчезает, оставляя напоминания о себе не явно, а как положено мистике, когда причину и следствие связывают между собой неразгаданные приметы. Они здесь, недоступные досужему воображению. Странно, если бы было иначе, когда ступаешь по этим камням. Потому, как и положено на кладбище, здесь деятельны нищие, площадь тревожит их, как дурман растения, которое может отравить или исцелить. Нищие явились сюда живым напоминанием о грехах, не каждого, а всех сразу, как в полицейской облаве, которая не различает правых и виноватых, а захватывает скопом для быстрой и жестокой расправы. Вкрадчивая лесть и притворство не могут обмануть. Экскурсоводы пугливо замолкают, когда эти люди требуют свою долю. Тут их законное право, и увечья, которыми они гордятся, старость, которую они выставляют напоказ, естественны как продолжение давней традиции средневековья, живущего в постоянном предчувствии смерти, ее воплощении в маскарадном облике, с прямой спиной надзирательницы (за каждым!) и грациозной походкой скелета. От той поры остались эти мелочи, сохраненные в причудах суеверий, а старая архитектура придает достоверность любой фантазии. Женщины, а среди экскурсоводов их большинство, знают, что нищих нельзя отгонять, нельзя мешать им *работать*, потому что и это — труд, требующий

вдохновения, которое дается, как в недавние безбожные времена давалось *право на подвиг*. Нищие мстительны и могут запросто изгадить одежду. А экскурсоводы — печальна их участь — живут на зарплату.

Дорога с вокзала минует костел, нужна привычка, чтобы не вскидываться на будоражащие формы барокко, миновать их буднично, без ощущения новизны. Пустынные улицы листают поворот за поворотом, рассветная пелена стекает со старых фасадов, и город кажется серебристо-серым, вбирая в себя все цвета, процеживая их сквозь каменную плоть. В такие минуты безлюдье выглядит одушевленным без всякого усилия воображения. Таков же сквер, где нужно выходить, пустой и замусоренный, как брошенное стойбище. Таково его состояние, на которое нельзя пенять, главное в чужом городе — принимать детали пейзажа такими, как есть. Если уж так необходимо (а бездельный ум с азартом поглощает новые впечатления) можно присмотреться к захламленному месту, где избыточно яркая (здесь везде так) для конца августа зеленка кажется бодрическим укором унынию, и, приглядевшись, разглядеть в густом сплетении ветвей, неясное сооружение, отороченное бетонным бордюром с металлическими перильцами, обособленное от среды как капитанский мостик корабля, ушедшего в траву, как в воду. Вот она — шлюпка, спешащая к берегу, и прощальный взгляд израненной команды на реющий флаг. Впрочем, если навести на резкость бинокль, это не вовсе не флаг, а всего лишь большая табличка — *туалет платный*.

Приговор банальности. Просто не бывает такого, чтобы ничего не было.

Львовские улицы похожи на разлетевшиеся качели и скособочены во всех мыслимых направлениях. Такие улицы любят еврейские художники, им это близко — мятежная готовность растрясти родовое гнездо, побыстрее выпасть из него, чтобы потом всю жизнь мечтать вернуться сюда, в перекошенные улочки, в то самое место, где, повинуясь силе древних формул, время воскрешает растворенное в нем прошлое. Пока они витают где-то поблизости, чернеют птичьими грудками жилеток, держа за руки смешливых подружек, и припоминают знакомые дворы, глазастые окна с бельмами занавесочек, жирную осеннюю грязь и убогие лестницы, ведущие под звезды.

Хвала бережливости! Какие-то знаки сохранились с тех давних лет, голоса в подъездах звучат среди затхлой сырости, особого сумеречного воздуха и следов былого достатка, позволившего себе мраморную лестницу, плетение потолочного узора в белесой чешуе осыпающейся краски и игривые

излишества фасада. Городской пейзаж пестрит находками, как содержимое лавки старьевщика, а среди хлама то и дело попадается нечто особенное. Львову не очень везло с биографией, и, наученный опытом перемен, город заменил нервические поиски счастья меланхолическим ожиданием. К лучшему, если понадеяться, как следует. Философия — хорошее лекарство от скуки. Дворец пионеров открыли в помещении бывшего публичного дома. Красный фонарь сменили на красный галстук, и невинность стала пределом терпимости. Тем более сейчас, когда невинность можно восстановить. И совсем недорого. Кающаяся грешница не могла бы желать большего. Заплатите, и все устроится…

Напротив сквера, с другой стороны улицы и, как положено в этом городе, чуть повыше стоит розовый (будто под макияжем) удивительно изящный домик, ступеньки сбоку ведут на высокое крыльцо, рядом с балконом темнеет раскрытое окошко, оплетенное виноградной лозой, все это, конечно, настоящее, но чуть смещенное в область грез. Тень Маргариты колышется в глубине окна, поджидает хозяйку, которая отошла, чтобы разглядеть себя в семейном зеркале. В пути с востока на запад карету нашего воображения непременно начнет трясти и подбрасывать.

Наша дама появляется, что называется, на минутку, это видно по простенькому платью в серый горошек и розовой кофте, наброшенной наугад, в расчете на капризы погоды. Кутает в нее руки и спешит. Вся она сейчас — торопливое скользящее движение, и глаза, подходящие для женщины, встающей в шесть утра. Обстоятельства, конечно, диктуют разное, но такова природа утренних женщин. Валентина ведет нас, почти не поднимая головы, сосредоточенно глядя перед собой, что совсем не лишнее при крайней изношенности местных тротуаров, а сама она уже далеко, при *исполнении*, в дневных заботах.

Небольшие комнаты плотно под потолок загружены мебелью, кажется, здесь не хватает воздуха, а света в плотно заставленном растениями окне, действительно, маловато. Вообще, это не та квартира, о которой мы договаривались. Ту Валентина предоставила подруге — барменше для личных встреч. Но барменша или ее друг потеряли ключи. Барменшу зовут Жанна. Подходящее имя для романтической женщины, хоть потеря ключей — осенний знак, если вспомнить душеведа Фрейда.

— Поживите пока здесь. — говорит Валентина. — Может, так даже лучше. — О том, насколько лучше, мы поняли потом, а пока согласно закивали. Придется перебыть в квартире погибшего искусствоведа, пока хозяйка в отъезде.

— Вот у нее был муж. — Говорит Валентина мечтательно. Под настроение и о прошлом можно мечтать. — Братья, а не похожи совершенно. Мой только рыбу ловить умеет.

— А этого разве мало?

— Потом он ее сушит… — Валентина запинается и, видно, додумывает про себя. Вот так он засушил ее жизнь, поймал на крючок несбывшихся обещаний и засушил. Конечно, она и теперь спешит, торопится, но торопливость эта механическая, привычная, без чувства, а потому, что *так нужно*. И теперь она уходит, именно, торопясь. Дверь снабжена колокольчиком, и он, прощаясь, звенит ей вслед.

Женщины во Львове особенные, героини *Флорентийских новелл* Возрождения. Это не моя фантазия. Так их характеризует один из бытописцев старого города. Страстные и вероломные. У бытописца есть доказательства — судебные дела из городского архива за семнадцатый век. И точно, в этих делах — сюжетный концентрат для блюд на любой вкус. Не нужно ничего придумывать. Добавил перца — готова пряная адюльтерная история, добавил манной крупы — получил назидательный повествование с моралью для падших женщин. Вкушай по вкусу:

Гальчинка Фричанка содержала любовника Зарембу и искала случай, как избавиться от постылого, но богатого мужа. Заремба был капризен и ненадежен, Фричанка жила в постоянном страхе, как бы не бросил, что ему, шикарному на средневековый лад мужчине. Нужно было на что-то решаться. И тут Фричанка узнает, что в Злочеве стражники ловят опасных преступников. Под каким-то предлогом она отправляет туда мужа с письмом. Таким, что мужа можно изобличить как пособника. За содействие полагалась казнь через повешение, Фричанку это очень устраивало. Не полагаясь на сообразительность стражников, вдогонку она отправила донос, мол, скоро появится человек для связи с теми, кого они ищут. Дожидаясь приятных известий, Фричанка была особенно нежна с Зарембой. А муж (вот досада) вернулся жив и невредим, его, действительно, задержали, письмо нашли, учинили дознание, но ему — законопослушному удалось оправдаться. В Злочеве у него, действительно, было дело. И он вернулся, ни о чем не догадываясь. Мало того, он рассказывает жене о чудесно пережитом приключении. Каково это слушать и поддакивать, глотать слезу и делать счастливое личико, зная, что капризный молодчик Заремба в этот же час перебирает адреса львовских красоток. Фричанка в отчаянии, и (вероломная женщина) принимает удивительное в своей простоте решение. Она не выпускает чудом спасшегося мужа из постели и раз за разом требует от него выполнения супружеских обязанностей.

Простак старается изо всех сил, но он — человек в летах, а пылкая Фричанка ненасытна. Или пусть дает расписку, что по причине слабого здоровья он в жене не нуждается. Измученный сексуальной хищницей супруг прямо в постели подписывает капитуляцию. Фричанка обретает твердость и холод льда и объявляет нечто вроде развода. Пусть по закону (католическому) это невозможно, но у Фричанки наготове житейские доводы. Она размахивает бумагой и открыто сожительствует с развратником Зарембой. Но тут общественное негодование вскипает, и любовники вынуждены покинуть город. А что брошенный супруг? Злочевские похождения, хищные домогательства распутницы и прилюдное умаление мужского достоинства сказались на несчастном самым прискорбным образом. Вы догадались? Но покойный муж был богат, и Фричанка возвращается за наследством. Она — законная жена, а возмущение родственников ее не волнует. Дело разбирается в суде. Обстоятельства прояснены и подтверждены документами: ложный донос, протокол тамошнего дознания, и, наконец, расписка — зловещее предупреждение всем честным мужьям — все это теперь перед судьями…

Увы, последние страницы *дела* в архиве не сохранились. Протоколы заседаний заканчиваются фразой, которую дерзкая Фричанка бросила в лицо судьям:

— Я не заяц, и барабана не боюсь… — Дословно записано судебным секретарем.

Как это понимать?.. Зато в другом *деле* приговор вынесен по всем правилам. Некая русинка Настуся Григорович водила за нос влюбленного купца Балтазара Грабовского. Балтазар был немолод, но очень богат. Он писал русинке любовные письма, делал щедрые подарки, деньги отправлял ежемесячно. Настуся отвечала благосклонно, но с насмешкой, что стало понятно, когда история открылась. А до той поры все выглядело как невинное кокетство, многообещающее потрескивание хрупкой скорлупы, которую являет собой женское целомудрие.

— Как она скромна и доверчива, — думал Балтазар, с нежностью разглаживая Настусины послания. — Какое счастье, что этот распустившийся бутон тянется к нему трепетными лепестками. — Балтазар со вздохом глядел на себя в венецианское зеркало и подбрасывал Настусе деньжат.

Если бы эта правдивая история оформилась в ярмарочное представление, зрители давно бы подсказали Балтазару правильный ответ и вдоволь потешились над его пылким простодушием. Свои послания Настуся сочиняла вместе с любовником, красавцем Кириаком Папару. За семь лет

купеческого ухаживания на Папару ушло четыре тысячи злотых, деньги очень немалые. Потом обман открылся, Настуся купцу окончательно отказала и официально объявила Папару своим избранником. Балтазар понес бумаги в суд, он с профессиональным прилежанием вел учет жертвам на алтарь Гименея. Когда суд ознакомился с бухгалтерией, стало ясно, что Балтазара все эти годы бесстыдно водили за нос. Честные люди не могли придти в себя от возмущения. Дело рассматривалось в суде под руководством православного епископа Шумлянского и закончилось отлучением Настуси и Кириака от церкви. Дословно приговор выглядит так. Поскольку Настуся Григорович отступила от обещания, обвенчавшись с развратником, отлучить обоих от светского общества, еды и питья, и, как несокрущающихся развратников, проклясть. Пусть они будут прокляты со своими домами и поглотит их земля заживо, и да сделаются они каменными, как жена Лота до страшного суда, и да будет лучше в Содоме и Гоморре, чем им — нами проклятыми.

По моему, убедительно, хотя, как исполнялся этот мрачный приговор, нам неизвестно. Истории недосказаны, в этом их особенная львовская многозначительность. Порок не всегда наказуем (в полной мере), а добродетель вознаграждается кое-как (по крайней мере, в земной жизни) — об этом во Львове знают. Угодья земные и небесные расчерчены, как шахматная доска, и можно заранее прикинуть, на что рассчитывать. Проповедь, как школьное стихотворение, нужно заучить, чтобы не суетиться в сомнениях, подыскивая подходящие слова… и оправдания, если уж так вышло…

Как-то я сидел близ Доминиканского костела и созерцал запущенный ландшафт, с которого начинался старый город. Надломленные скамейки, чахлый какой-то заборчик, столб едкой пыли, натужные усилия агрегата, шлифующего заскорузлую стену. Рядом со мной деятельность адской машины почти не ощущалась, а ближе к источнику звука было заметно роение мужчин неприхотливого вида. Так бывает, люди устают от самих себя и существуют исключительно по инерции, по крайней мере, в трезвом виде. Пейзаж выглядел гармонично, и собор его не портил. Иногда кто-нибудь срывался из эпицентра роения и, подхваченный децибеллами дикого визга, устремлялся в сторону ближнего гастронома. Зато здесь — *у нас* состояние природы было близким к идиллическому. Рядом на базарной остановке мелодично позвякивал трамвай, мерцал тусклый свет подступающей осени, а в нем легкая печаль, которая, как вирус при чихе, доносится до этих мест от близкой Польши. Все это как-то и к чему-то располагало, только бы знать к чему. Рядом

плюхнулся здоровенный мужичина, в облике киношного агронома, вплоть до старомодной авторучки в нагрудном кармане пиджака. Выдалась свободная минута, но он не привык сидеть без дела и теперь постоянно вертел головой, пока не определил нечто свое, требующее действенного участия. Неподалеку в траве, навзничь, раскинув под длинной юбкой ноги, лежала женщина, неопрятная, откровенно спившегося вида. Цивилизационный элемент, который зовется носками, отсутствовал, открывая грязные щиколотки в стоптанных туфлях. Женщина ничуть не выделялась из пейзажа, пожалуй, даже не места, а времени, изобилующего бродягами и бесприютными людьми. Глаз вписал их в перечень узнаваемых примет среды обитания или одичания, так даже точнее. Смотрятся они совершенно естественно. Но мой сосед напрягся.

— *Жінці погано, чи вона так?* — Вопрос был риторическим, он сорвался с места, живо добрался до лежащей, по деловому пощупал пульс, заглянул сбоку в лицо и вернулся на место.

— *Ні, вона так, просто п'яна*.

Я пристыженно (о себе) отметил автоматизм и точность его порыва.

— *Та нічого*. — Он оправдал мою бездеятельность. Так, должно быть, Робинзон обучал дикаря Пятницу началам практической этики. — *Але, якби погано, треба було лікаря викликати. А вона просто п» яна.*

И тут же вскочил, побежал, утирая платком красную шею. Проповедь учит не столько абстрактным представлениям о добре (для этого ангелы летают), сколько действенной готовности к состраданию. И, заодно, пониманию нестесненности греховного выбора: хочешь пить — пей. Свобода безрассудна.

Алик расположился в угловой комнате — детской рядом с гигантским аквариумом, в котором лениво скользили блестящие от электрического света рыбы. Ночью под раскрытым окном бродила старуха. Она была замечена еще днем — согнутая, сухая, не человек, а оживший иероглиф. Старческое упрямство похоже на ожесточенное сопротивление последних солдат у знамени, когда исход сражения бесповоротно решен. Теперь в лечебнице не держат таких безвредных, и женщина, впрочем, не очень еще и древняя, истощенная и неопрятная, бубнила одно и то же про шляхетское происхождение и *Матку Боску*. Спать под ее бормотанье было невозможно. Вспоминала про сокровища, зарытые в Иезуитском парке — перетоке городского пространства от собора Святого Юры к центру.

— *Що ти там забула в цьому парку. Все знайшли без тебе*. — Увещевал голос с балкона.

— *То мій Карол там був з жолнежами.*

— *Та нема там нічого. Люди перекопали усе. Знайшли б, якщо було. Йди, бо треба людям спати*[7].

Рядом с нами — Стрийский базар. В понедельник он закрыт, торговля теснится по периметру, отороченная от проезжей части железными перильцами. В чужом городе многое удается, на что не хватает времени дома. Хотя бы прохлаждаться без дела напротив Стрийского базара с бутылкой молока и раздерганной в куски булкой — любимым меню бурсаков и семинаристов.

— Я еще бурячок отварю. — Говорит Алик. — А чего? Молочка попил и хорош. Не выспался. Где здесь Иезуитский парк, не знаешь?

— Искали уже. Но прокат лопат организовать не мешает. Не может быть, чтобы ничего не осталось. Перспективное занятие…

— Оптимизма нужно очень много. — Вздыхает Алик.

Вечером пришла Валентина, она отличалась от той, утренней — озабоченной и спешащей. В аккуратной блузке и брючках она очень привлекательна. Рыжеватая кожа светилась. Домой ей не хотелось, это было заметно. Уже было поздно. Но Валентина не боялась ходить одна. Сидели на кухне и, приятно скучая, пили вино. Разговор шел прозаический.

У зятя украли ящики с товаром, да, да, она молодо выглядит, а зять взрослый. Так вот, украли товар, вернее, не у него, и не его вина, но теперь не докажешь. Что муж, что зять, ей с мужиками везет. Если бы не дочь… А так она оставила зятя дома, сама пошла на разборку. Угрюмые люди ждали в подъезде. Им нужен был зять, причем здесь Валентина? Но она явилась и убедила.

— То есть как?

— Вот так. Они на горло, и я на горло.

— И обошлось?

— Да.

— Я не заяц и барабана не боюсь?

— Что?

— Присказка из одной старинной истории. А где здесь парк Иезуитский?

— Ой, все спрашивают. План, говорят, есть, только где он. Раньше думали, у секретаря обкома в сейфе. Потом привезли того с палочкой, которая на металл клюет. Три дня ходил. Нет ничего. И Еврейскую всю перестучали, кто-то, говорят, находил, но они разве скажут…

Еще одно место, где искали клады, — рядом со старой синагогой. Еврейской улице вернули прежнее название. Сейчас там полупустые дома с тусклыми от пыли окнами, а когда-то было бойкое место. Немцы синагогу взорвали, а до того была

старейшая во Львове, хоть на время переходила в руки иезуитов. Было это несколько веков назад, иезуиты задумали открыть во Львове монастырь и позарились на эту синагогу. Возникла тяжба, которую магистрат решил в пользу иезуитов. В тот день еврейские женщины рвали на себе волосы, а христианский народ со свечами освящал синагогу под храм. Торжествовали. Но на следующий день ворота в новый храм оказались заперты, а вход теперь вел сквозь жилище Мордехая Нахмановича — главы еврейской общины. Синагога была прямо за его домом, и хозяин сам решал, кого пускать. Право собственности на землю и жилище. Здесь магистрат оказался бессилен, не переписывать же законы, чтобы досадить евреям? Отцы города вернули синагогу прежним владельцам. Теперь евреи торжествовали и пели свои гимны. В дальнейшем каждый еврей, идущий в синагогу, должен был пройти через дом Мордехая.

Среди львовских евреев особо почиталась *золотая Роза*. Роза была племянницей Мордехая, дочерью его брата Натана Нахмановича. Тут много от легенды, но совпадение ситуаций делает историю правдоподобной. Роза была замечательно красива, очень богата и страстно предана Б-гу. Тогда евреи строили новую каменную синагогу, вместо сгоревшей деревянной. Пока шло строительство, власти не вмешивались, а потом вытащили подложный документ, утверждавший права города на землю, и здание отобрали. Верховодил львовский епископ, смертельный враг евреев. Решение было за ним, и он затребовал непомерные деньги. Собранных средств не хватило, на это и был расчет. И тогда Роза пожертвовала все свое состояние на выкуп синагоги. Епископ поставил новое условие, она сама должна принести ему деньги. Общение с мужчиной чужой веры было для Розы тяжелым испытанием. Но она пошла на это. Тогда епископ затребовал совершенно невозможное: Роза должна провести у него ночь. И вновь она согласилась в обмен на документ, навсегда утверждающий право евреев на владение зданием. Между ними состоялся разговор. Епископ: — Сначала останься, я тебе не верю. Роза: — Мой обман можно исправить, если обманешь ты, я теряю все — честь, веру и свой народ. Епископ подписал бумагу, и в тот же вечер в синагоге зажглись праздничные огни. А Розу на другой день нашли мертвой.

Источники начала двадцатого века вспоминают об этой истории с раздражением и упрямством нераскаявшегося грешника, даже ставят под сомнение сам факт самопожертвования. По другой легенде Роза подверглась насилию сбежавшихся на погром студентов-иезуитов. Она встала на их пути. Могла отойти в сторону, но не отошла… Сама

виновата… Есть и такое объяснение.

Истории о Золотой Розе рассказывают близ продолговатой ямины с остатками фундамента. Прямоугольник двери в заднике ближнего дома и окрестные стены обозначают пространство былой синагоги. Дом Г-пода выпотрошили и вывернули наизнанку. Скверик рядом, буквально на руинах. Могила Розы на старом Еврейском кладбище на Клепаровской улице была в числе особо почитаемых местных святынь, еврейские женщины молились на ней, просили заступничества *золотой Розы* перед Г-дом. Еще в двадцатом веке, при поляках оставалась эта могила, совсем близко по историческим меркам. Потом немцы взорвали все кладбище. Ценный камень с надгробий вывезли в Германию. Музей задумали создать стертых с земли народов. Не вышло. Красная Армия помешала…

Исторический материализм, как мрамор с разрушенных могил, не предвосхищает историю, а подводит ее итог. На первый взгляд, ничего не осталось. Но сохранились едва различимые следы тех давних людей в замерших улицах и дворах. Следы, затерявшиеся во времени, как теряется между страницами книги лист растения или письмо, чтобы напомнить о себе спустя годы. Таков был их общий мир — поляков, украинцев, русских, евреев, живущих чуткой обидчивой памятью. Нигде так не видны эти скрепы и трещины, разделяющие соседей по общему дому, — *рудери* (рудэры — так слышится по украински), как они значатся в старинных описаниях. Осознание дается в изменении от лучшего к худшему, никогда не наоборот. Но пока иллюзии сбраживают реальность и опьяняют идеями, мало кто думает о похмелье.

Осень еще впереди, но заметна усталость позднего лета. Венчает его День Независимости. В центральном кинотеатре — специальный сеанс хроники.

— *Вот так вони її цінують — незалежність* — Жалуется одинокий зритель. — *Добре, що ви підійшли. Теперь з вами п'ятеро. Можно починати.*

— *Четверо*. — Поправляет билетерша. — *А той без квитка*.

— *Ну, то й шо, що без квитка. Він хіба сліпий? Буде ж дивитись*.

— *Ой, дядьку, ви ходите, ходите, а наче не знаєте. Сеанс, коли не менш п'яти квитків у касі. Того не рахуйте. Мені директор наказав, я його пускаю без квитка. А тут що? Ви, оці двоє* (это мы), *дівчина. А де ще?*

— *Так директор того й мав на увазі, щоб був кворум.*

— *Не знаю, що там за кворум, в касі чотири квитки, а мусить бути п'ять.*

— Що ви за жінка. Так і будемо чекати? В Києві зал був повний, а у нас? Ганьба. Це хіба вільни люди? Це — раби.

— Дядьку, ви йдіть та відпочиньте трохи. Раби, не раби. Для чотирьох не буде. Ви хочете, наче політбюро.

Тут появляются сразу три девушки, студентки по виду. Теперь зрителей семеро, а с безбилетником — восемь.

— Ну, той шо? Будемо крутити?

— Будемо, якшо терпець маєте. Йдіть у залу, починаємо. Проходьте, проходьте. О-о… Бачите, тепер йому до туалету треба [8].

Давняя хроника производит впечатление: заснеженый Киев, морозное дыхание толпы, ладная кавалерия, делающая парадный разворот, теперь такое увидишь только в цирке, а там новые полушубки над лошадиными хвостами, все очень всерьез, суетливый проход Грушевского поперек площади — человек на фоне толпы всегда кажется немного безумным.

Во львовских дворах сыро и сумеречно. Бывают такие места, где проще поверить в сновидения, чем в реальность. На помощь приходят точные ориентиры времени. Кран с полукруглой раковиной в стене дома, ржавый обломок эпохи. Австрийские законы требовали обязательной санитарии. Общественный туалет с висячим замком во избежание посягательства прохожих. Только для своих, привилегия нищеты. Место сушки белья, сдавленное стенами, в паутине бельевых веревок, намотанных на остаток фигурной консоли. Сочащиеся влагой простыни. Темное окно, глядящее в глубину двора, далекое, как черная дыра во вселенной. Кто в ней, и есть ли там жизнь? Здесь есть, вплоть до вывешенного на обозрение белья. И самих женщин, сидящих в углу двора, застывших в предвечерней тени, сотканных из плотного воздуха.

Соседний двор пошире, с пыльным деревом в глубине и асфальтовой заплатой по случаю визита в город Папы Римского. Армянская церковь. Львов — середина пути. Армяне — неутомимые муравьи, ползущие во все стороны средневековой Европы, от города к городу, оставили здесь на чужбине каменную плоть далекой родины. Кряжистые колонны открывают пространство галереи, вымощенное могильными плитами. *Тайная вечеря* в алтаре повторяет армянскую миниатюру, без подсказки узнаешь друзей иконописца с любимым учеником в центре композиции. Привилегия художника — оставлять память о близких. А в церковном приделе — остатки старых фресок, блеклые контуры райских птиц среди извивов орнамента. Здесь хорошо, как бывает в армянских церквях, часть жизни вынесена на подворье, среди хачкаров, поминальных врезок, смазанных

временем настенных скульптур и Фомы Неверующего, ухватившегося за одежды Христа. Органист по имени Самуил жил в соседнем доме — на Армянской 13. Он играл на старинной фисгармонии с ножной (органной) клавиатурой, и звуки Баха сопровождало равномерное гудение пылесоса, который гнал воздух в меха инструмента. Разговор органа с пылесосом озвучивал коллизию первых дней творения, рождение мира из сгустков космической пыли и тяжелого гула проснувшейся Вселенной. Надеюсь, я ничего не перепутал…

Вернулась хозяйка, она съездила в Киев за сыном, который провел месяц у сестры во Франции. Валентина готовилась переселить нас в оговоренную квартиру. Что-то мешало определить нас туда сразу. Говоря о квартире, обычно деятельная Валентина проявляла странную робость. — Может, не нужно? — спрашивала она риторически и тут же сдавалась ввиду отсутствия сколько нибудь приемлимого варианта. О гостинице речь не шла, мы пригрелись возле Валентины и не спешили расставаться. И она дорожила нашим обществом. Каждый вечер Валентина приходила принаряженная.

— Дома ее не ждут, — говорила она загадочно, и тут же поправлялась, — почти не ждут. А кроме того она не боится ночью ходить одна. В Валентине было стоическое терпение женщины среднего возраста, ожидающей лотерейного выигрыша. Сидели старомодно, пили вино. Разговор шел ни о чем, может, даже корыстный с нашей стороны, если под корыстью понимать интерес к обстоятельствам чужой жизни, лепку образа в дополнение к живой Валентине в цветастой кофточке и тугих брючках, открывающих изящную ножку. Было нечто, что возникает в такие вечера без чувственного влечения, по крайней мере, в той самой осознанной форме, которая сама по себе ведет игру. Может быть, именно в силу этой безыскустности, остается нечто, о чем изредка вспоминается с неясным ощущением утраты. Само это ощущение требует дополняющего усилия памяти, подсказки и только потом проступает неотчетливо — свет от прикрытой абажуром лампы, Валентина, восседающая на высоком стуле, вернее, просто фигура женщины, обезличенная смутным воспоминанием, овал лица, обобщенный образ вечерней гостьи, неспешная беседа почти ни о чем.

Ей было жаль с нами расставаться. А нам с ней. Нашелся ключ. Валентина сообщила эту новость вскользь, будто проговорилась. Ключ нашелся. Даже не так. Любовник Жанны забрался в квартиру через балкон и взял запасной. Львовские пятиэтажки глохнут в густой зелени, как древние храмы в дебрях Камбоджи. Разнообразия хватает без обезьян, вот и любовник

заполз по древесному стволу на заветный балкон.

А квартира оказалась удивительной. Диван был единственным предметом мебели, годным для осторожного пользования. Стена в ванной рухнула и лежала на полу грудой плитки. Проводка погибла. Пользоваться санитарией приходилось наощупь, дверь в коридор держали открытой. Просиживая на унитазе в дробящемся свете далекой лампочки и разглядывая шевеление пещерных теней на разрушенной стене, можно было размышлять над началами платоновской философии. Эйдосы разгуливали под нудное постукивание соседского молотка. Как в охотничьей хижине, лежали загодя заготовленные спички и огарок свечи. Розетки не работали. Ступить на балкон было некуда, его перегораживала непонятные ящики и антенна к мертвому телевизору. Из чайника, клубясь, лезла наружу ядовитая плесень. Единственным островком благоденствия оставался диван. Он был похож на корабль, причаливший к острову, заселенному кровожадными дикарями. Сходить на берег было опасно, прогулка могла закончиться прощальной надписью с бурыми подтеками на изодранных обоях. Что-то похожее там уже было. Личная жизнь барменши Жанны оказалась подвигом, любовная и героическая лирика сплелись воедино — прильнувшие друг к другу тела мужчины и женщины, и продавленный до пружин ковер-самолет (все тот же диван) в парении над первозданным хаосом.

— Это квартира зятя. — Прояснила Валентина немой вопрос. — Дочь сейчас у нас, а он в Москве. Повар, но работает строителем.

— Строитель — поваром?

— Нет. Повар — строителем.

— М-да. Москве нужны специалисты.

— Он толковый. Золотые руки. Все умеет. Не то, что муж.

— Заметно. Дочери повезло.

— И не говорите. Сейчас это такая редкость…

Когда бродишь без цели, сюрпризы неизбежны. На улице Франко (как много в этом имени зависит от ударения) мы наткнулись на воинский парад. Парад мчал нам навстречу. На малой скорости он проехался по центральному проспекту, и теперь, крутя новенькими шинами, спешил в казармы к праздничному завтраку. Разглаженный и раскрашенный до последнего винтика парад смотрелся франтом. Военные сидели нерушимо, сложив руки в белых нитяных перчатках, и глядели друг на друга стеклянными глазами. Ощущалась торжественность момента, у военных это особенно заметно.

Вот машина с пулеметом,
А на ней стоит солдат.
Он сегодня по работе
Бережет нас всех подряд…

Колонна прошелестела длинной змеей, махнула хвостом с сигнальным флажком, сверкнула милицейской мигалкой и уползла в убежище. А мы отправились гулять по городским холмам. Вместе с Валентиной, возвратившейся Наташей и ее одиннадцатилетним сыном — долговязым бойким подростком. Достоинство и недостаток хорошей компании в том, что дороги не замечаешь. С коварством фокусника, компания расслабляет внимание и извлекает на показ нечто вроде белого кролика взамен обещанных красот и впечатлений. Теперь, когда вспоминается та прогулка, мне видится впереди чуть сутулая (не без изящества) спина Валентины (в памяти она все лучше и прекраснее), крепенькая фигура Наташи почему-то с квадратной футуристической головой. Все замечательно, как в трамвае за минуту до того, когда кричат караул и хватаются за безнадежно опустевший карман или изрезанную сумку. Все случается буквально на глазах, но рассказать нечего. Конечно, можно вернуться и пройти весь путь заново, внимательно оглядываясь, прислушиваясь и осматриваясь, как охотник, который проверяет расставленные загодя силки. Но это пустые старания. Как раз среди них кроется изнанка ситуации, с которой трудно смириться — шляпа пуста, факир трезв, фокус удался и повторить его дилетанту не под силу. Остается собрать по клочку, что сохранилось почти случайно. Громадные слитки краснокаменных соборов на прозаических дворах, густо заросших бьющей сквозь камень травой, запустение, безлюдье, удивительное чувство покинутости, будто сама душа заблудилась в этой особенной, как глицерин, среде, рождающей фантомы. Осени еще нет, но она уже здесь, так среди ночи часовой ощущает присутствие неприятеля и спохватывается навстречу близкой опасности. Особенная неподвижная застывшая тишина. Изнывая от обладания, хочется передать восторг минуты, но как это сделать, когда само по себе ощущение бесформенно, как разведенный крахмал.

У одного из костелов — недавнего противотуберкулезного диспансера мы потерялись. Пока мы с Наташей разглядывали в бинокль скульптурные детали, глуповатый и приветливый служка — такие здесь удивительно к месту — повел остальных осматривать помещения с тыльной стороны здания. Мальчик

увязался за Аликом и Валентиной. Наташа с большой коротко стриженой головой и смелым взглядом казалась беспечной хохотушкой. Но тут она изменилась. Теперь она была сама не своя, она боялась потерять сына. Когда погиб от пули отец, Мише был год, теперь одиннадцать, все это время она живет в постоянном страхе, в напряжении, протянутом, как нить сквозь иглу, сквозь каждую минуту ее жизни. Внезапная насильственная смерть оставляет особый след, отметину судьбы. Если бы то была болезнь, изматывающий, но закономерный процесс умирания, все было бы иначе. Но в том, что настигло ее, есть мистическая изощренность, которую психика не может исчерпать.

А когда ребенок за границей, она спокойна. Казалось бы, перелеты, чужая страна, аварии на дорогах, в конце концов, мало ли что, но она спокойна. Ребенок гостит в поместье у тетки. Наташу во Францию не пускают, сестра осталась там, вышла замуж, и французские консульские службы оскорблены обманом. Теперь они мстят, за этим кроется понятное опасение, что Наташа повторит путь сестры. Ей не дают визу, в паспорте тиснули жирный штамп, где прямо так и значится. Отказ. Франция от присутствия Наташи только бы выиграла. Это не комплимент. Почему эти женщины так рвутся, уехать? Тем более выясняется, что у сестры не все гладко, бывает и такое, даже среди полного благоденствия, даже на юге (ребенок через Барселону летел), в каком-то удивительном месте. На фото сестра выглядит довольной, но на снимках они все довольны, будто сам объектив требует соучастия, собирая свой особенный *любительский* мир коллективного и добродушного слабоумия. Только покойники, преступники и политики держатся значительно, остальные улыбаются. В жизни не так, или, по крайней мере, намного разнообразнее. Дети французского мужа интригуют, они предвидят раздел наследства, и улыбка молодой жены среди розовых кустов кажется им зловещей. Взрослые дети — они твердо считают, что французский папаша должен доживать один и беречь их состояние. А тут эта женщина, теперь еще и мальчик.

— Все время в саду сидел — рассказывает Миша. Он чувствует напряжение силовых линий, дети быстро их определяют. — Тетя сказала, не попадайся на глаза лишний раз. Обрезай кусты. Вот этот и этот, дорожку хорошо подмети. Не ленись. А там дорожек знаете сколько. Видишь, мозоль от ножниц. — И Миша тянет загорелую ручку. Но Наташа не дает сбить себя с толку, она уже строит план на следующий год. — А что здесь? Хочет на плавание записаться. Боже, я с ума сойду.

Местные холмы как часть львовского ландшафта не ценятся досужими приезжими, и очень напрасно. Улицы теряются как-то

внезапно, оставляя тропинки, ступени и стену деревьев, отделяющих холмы от городского пространства, окутанного прозрачным воздухом позднего лета. В зелени таятся фигуры молодых людей. Жарят шашлык. Поперек заросшего темного пруда лежат старые деревянные мостки, наводящие на глупую мысль — пройдет ли здесь кавалерия — все эти, выступающие стройными рядами, уланы и драгуны.

Возвращаясь в город, мы снова наткнулись на солдат, нам сегодня везло на военных — какая-то часть, какое-то подразделение, где-то рядом казармы, и, они, почти без строя, торопливо пересекали улицу. Передние — здоровее остальных, поспешали деловито, а отставших — низкорослых было жаль. Худые шеи торчали из расстегнутых воротничков. Никакого сравнения с утренним парадом на пути к победам и славе. К вечеру армия устала от самой себя, от своих генералов и сержантов. Лишь поспешный топот множества ног. Валентина и Наташа вздохнули разом, женщины чувствуют одинаково.

Потом мы сидели в кафе, напротив одинокого костела Сакраменток — исповедниц Святого Духа, уже ничему не удивлялись, потому что во Львове само удивление входит в привычку. Пили пиво, а пиво возвращает миру заурядность. В мире пива лучшим и желанным праздником служит дешевая распродажа. Всего, что угодно душе и телу, карнавал по средствам. Когда город отравлен меланхолией, лучшим вознаграждением служит здравый взгляд на жизнь, и пиво здесь уместно. Во Львове его любят.

По пути Валентина заглянула домой. Была идея — какая-то давняя (про такую говорят — *заветная*) бутылка кагора, и Валентине хотелось украсить ей прощальный вечер. Ее отговаривали, всего хватало, и можно еще купить. Но она так решила. И вернулась огорченная. Муж запер бутылку в своей комнате.

— Какой человек. — Сокрушалась Валентина. — А ведь по любви выходила.

— Любовь прошла и высохли галоши.

— Вот именно.

— Давайте выпьем и забудем. Вонзим.

— Вонзим. — Наташа громко смеялась. Такая женщина может обратить на себя внимание. Разговор пошел рывками.

— Ну, как я могла подумать, что он ее спрячет.

— Сестрице нужен документ. Одна подпись, и она — полноправная француженка. А детки подстрекают — не давай. Завтра он умрет, и что будет?

— Не умрет. Они там долго живут. Я видел.

— Миша, не умничай. Иди спать.

— Валя, хватит вина. Хороший портвейн. Прекрасный.

— Я думала, рыбу захватить. Он рыбак. И рыбы нет.

— Валя, ну что ты.

— Наташа, не спорь, ты *всего* не знаешь.

— Я не спорю. Жаль, не зашли в кафе. Где сало в шоколаде. Вся наша богема собирается.

— Сало в шоколаде? Я думал, это шутка.

— Какая шутка.

— И вы пробовали?

— Конечно. Сначала немного тошнит, а потом привыкаешь. Во время беременности хуже. Когда Мишу носила. Миша, сколько раз повторять, иди в ванную, мой ноги и немедленно спать. А тут, обратите внимание. Вы сало с кофе будете?

— Как это?

— Значит, нет. А шоколад с соленым огурцом? Или луком.

— Шутите?

— Ну, вот. А тут можно и с луком, и с кофе.

— Что можно?

— Сало в шоколаде. Универсальный продукт.

— Сало в шоколаде?

— Сало в шоколаде.

— Вы меня не убедите.

— Правда, правда. Ой, звонит кто-то.

Валентина будто ждала, выпорхнула из-за стола, переговорила вдалеке, пожалуй, даже на лестнице и вернулась торжествующая с бутылкой кагора.

— Зайти не захотел. Бери, говорит, и не думай, что мне жаль. А рыбы нет.

— И не надо. Хороший человек. Вы с ним поласковее.

— Да, разве я. — Валентина махнула рукой и впервые засмущалась. По крайней мере, такого за ней раньше не наблюдалось.

Миша спал при свете ночника под убаюкивающее скольжение аквариумных рыб. А в ближней комнате — над стопкой собственных статей об итальянском Возрождении стоял портрет погибшего искусствоведа. Говорят, лица погибших внезапной насильственной смертью сохраняют особый отпечаток. Лицо убитого обрело скульптурную завершенность и походило на резного Христа. Даже не скажешь, чем больше, то ли типаж, то ли судьба. Густая борода, впалые щеки, взгляд не в объектив, а мимо. Мимо живых. Его готовили для поездки в Италию, тамошние музейщики выделили ему персональную стипендию под научную работу. Ждали. Месяца не хватило для новой жизни.

Рассохшая гитара не исторгла ни единого музыкального звука, как Алик не старался. Но и так посидели неплохо.

Любовь прошла и высохли галоши,
и вот теперь в аллеях золотых,
как барыня, хозяйничает осень,
не меря на своих, и на чужих…

Киев, 2000 год

Кременец — вид с горы и на гору

В провинции природа хозяйничает на законных основаниях, не ждет милости от городских властей, не требует адвокатов, ссылающихся на чистоту воздуха, как на последнее средство самозащиты. Одухотворяющее начало природы незаметно в большом городе, там она подстрижена и принаряжена, как приученный к паркету пудель. Иное дело в провинции. Здесь природа живет свободно. Особенно выразительны цвета осени — перетекание перегоревшей зелени и желтизны всех оттенков в багрянец, будоражащий поэтические начала души. Потому так часто осенние цвета присутствуют на обзорных открытках, подписанных и сегодня с горделивой выразительностью — *Кременецъ*. Имя должно звучать твердо. Когда-то путешественник Глаголев, открывавший эти края для русской публики, описывал Кременец как край дикого вида утесов. Было это в романтическую эпоху, русские постигали сумеречное величие горного пейзажа, глаголевское описание пришлось между знакомством с альпийскими видами и завоеванием Кавказа. *Кременецъ* был дальней окраиной империи, почти недоступной для обывательского воображения, сюда отправлялись по казенной надобности или миновали эти места с разгона по дороге в Европу. Россия шевелилась медленно, как бы во сне. От того и дикого вида утесы…

Однако, тогдашние кременецкие интеллектуалы отнюдь не считали себя провинцией. Местный лицей был одним из престижных, наряду с университетами Варшавы и Вильно. Здешние лицеисты пытались переменить ход истории. После Польского восстания 1830 года, в котором они приняли деятельное участие, лицей был расформирован и разграблен. По приказу Николая Первого огромная библиотека лицея — старинных книг свыше 50 тысяч, обширные ботанические коллекции (12 тысяч растений) были вывезены в Киев. Там эти сокровища легли в основание Киевского университета Святого Владимира. Вот история, которую не мешало бы оживить.

Главная точка обзора местных достопримечательностей находится на Боне, среди развалин старой крепости. «Над городом круглая и неприступная гора, увенчанная стенами и остатками старого замка» — писал Глаголев. В нынешнем Кременце так и говорят — *на Боне*. Бона (или Боня?) — польская королева, когда-то обитала в этом замке. Отсюда сбежала, прихватив казну, в Неаполь. Последующие короли, вступая на престол, клялись вернуть украденные Боней богатства. Но даже

короли, вопреки бодрой песне, могут не все, а Неаполь издавна известен как город миллионеров. Если верить истории искусств (а это как раз тот случай), вороватая королева Боня попала в хорошую компанию. А Кременцу не везло, его обворовывали не раз.

Напротив Бони в объектив, нацеленный на кременецкие виды, попадает главная местная достопримечательность — здание бывшего Иезуитского колледжа (Коллегиума), а позже того самого восставшего лицея. С Бони Коллегиум как на ладони. Посреди подновленных особнячков высится бело-розовое двуглавое здание костела, а по бокам, отдающие блеклой желтизной учебные корпуса. Встроенные башенки оживляют растекшуюся горизонталь. Архитектура перерабатывает время в устойчивую форму, не дает ему растаять в сумерках и унынии, подсказывает, что в давние годы Кременец был другим. Можно пройти мимо, ничего не заметив, ведь мы самоуверенно считаем собственное время главным. Но можно остановиться, насторожившись, как охотник, распознавший затерянный след. Когда-то здесь расхаживало и разгуливало множество разного народа. В метафизике есть справедливость, которой, увы, не хватает в земной жизни. Сейчас, когда, как кажется, само время дремлет, на давнюю историю нет спроса. Пока нет…

Напротив Коллегиума через улицу расположился Никольский собор, в разреженном пространстве он хорошо смотрится. Меланхолическая голубизна перекликается с небом, это не только цвет, но здешнее настроение. Настораживающие детали обнаруживаются с фасада. Соотношения вытянутой главы и покатых плеч, украшенных, как аксельбантами, декоративными башенками, подсказывают — это бывший костел. Францисканский, как мы выяснили позже. Время строительства — тот же семнадцатый век.

Вот так, от Коллегиума к Собору (костелу) прослеживается оборванная связь. Рядом — центральная площадь с военным мемориалом, памятник недавней эпохи, которая вновь готова смениться. Чуть поодаль, вырвавшись из плена композиции, отделенный от нее прогулочной дорожкой, уползает в сторону городской магистрали раненый солдат. Воин живет отдельно от скорбящих и готов действовать. Размахивая гранатой, он зависает над дорогой. Все они — рабочие, бетонирующие фундамент под будущий ларек, смиренная коняга, поджидающая хозяина у входа в магазин, несущиеся автомобили, мужчины, женщины и младенцы обоего пола настигнуты этим порывом. В здешнем, затерянном мире банальность (и халтура, если честно) обретает иной, сокровенный смысл. Воин похож на низвергнутого ангела.

Вырастая из укрытого в траве постамента, он грозит всем сразу. Остается пережить растянувшееся на годы мгновение, и поглядеть, что это будет. А пока все решают привычки, вредные, в том числе, потому что, глядя на ангела, трудно остаться трезвым…

Центральная площадь города — отороченный каштанами зеленый прямоугольник уступами спадает от Коллегиума и похож на сцену концертного зала. Трава будоражит особенной могильной свежестью. И не случайно. Здесь было гетто. Сюда согнали кременецких евреев, огородили колючей проволокой и держали, пока не истребили всех. Памятный знак на месте расстрела — у конторы сахарного завода, при въезде в город. А здесь люди доживали последние месяцы и дни. После войны, когда опустевшие домишки сносили, сюда сбежались ушлые горожане. Рылись по ночам в развалинах, искали золото. Говорят, находили. Одна семья нажилась *легендарно*. Единственные *нееврei* (бывают времена, когда *нееврей* — национальность) — эти люди жили в гетто и получили от немцев постоянный пропуск (аусвайс) на беспрепятственный вход и выход. Могли поднести чадолюбивым еврейским мамам пару картофелин или кусок хлеба. Не бесплатно, конечно. Кто-то из неподкупных арийцев неплохо на этом заработал. Говорят (про деньги часто *говорят*), чулок у местного самаритянина был полон золотыми монетами. А у единственного сына оказалась редкая и смертельная болезнь с ошеломляющим названием — *рассеянный склероз*.

Новейшую историю Кременца повествовал Леонид Павлович (хороший человек, ей Богу) за банкой пива. Пиво мы вынесли из подвального бара. Бар находится в памятнике градостроительства — единственном в своем роде на весь Кременец. Островерхие на немецкий готический лад дома-близнецы, объединенные срединной стеной. Они бы великолепно смотрелись на площади европейского города, где-нибудь недалеко от ратуши. Они бы там не подвели. А здесь вид их печален, фасады стоически пережили отсутствие ремонта, стены красного кирпича зияли, ржавая арматура обозначает места былых балконов. Впрочем, жизнь хороша в разных проявлениях. Низкие своды подвала, где бар, крепки, прокурены и оглушающе шумны. Посуду из помещения выносить не разрешается, но банки Леониду Павловичу доверили. Он местный. Мы устроились на зеленом склоне, повыше воинского мемориала и предались одному из самых приятных занятий, которые ждут досужего путешественника — созерцанию городских достопримечательностей, осененных полуденным покоем, действием слабого алкоголя и поучительными воспоминаниями старожила и очевидца.

Когда-то крепостная стена на Боне (она сейчас прямо перед нами) — самой высокой и видимой отовсюду точке города была покрыта подсвеченным кумачом со звездой и надписью громадными белыми буквами — *Слава великому Сталину*. В ночь Победы над городом густо стояла пальба, а утром между гор сплошным потоком пошла на Запад военная техника. Почему-то этот марш (так теперь вспоминалось) пришелся на день окончания войны, войска шли вперед как бы по инерции, с запасом нерастраченной мощи.

Леонид Павлович хорошо запомнил этот день. Детские впечатления удивительны в своем бессистемном разнообразии. Леонида привезли сюда в начале сорок пятого. Отца — саратовского пролетария до войны определили в школу НКВД. Потом они жили в Киеве, мать погибла при первых бомбежках, отец — тогда лейтенант метался, забежал к знакомой, оставил на ее попечение двухлетнего сына. Служил в СМЕРШе, Киев освобождал, нашел сына, женился на спасительнице, счастливый случай, прямо *кино и немцы* — так когда-то говорили, по смыслу — абракадабра, но послевоенному поколению понятно. Отца направили следователем в Кременец. Здесь он дослужился до майора и начальника местного отделения МГБ (Министерства Госбезопасности).

Вот сцена из тех давних времен. По улочке, выходящей на площадь, кажется, той, где дом Словацких, но это даже неважно, они здесь все сверху вниз, шагает женщина. Еще утро, прошел дождь, город свеж, ранее солнце касается промытых окон, с крыш каплет. Взгляду подростка женщина представляется ошеломляюще красивой. На ней шитая на заказ шинель в талию, кубанка каракулевая с малиновым верхом, выступает она величаво, с застывшим лицом, постукивает фасонными сапожками. Рядом с красавицей, но чуть поотстав, не по узкому разбитому тротуару, а прямо по булыжнику мостовой, идет офицерик — строгий, не подступишься, с пистолетом в руке. Впереди и позади топают солдаты с винтовками наперевес. Штыки торчат, один в спину женщины, другой расчищает путь, вернее пустоту, потому что дорога свободна. Люди стоят по другую сторону улицы, по одному, и глядят молча. Слитно, человек к человеку, так что даже дыхание кажется общим, проходят эти четверо сквозь город. Ведут бандеровку, все должны видеть.

Ход событий должен был убеждать и воспитывать, год за годом нанизывая на нить времени, чтобы предстать перед будущим цельным и завершенным процессом. Таким он вошел в учебники истории, пока нить не порвалась, а камешки не

рассыпались и смешались. Вот еще пример. Моряк-коммунист орденоносец вернулся с войны, поставили его начальником милиции. Ездил по окрестным селам, устанавливал Советскую власть, и исчез бесследно. Полгода его искали. Обнаружили разрубленное на куски тело, когда коровы отказались на том лугу пастись. Это были знаменитейшие похороны в новейшей истории Кременца — с оркестром, с военным салютом, гроб везли в открытом кузове через весь город.

Советская власть надвинулась неотвратимо. Леонид запомнил казнь на центральной площади Черткова, ближайшего к Кременцу райцентра. Отец по службе выезжал, и сын упросил взять с собой. Того привезли со связанными руками в длинном пальто. Смушковый воротник, меховая шапка, белые бурки с желтыми полосами. Поставили на табурет. Килограмм сто, не меньше, еще во всем зимнем, думали, сорвется, но перекладина выдержала и веревка не подвела. Когда тело задергалось, зрители загудели. Солдаты-краснопогонники, кольцом охватившие место казни, направили штыки на толпу, стояли глаза в глаза, пока народ не успокоился. Разошлись быстро, зима, дни короткие, холодные. Казненного в Черткове знали, до войны он был тренером местной футбольной команды. Взгляд Леонид Павлович сохранил в памяти, невыразительный бычий взгляд, уже примирившийся со смертью, равнодушный и тем даже *поучительный*.

С Леонидом Павловичем мы познакомились, когда искали, где остановиться. Кременец, с первого взгляда, несколько обескураживал, особенно, если стремишься сюда специально. Посреди города в межгорьи проходит автомобильная трасса, дома и многоликие соборы выстраиваются вдоль, не образуют замкнутого пространства, столь ценимого в провинциальных городках. Там кипит местная жизнь, хорошо передохнуть и осмотреться с дороги, а здесь по дороге с автостанции, все в одном ряду — и безликий Дом быта, и стандартный райком под новым флагом, и такой же универмаг, все они многоразово узнаваемы и навязчивы, как плохой сон. Потому, когда добираешься до центра, на площадь под нависающей Боней, испытываешь некоторое разочарование. Съезжая с верхушки горы, тянется истерзанная временем крепостная стена, навстречу торчат пиками высокие ели, голубеет небо, а рядом машины проваливаются куда-то дальше за город или возникают внезапно, волоча чернильное облако, как удирающая каракатица. Только углубившись в окрестные улочки, в обнесенный старой каменной оградой старый парк, погружаясь в среду, не приглаженную стараниями градоустроителя, а живущую нестесненно и

свободно, начинаешь понимать этот особенный мир, охватывающий разом бегущих с занятий школьников, сиреневые дымы ранней осени, линию островерхих тополей, наискось рассекающую гору, красную черепицу, вывернутое наизнанку нутро дворов, кукольные колонки старых особнячков, видишь уходящую в небо панораму и понимаешь, что это и есть то самое — подлинность бытия. Вся эта удивляющая картина, живет, отделенная от реальной жизни незримыми пределами, в единственном экземпляре, не имеющем ничего общего с мелочными подробностями, с миром, который так привычно кажется настоящим. Все наши бумаги, свидетельства, похвальные грамоты и справки — при всей повседневной значимости (никто и не спорит) кажутся здесь второстепенными, а прозрачность воздушной среды (кислород и автомобильные выхлопы в разных соотношениях), сменяется перспективой — той, что сулит надежду. Поэтому незнакомый пейзаж кажется странно узнаваемым — не памятью, а чувством, возвращающим ее обладателя к извечным прообразам. Все увиденное теперь — только подсказка, включающая работу этого загадочного чувства, которое не под силу фотографии, не под силу кино, а принадлежит живому взгляду свидетеля и соучастника.

Со всем этим еще предстояло разбираться, а пока гостиница оказалась на бессрочном ремонте. Кременец так устроен, что приезжих здесь почти не видно, по крайней мере, таких, что остаются на ночь без особой надобности. Достаточно выйти на городской пятачок, где топтались сейчас и мы, размять ноги, *въехать на Боню*, пройтись еще там, завершив обзор обязательной фотографией, и можно двигаться дальше. Такова унижающая участь провинции, ее приговор. Одного дня достаточно.

С гостиницей не торопятся. А женщина в доме напротив запросила, по нашим представлениям, слишком. Мы готовы были потратиться щедро, Кременец явно того заслуживал, но сейчас и сразу мы ждали ответной благодарности за подвижничество. Какого-то гармонизирующего подтверждения в конечной точке маршрута, ведь собираясь куда-то по собственной воле пытаешься обнаружить нечто и в себе самом. Это не четко прописанная цель паломничества, вернее не только она, а некая мистическая составляющая, достигнутая стечением благоприятных обстоятельств. То, что предстоит, угадывается пока смутно, конкретны лишь детали, из которых должна сложиться будущая конструкция. Жилье здесь — одно из первых и весомых доказательств собственной правоты. Казалось, только мы должны объявиться и от предложений насчет ночлега не будет отбоя. А оказалось всего одно — угол без окон, от которого мы,

капризничая, отказались. Крайне нерасчетливо, как выяснилось. А пока мы познакомились с Леонидом Павловичем, обретавшимся на местной площади без всякого дела, если, конечно, не считать делом беседу с торговцем семечками. Наш новый знакомый был невысокий человек деятельного вида с длинными жилистыми руками. При ходьбе они болтались, будто в ожидании лианы, на которой можно славно прокатиться. С могучей грудной клеткой и плоским широким лицом, про таких (возраст и повадки) говорят — *поживший*, Леонид Павлович оказался борцом, школьным учителем физкультуры и своим человеком. Это прояснилось немедленно. Он сразу стал звать нас *ребятами*, и повел к себе домой, тут же за площадью под боком одной из многих кременецких церквей — основательного костела Святого Станислава. Костел построен в пятидесятых годах девятнадцатого века, без особой фантазии и, можно сказать, *спокойно*, если для архитектуры подходит это слово. Костел взывает к терпению и умеренности. Тогда в город стали возвращаться из сибирской ссылки участники польского восстания. Россия, как подлинная империя, относилась без ожесточения к вере своих подданных. Лишь бы не бунтовали. А пока, как в шахматах, партия была отложена, и костел был выстроен в доказательство мира и согласия. Всегда бы так.

Двигались мы бодро, как верблюды, разглядевшие в безводной пустыне пальмы и выгоревший колониальный флаг над глиняной крепостью. Будущее казалось заманчивым и вполне определенным. На углу мощеного булыжником подъема стоял двухэтажный розовый дом с белыми колонками и балконом, завешанный сохнущим бельем. Он хорошо запоминался, как ориентир, от него еще повернули, и пошли вдоль стены на неожиданный и тревожный запах гари. Дома, как люди, *бывают бывшими* (тавтология усиливает смысловую нагрузку) и живут по инерции, вспоминая лучшие времена. Леонид Павлович во время предупредил — был пожар. Пасынок заснул с сигаретой, сгорела квартира, сгорела жена Леонида Павловича, в общем, случилась большая беда. Ознакомил он нас буднично, между прочим, минуя почерневшие окна. Приятельские отношения начинали складываться сами собой, в силу флюидов, подтягивающих хороших людей друг к другу. Деловое знакомство перетекало на более зыбкую застольную почву, причем совершенно естественно, как если бы Леонид Павлович встретил по телеграмме старых однополчан и теперь вел к себе отмечать прибытие. Похоже, что сам он *употребляет*. Пребывая в ауре сочувствия недавнему погорельцу (что задержало наше последующее бегство), мы прошлись по закопченному коридору, миновали дощатую дверцу

— Леонид Павлович на ходу приоткрыл ее, представляя *удобства*, и вступили в комнату с двумя аккуратно заправленными кроватями и неопределенным видом, по которому судишь о состоятельности квартировладельца. В отличие от эксперимента, где критическая точка преодолевается быстро (так, по крайней мере, представляется дилетанту), в реальной жизни такие состояния могут измеряться всей жизнью. Здесь вид напоминал театральную декорацию — не отдельные предметы и даже не их совокупность, а сгустившийся воздух тревожного ожидания. Так может выглядеть комната или руины, где все случится немедленно или не произойдет никогда, оставляя зрителя в состоянии постоянного напряжения. Будничная и вместе с тем впечатляющая картина остановленного времени. Разум еще не проснулся, мы хотели быстрее закончить квартирные хлопоты и начать жить в собственное удовольствие. — Тут будете спать, ребята, — щедро предложил Леонид Павлович и углубил отношения. — Супчику сейчас поешьте или погуляйте пока, а я картошечки отварю… Он начисто отмел процедуру меркантильного расчета, сведя его к одной фразе. Договоримся. Мы сбросили сумки и возвращались на площадь с неопределенным ощущением между сделанной глупостью и осознанием возможных последствий. Тут на нас (спасительный знак) надвинулся молодой человек с напряженно сосредоточенным выражением лица. В нем было нечто удивительное. Не удавалось поймать взгляд. Даже в бессмысленном взгляде идиота теплится *какое-то нечто*. Здесь взгляд отсутствовал начисто. Великое безмыслие йога — таково было состояние исключительной поглощенности молодого человека смыслом собственного бытия. Он выглядел спокойно, ровно и *никак*. Зацепиться было не за что. — Иди готовь пока, — бодро распорядился Леонид Павлович. — А я ребят провожу.

А для нас (вопрос читался на лицах) пояснил: — Это мой пасынок. Валерка. Пьет, зараза.

Путем несложных размышлений стало понятно, что именно молодой человек неземного вида поджег дом, где нам предстояло остановиться. Тут осознание реальности пришло сполна. Заручившись пожеланием Леонида Павловича возвращаться быстрее к столу (Валерка сделает), мы заспешили по первому адресу. Теперь цена за комнату не казалась нам чрезмерной. Мы были готовы платить. Но отвергнутое однажды уже не вернуть. Женщина не обиделась на наш былой каприз. И наше раскаяние было здесь не причем. Она даже удивилась своей недавней безхарактерности, вернее так, извечной женской доброте. Но теперь, нет, нет, нет, она не сдает. С утратой трудно смириться. И

обидно, из солидных квартиронанимателей мы превратились в жалких просителей. Она взяла над нами верх. Теперь цена нас устраивала, мы были готовы набавить, но она не сдавала *в принципе*.

Еще одно странное объяснение пришло позже. Мне подсказала его приятельница, ученая-математик. Летом она жила в деревне. Она спешила капитально отремонтировать туалет, при ее *цивилизованности* это было жизненно необходимо. Ей рекомендовали нужного человека. Перед такими специалистами неумелые горожане заискивают, знакомством с ними дорожат и бережно передают друг другу. Цена за туалет назначалась немалая, здесь бедная деревня отыгрывалась у богатого города. Это было справедливо. И дачница была готова. И умелец соглашался, добрый, в общем, сговорчивый, тем более за немалые *городские* деньги. Но сначала ему нужно окучить картошку, потом что-то еще. Слоняясь без дела, причем на ее же глазах, и даже не пьяный (был бы аргумент) он *не мог*. Дачницу, которая отчаянно нуждалась в новом туалете, зациклило. — Ведь он за три дня может заработать больше, чем за месяц. Пусть жена окучит проклятый огород, можно найти выход. А если я с другим договорюсь (не договорилась). Почему-у?.. Наивная, она буквально не находила себе места (и организм напоминал). Она не могла найти объяснение, хоть отгадка была где-то рядом. То, что не входит в привычный круг забот и, пожалуй, в сформированный веками тип жизнедействия — уборка огорода, заготовка сельхозпродукции, предзимний завоз угля или дров — не только требует отдельного решения (поверх него математик не заглянула), это еще взлет, будоражащее ощущение, потому что *свободное время* в его бездумной растрате горожанином здесь отсутствует. Целесообразность определяется здравым смыслом. Но это не значит, что право на *свободный* выбор отсутствует, оно скрыто и ждет своего часа. Но нужны условия, подходящий момент, чтобы себя проявить — такое случается не часто. А пока свобода являет себя в поступках, смысл которых недоступен рациональному уму.

Есть и более простое объяснение, нас подвел поспешный союз с Леонидом Павловичем. На той самой площади, где завязываются интриги со времени шекспировских пьес. И гостиница присутствует, по крайней мере, в итальянских комедиях. Может быть, нам повредил факт знакомства, безнадежно понизив наш социальный статус, *солидность*, которой так дорожат будущие *клиенты*. Так или иначе, но хозяйка возвысилась над нами (свобода ее выбора над нашей несвободой от ночлега) и упоенная победой (великодушие здесь

присутствует) сама отвела нас к тете Гале, которая, кажется, *можэ сдать*. Тетя Галя от неожиданности заломила пятизвездочную цену, но теперь мы согласились безропотно.

Леонид Павлович, не подозревая об утрате жильцов, беседовал с единственным коммерсантом на площади, монополистом по торговле семечками. Тот оживлял пейзаж, придавая ему объемность исторического пространства. Время, как хозяйка в конце уборки, расставляет все по местам и так определяет суть момента. Время торговать семечками наделено философской многозначностью. Семечки не станешь есть впопыхах, это один из самых меланхолических способов получения удовольствия — не только гастрономического, но и созерцательного. Продавец сидел, как бродячий фокусник, расставив перед собой мешочки с товаром, поверх была проложена дощечка с двумя стаканчиками и кулечками из газеты, один в другом, чтобы культурно разместить купленный товар. В семечках скрыта могучая сила здравомыслия, Что может быть достовернее шелухи, летящей под ноги ученому собеседнику.

Продавцом был основательный седой мужчина, получающий таким путем прибавку к скромной пенсии. Он заполнял пространство образными деталями. Без него город был бы пустым, он восседал в эпицентре, обязательный, как место отпадения пуповины. Леонид Павлович стоял рядом. Он легко смирился с необходимостью расставания и продолжал называть нас *ребятами*, до предела упростив знакомство. Мы сходили за сумками и договорились о встрече.

Два дня мы жили у тети Гали. Галя — большая отечная старуха бестолково бродила ночью по дому. Дом был старый, гулкий и пустой, привык жить без людей, заполняя тишину потусторонними шорохами. Грызунов не было слышно, и, согласно известной примете, дом напоминал корабль, прочно севший на мель, без всякой перспективы вновь отправиться в плавание. В нашей комнате стояли две кровати с проседающими до пола металлическими сетками, был фанерный стол, исчерканный шариковыми авторучками, два стула и смутно белеющая печь в дальнем углу, отделенная пространством ночного безмолвия. Зимой здесь квартировали студенты сельхозучилища. Галя вздыхала где-то далеко в коридоре и роняла металлическую посуду. Большое зеркало тускло отражало всю ее жизнь. Вечерами она засиживалась у нас.

При поляках молодая Галя работала в шахте, грузила вагонетки. Труд был тяжелый, поляки требовали работу, платили мало. Таков был здешний капитализм. Когда в тридцать девятом пришли Советы, Галя быстро пошла в гору. Брала у секретаря

машину, гоняла в село, стала активисткой, но умеренной, особо не выделялась. При немцах она попала на фабрику. Таскала мешки, охрана реготала, свои же местные хлопцы, пристроившиеся при немцах. Галя помалкивала. Как-то проходила на восток воинская часть, встали рядом, буквально на час, ждали приказа, офицер поглядел, переговорил сердито. Еще куда-то сходил, в общем, употребил время по немецки, с пользой. И Галю перевели в немецкий госпиталь, разносить раненым пиво. Отпускали девушек пораньше, чтобы успели вернуться домой до комендантского часа. Она бы прокормила себя и без госпиталя (так она потом объясняла), но мать болела, работа была кстати. Как-то на улице к ней привязался пьяный немец. Хватал за руки. Тащил жениться, так он обещал. Галя в девицах состояла. Лупила немца, а сама кричала, *рятуйте*. Хитрая была и теперь вспоминает со смехом. Немца забрал патруль, не церемонясь, а ее отпустили. Два слова по немецки она знала, могла объяснить. Евреи? А что евреи? Постреляли их тогда много. Ну и что. Каждый жил сам по себе. И она в ту сторону не смотрела. А до того местных учителей побили, интеллигенцию. Время было такое, живи, голову не поднимая. И пронесет, дай Бог. После войны она вновь пошла на службу к Советам. Ездила в село, переписывала, кто, чем занимается. Уже замужем была за агрономом. Как-то бандеровцы входят в хату. Она — активистка по ихнему, сидит за столом. Спросили, кто такая, почему здесь. Люди не выказали. Отношения к бандерам были разные, не так, как сейчас говорят. Все — за. Или раньше — все против. У нее на бандер был зуб. Брат двоюродный служил при немцах переводчиком. Поехал за спиртом. Бандеры вышли из леса, спирт забрали. А брату накинули веревку на шею и вдвоем затянули *зашморгом*, так здесь делалось, чтобы без шума. Сгубили на глазах фурмана (возчика), того прогнали, а брата закопали неизвестно где, она и похоронить не смогла.

Потом жизнь наладилась. Дешевле, чем сейчас. Даже сравнить нельзя. В Москву съездила. А чого? Дочь в Тернополе институт закончила, математику преподавала в Одессе. В русской школе. Теперь торгует на рынке. На пенсии, конечно, но разве на пенсию проживешь. Муж из Котласа, без образования, детей двое. А сюда приезжает, мама, поживи еще, может, дом сгодится. Постереги. А что тут стеречь? Она этим говорит, полицаям новым, форму им пошили взамен милиции, ходят парами. — Вы, конечно, поляки. — Чому это? — Тому шо, вон пьяный лежит, ноги на самом шляху, а когда машина наедет. Так шо, удвох поднести нельзя на тихое место? Не, вы, хлопцы, не наши, не украинцы… Она до сих пор задиристая. Те зареготали, пьяничку

подняли, положили на лавку. Лекарств нет, но она и раньше не пользовалась. Знает, когда давление, лежит, не встает. Недавно в Почаев съездила, взяла иконку Николая Угодника, водички набрала. И так отпускает. Что ей эти гроши. Всех не соберешь. Хотя теперь, куда без них. Но поговорить вот так, посидеть, мужа вспомнить. Жить совсем не хочется. Может, ребята, картошки вам сварить? Без денег, своя ведь, за деньги нельзя, соромно. И живите, сколько хотите, я ничого не возьму. Одной плохо…

История Кременца напоминает историю честолюбивого бедняка, которому судьба никак не дает случая выбиться в люди. Учитывая обилие богослужебных заведений, так и должно быть, праведная жизнь не столько вознаграждает, сколько испытывает, по крайней мере, в обозримой перспективе.

Несколько столетий городом распоряжались поляки, и почти всем, что сохранилось сегодня в городском пейзаже, город обязан им. Прервали идиллическую историю козаки, они накатили на эти места в семнадцатом веке. Поляки защищались отчаянно, но козаки захватили Кременец и Боню. В местном музее есть панорама, запечатлевшая исторический приступ. Козаки и местные крестьяне со страшными лицами лезут на крепостную гору. Навстречу летят облитые смолой горящие бревна, судьба города еще не решена. Похоже, автор макета испытывал противоречивые чувства и переживал за всех сразу. Крестьянские войны тянутся мучительно долго, площадь под ними выгорает как при лесном пожаре. Ярость растворяется в фольклоре и эпических могилах. На здешних еще в конце девятнадцатого века находили козацкие люльки. По преданию, люльку клали в изголовье убитого. Потом историю залихорадило и люльки находить перестали. А само козацкое кладбище из-за угрозы эпидемий закрыли в конце того самого девятнадцатого века.

От места к месту пространство и время наделены своей особенной плотностью, цивилизационной емкостью, энергией прошлых поколений, обменом веществ общественного организма, конфликтами, войнами, революциями и, наконец, тем, что составляет *просто* жизнь, ее течение, ход и последующие суждения крепких задним умом историков. Может быть, именно потому, что жизнь продолжает длиться, здешние места выглядят достаточно скромно.

В середине теперь уже прошлого века здесь была короткая (по историческим меркам), но яростная схватка с бандеровцами. Леонид Павлович ее помнит. Допрашивали бандеровцев при конвое, люди здоровые, могли наброситься. Искать сбежавших было трудно, им многие сочувствовали. Работники МГБ ходили по городу в цивильных пальто поверх формы. Такова была

инструкция. Руки постоянно держали в карманах, на пистолете. Такой ТТ со звездой на пластмассовой рукояти был у отца Леонида Павловича. Напали ночью двое, переднего он застрелил сквозь пальто, задний ударил в шею шилом, но попал в целлулоидный воротничок на мундире и мышцу плеча. Отец лечился, руку разрабатывал.

Другой раз вышли из-за дома. Тоже ночью, когда человек становится неясной тенью, внезапно перегородили дорогу. Отец — опытный, остановился, приказал подойти, увидел, как те дернулись, укрылись в темноте. Сзади караулил еще один. Что они не сбежали после окрика, убеждало, это не обычные грабители, те не стали бы рисковать. Но крестьянские дети поторопились, не подпустили ближе. Он выстрелил на звук, наугад, втиснулся спиной в щель, затаился. Глаза привыкали к темноте. Зашумели снизу улицы, затопал патруль. Он еще стрелял наугад на звук удаляющихся шагов, не попал.

Убили его уже майором. Леонид забежал к отцу на службу, он иногда заскакивал по дороге из школы. Охрана его хорошо знала. Время было почти мирное, партизанская война заканчиваоась. С опасностью свыкаешься, не только война, но и власть, отец научился ею пользоваться. Ждал перевода в большой город, по крайней мере, был такой разговор с матерью. Леонид влетел в кабинет без спроса. Здание хорошо охранялось, но люди шли разные и по разному поводу. И этот человек, по видимому, бывал здесь прежде. На столе, рядом с чужим портфелем, лежали деньги, много денег, отец сидел за столом напротив, а прямо перед Леонидом каменела широкая спина. Человек так и не оглянулся, держался уверенно, длилось какое-то мгновение. Отец гаркнул, вон отсюда. А тот, что спиной, будто не заметил, еще раз повторил: — Якшо не домовимось, пожалкуете.

Как сейчас, Леонид Павлович слышит. Не договорились, так ему кажется. От начальника местного МГБ многое зависело. Может отпустить, дело прикрыть. Разных *дел* было много. Застрелили его в упор, прямо у входа в дом. Убийца стоял за углом, дожидался, вышел навстречу. Выстрелил между глаз. Аккуратную дырку от пули заткнули ваткой, лицо, обожженное порохом, прикрыли.

На прощание мы подарили Леониду Павловичу книгу собственного сочинения. — Ребята, — сказал Леонид Павлович растроганно, он, вообще, оказался человеком теплым. — Сегодня же начну. Я, знаете, как книги люблю. А вы еще приезжайте, поговорим.

От старого Кременца мало что сохранилось. Следы прошлого просматриваются и сейчас, но в виде краеведческом, надежно

отделенном от нынешней жизни. В конце девятнадцатого века Кременец считался местом цивилизованным. Фабрик было побольше, чем сейчас, делали пианино, другие музыкальные инструменты. Здешнее дерево ценилось. Были шахты, добывали уголь невысокого качества для местных нужд. В избытке были крестьянские руки и нужда.

Заброшенные фабричные здания попадаются по дороге на старое еврейское кладбище, строения из красного кирпича и выбеленного дождями дерева. Покосившиеся изгороди стерегут ржавое железо и пыльную растительность. Тишина и безлюдье — значат не меньше, чем пейзажные приметы. По привычному разумению, жизнь должна совершаться с непременным участием человека, особенно здесь, где заметно присутствуют его следы. Но ничего подобного нет, не просматривается за небрежно запертыми воротами, прикрывающими опустелые дворы. В Кременце пока так, прошлого здесь гораздо больше, чем настоящего.

Пыльная дорога выводит к мосту через ручей, и почти сразу за ним уходит в гору еврейское кладбище. Начинается незаметно, тянется к вершине, скрытой за верхушками деревьев, затягивает. Надгробья встают из травы слитными рядами, пройти сквозь строй, подняться дальше и выше можно, опираясь на камни, как на плечи. Упавшие подставляют небу россыпь звезд и древней каллиграфии. Влага и мох, застоявшиеся в резьбе, чернят белесую поверхность камня. Знание языка избавило бы от мистического ощущения, вернуло обыденность. Лес восставших камней — всего лишь люди. Их имена. Даты еврейского календаря. Слова молитвы. Гора хранит целые поколения.

Досужее кладбищенское сопереживание возникает к чему-то конкретному, к молодой непрожитой жизни и, в конечном счете, не стоя ровно ничего, питает собственную полноценность. Но кто из посторонних станет разбираться с могильными надписями? Язык отделил *их* от нас — живых. Все дело в *имени*. Эти люди когда-то пришли сюда, не выбирая, просто *на землю*, любая земля за пределами Палестины была для них чужой. Но, прожив здесь столетия, они сделали этот город своим. Они и теперь привязаны к Кременцу, и даже те, кто ушли первыми (кладбище существует с четырнадцатого века), продолжают жить с городом одной жизнью. Они здесь.

Кстати вспоминается поучительная история о сложностях опознания еврея. Жил-был еврейский возчик, и все у него было плохо. Умерла жена, дети и, наконец, сдохла лошадь. А потом и сам он умер от всех этих несчастий и голода. Но, поскольку он не роптал, а прилежно молился, *Там* было решено его вознаградить,

помочь скоротать время до Страшного Суда. Теперь ему была обеспечена богатая жизнь, красивая работящая и, главное, здоровая жена, здоровые дети, выносливая лошадь, возможно даже, две или три. И вот живет себе такой богатый возчик, и никто не знает, что вся его нынешняя жизнь, цепь постоянных удач и везенья — всего лишь сон, а настоящий хозяин настоящей жизни и создатель счастливой иллюзии лежит здесь же на кладбище, не исключено, что на здешнем, в Кременце. Вот и разберитесь, если вы такой умный…

Ужасно (к мистике это слово имеет прямое отношение) хочется видеть, как все здесь было когда-то. Ближе к верхушке горы камни редеют, уходят в траву, идут пунктиром, чтобы обернуться нынешним поколением в Нью-Йорке или Иерусалиме. В тех же длиннополых шляпах, с клочковатыми нестрижеными бородами они упрямо дожидаются у края вечности. Камни прячутся в кустах бузины и акации, в гроздьях рябины, в багряных листьях осени, в таких местах, смена года чувствуется заметнее. Невозможно вообразить симфонию из слепящего света и непроглядной тьмы, но если все же попытаться, то здесь подходящее место. Известно, *всё* должно случиться в Иерусалиме. Но пока еще остается время. Особое *время для них*. Оно длится. Пока вокруг тишина, далекие крыши и зеленый купол женского монастыря, упрятанный в волнистом силуете горы по другую сторону дороги. В маленьких городах мертвые преобладают над живыми. Кременец будет еврейским городом, даже когда его покинет последний еврей. Они оставили здесь своих мертвых.

Спустя год мы снова побывали в Кременце. Провинция остро напоминает детство. Ребенок изучает мир с близкого расстояния — жучки, паучки, кузнечики и бабочки рядом, сверху, вокруг. Они наполняют мир собственными голосами, которые потом уже не удается расслышать, да и само желание общаться может вызвать недоумение. А тут все совершенно естественно. В благополучном детстве нити реального и сказочного сплетены, только потом, распадаясь, они утрачивают единство. Как отработанные ступени ракеты, они проваливаются куда-то в пустоту, а пока этих утрат просто не замечаешь. Молодым человеком, устремленным в неопределенность будущего, они осознаются как сменяющие друг друга приметы взросления. И только достигнув (казалось бы) полноты бытия, начинаешь ощущать утраты собственной биографии — не в естественном движении к ее завершению, а наоборот, в ее началах, в случайных мелочах. Отсюда начинается отсчет. Теперь все решают подсказки памяти, только так можно возвратить младенческий мир. Сделать это не просто, достоверность скучна, а чувственной окраски не хватает.

Помогает искусство. Если не удается воссоздать реальность, приходится довольствоваться иллюзией, в конце концов, искусство этим и занимается. Но остается еще тот самый природный мир детства, сохраненный на дне памяти. Там он ждет, бесполезный, как бумажные деньги столетней давности, все еще слишком узнаваемые, чтобы стать музейным экспонатом. Одно и тоже, день ото дня… А дальше? Чтобы вернуть утраты памяти и возвратить, казалось бы, забытые детские радости чувственного познания, для этого стоит приехать в малознакомый провинциальный городок, где ничто не напоминает о себе *лично*. Зато о чем-то говорит и подсказывает, чем дальше, тем больше. С этим ощущением внезапной находки хорошо побродить без всякой цели среди осевших домишек, балкончиков, террасок, двориков, присутствия завораживающей тайны за занавесками и прикрытыми дверьми. Возвращается то самое состояние, с которого когда-то началось общение с миром. Провинция никуда не спешит, в отличие от большого города она не живет желанием отличиться. Того, что есть, достаточно.

Зщесь можно заблудиться во времени и вдруг (казалось бы ни с того, ни с сего) отыскать следы собственной биографии. Такое случается, а когда памяти оказывается недостаточно, приходит на помощь фотография. Потому мы щелкаем аппаратом направо и налево. Ищем подсказки чувства, чтобы увести вглубь времени, в котором когда-то удалось побывать. В провинции, в этой затерянной стране кареты (а они здесь еще остались) смотрятся убедительнее, чем *мерседесы*, а сказка (какая есть) кажется правдивее унылой реальности. Не нужно ждать многого, но присмотреться стоит…

Второй раз мы заехали в Кременец из Почаева и тут же отправились к Леониду Павловичу. Все также на углу в двухэтажном домике с ампирными колонками сохли простыни, дом был окутан ими, как флагами капитуляции. Вверх уходила заброшенная улочка, в конце ровно светилось небо. Дом выглядел одиноко, как брошенный корабль. Следы пожара выцвели, но человеческого участия в этом не ощущалось, природа справлялась сама. Мы завернули за угол и оказались во дворе. Плотная стена зелени, просеивая свет, подступала к крыльцу. Возился, согнувшись, худой, длинный человек, городского вида. Что-то он колотил. Выпрямился, не выпуская из рук молоток, глянул сквозь очки, сообщил, что Леонид Павлович недавно объявился, и, будто не доверяя себе, предложил, сходить, глянуть. Вроде бы, там. Мы прошли знакомый коридор. Леонид Павлович спросил сквозь дверь глухо, но узнаваемо, а потом еще раз повторил.

— Кто?

— Прошлым летом были. Если помните. Пиво пили. — Что еще было добавить?

Леонид Павлович надолго замолчал. — А-а, — вспомнил, наконец. — Ребята. — И опять замолк. Что-то он там делал по другую сторону. — Я вам сейчас ключ толкну под дверь, а вы откроете. С вашей стороны.

Наступило молчание, дольше прежнего. — Ключ. — Забормотал, наконец, Леонид Павлович. — Ключ ищу.

— Не нужно, мы с улицы к окну подойдем.

Теперь сосед глянул с откровенным любопытством, но — человек сдержанный или привычный — спрашивать не стал. Обойдя дом, мы погрузились по грудь в буйную растительность, которая росла явно сама по себе. Окошко распахнулось, и навстречу, как кукушка из домика, объявилась голова Леонида Павловича. Нисколько не изменился человек, хоть это похвальное впечатление может скорее относиться не к нему, а к Кременцу, где время явно течет медленней, чем в других местах. Все здесь говорило об этом — огромный покосившийся дровяной сарай, розовый дом с потрескавшимся колонками и сохнущим бельем, разлив флюидов ранней осени, и дорога, припорошенная жженым углем, в плотном охвате деревьев, кустов и просто всякой травы, взывающей к отроческим воспоминаниям, потому что только детский неискушенный взгляд способен запечатлеть окружающий мир так емко и цельно. Кто-то невидимый бухал невдалеке по железу, и каждый удар звучал размеренно и торжественно. Все вокруг напоминало, пусть не о вечности (это уже слишком), но о состоянии, к которому нужно относиться уважительно, какие бы перемены не хотелось устроить даже на трезвую голову. Не нервический час пик, а ровное умиротворенное дыхание бытия, поглощающее любые малодостойные желания и потуги, потому что безнадежное ожидание — одна из форм, которую принимает Дух, пытаясь примирить бестолковые метания с краткостью и восторгом минуты.

Устроившись животом на подоконнике, Леонид Павлович выразил сдержанную радость. Оказалось, сам он дома недавно и попал в квартиру через окно. Дверь была заперта. Тут он слегка понизил голос, как водится, чтобы не потревожить спящего. — Валерка отдыхает.

— Сосед нам сказал. — Теперь я оценил сомнения этого, видимо, привыкшего к точности человека. Он видел, как Леонид Павлович пришел домой, но не понял, как он туда попал. С такими детективными тонкостями приходится считаться. Для Агаты Кристи было бы кстати. Здесь — среди прозаических будней — это всего лишь заурядная подробность… но не будем

упрощать — поэзия знает разные формы..

— В окно влез. Я же говорю, Валерка изнутри закрыл и ключ куда-то дел. — Леонид Павлович сладко улыбнулся. — А ко мне, ребята, дочь приезжала, только вчера проводил. Жаль, не застали. Да вы заходите. Сейчас я ключ дам, снаружи откроете. Валерка ключ куда-то дел.

— А чего вы изнутри дверь не откроете?

— Я ж говорю, не знаю.

— А как же Валерка? Тоже, может, в окно?

— Он спит. — Леонид Павлович мотнул головой вглубь комнаты и с неожиданной решимостью сказал. — Я ее приватизирую. Дочь требует, я слово дал.

— А живет она где?

— В Польше. Бывает раз в год. Я, говорит, папа, может быть, к тебе совсем перееду. Если бы квартира была. Я решил, приватизирую и ей завещаю.

— А Валерку куда?

Леонид Павлович только рукой махнул и признался. — Книгу вашу я не прочел. Честно говорю, ребята. Не успел. Только собрался, а Валерка вынес и продал.

— Нашлись покупатели?

— Ого, конечно, нашлись. Хорошая книга.

— А деньги куда?

Можно было не спрашивать. Леонид Павлович только глазами показал. — Вынес, пока я спал.

— Не огорчайтесь. Мы другую подарим.

— Только как приватизирую, Я, ребята, читать очень люблю. — Тут из глубины комнаты донеслось тревожное мычание, бормочущие какие-то звуки. Леонид Павлович, не оглядываясь, известил — Валерка просыпается.

Мы не стали задерживаться. Путь от центра до автостанции был не близкий. По дороге мы зашли в Спасо-Богоявленский женский монастырь. Православный. Раньше — реформаторов, потом Василианов, теперь — в ведении Московской париархии. Когда делили церковное наследие, чуть не дошло до потасовки, слава Богу, все кончилось миром. Монашка рассказывает историю монастыря на хорошем русском языке. У нее белесое одутловатое от ночных бдений и постной пищи лицо. Под черным платком трудно разглядеть, но, похоже, в миру она была красива. Язык городской — чистый, свободный. Не успеваешь умилиться терпимости местных нравов, как на тебе, один из слушателей — ревнивый, обязательно спрашивает: — А чого це ви розмовляєте по росийськи?

За этим следят, как раньше следили за поведением на

политинформациях. Монашка, не прерывая рассказа, смиренно объясняет, что служба ведется на церковно-славянском языке, очищенном от мирских и греховных слов. Ведет беседу дальше, но потом вдруг неожиданно возвращается, и поясняет с вызовом, свидетельствующим о несмиренном нраве. — А почему я по русски? Потому что мне так нравится.

С дорожки перед монастырским входом хорошо смотрится противоположный склон межгорья. Козацкое кладбище на высоком бугре, укрывающие склон ряды еврейских могил, осыпь старого карьера, лес, следы весенних потоков, и серебрянный воздух близкой осени.

Придорожная забегаловка названа на французский манер — *бистро*. Леонид Павлович объявился, когда мы уже поели и собирались дальше. Таким мы его еще не видели — торжественно-принаряженным с деловой папочкой и даже звучащим, как звенит при постукивании хрусталь.

— Артиллеристы, — бодро запел Леонид Павлович, завидя нас. — Сталин дал приказ. Из сотен тысяч батарей, за всех товарищей-друзей. — Он воздел над головой крепкий кулак. — Иду на приватизацию. Чтобы мы не сомневались, он вытащил из-под руки папку. Вблизи это оказалась не совсем папка, а картонная шахматная доска. Вещи милостивы к нам — изворотливым и разрешают использовать себя по всякому. В черно-белых квадратах лежал какой-то необычный с виду паспорт с орлом, по видимому, даже польский и несколько бумаг. — Все тут, — сказал Леонид Павлович, похлопывая по документам. Охота поговорить была, но тут Леонида Павловича отвлек какой-то пенсионер и он легко переключился на нового собеседника.

— Пирожок с горохом, — лихо заказал Леонид Павлович, — сто грамм сметаны и маленькую пива.

— Они с Турцией не знают, что делать, — втолковывал пенсионер, — а ты хочешь, чтоб у них из-за нас голова болела.

— И не надо. — Отрубил Леонид Павлович, махнул нам на прощание и запел. — Узнай, родная мать, узнай, жена-подруга…

Девочка в пыльном автобусе старательно переписывала в тетрадку молитву о путешествующих. Была еще бабка, суетливая обладательница этой самой молитвы. Я взял поглядеть, молитва была составлена из простых слов и обращалась к Богородице. Нужно подставить нужное имя, произнести несколько раз, обращаясь к иконе. Впереди спал бродяга, он сошел на полпути до Почаева, но забыл со сна узел с телогрейкой. Автобус долго сигналил, пока он не вернулся за имуществом. И после этого автобус не спешил, давал путнику придти в себя, проверить, не забыл ли он что-нибудь еще. Вообще, никто никуда не торопился,

само по себе удовольствие. Сзади переговаривалась цыганистая молодица и ее спутник, гораздо старше и неопределенного вида. Были они откуда-то с востока Украины, теперь приехали в Лавру, и Кременец посетили. Женщина особенно волновалась, ничего не пропустить, все успеть. Мужчина был в приподнятом настроении. Он, по видимому, чуть выпил и благодушествовал.

— Выйду на пенсию, — говорил он, смешивая украинские и русские слова, — возьму бесплатный билет, и всю Украину объеду.

— Ой, пап, перестаньте, куда это вы поедете.

— А вот поеду. На электричке пенсионерам бесплатно.

— На электричке?

— На электричке.

— А в Почаев як?

— Велосипед маю.

— Чего ж сейчас не брали?

— Так ты ж со мной. Что я тебя на раме повезу?

— Не выдумывайте. Как мамы нет, так вы храбрый. Лучше думайте, как завтра до Святой Анны доехать.

О народе трудно говорить, вот так, сразу за всех, но если все же попытаться, то здесь он какой-то смягченный. Тем более, что постоянно попадаются богомольные странники и мечтатели. Их здесь много. Ближе к Почаеву стали встречаться придорожные трапезы. Женщины в белых платочках и принаряженные на тот особенный лад, с которым идут просить Божеского расположения и заступничества, восседали вокруг разложенной на одеялах и брезентах еды. Тут же стояли их автобусы, фургончики. По выражению лиц, по непривычно расслабленным позам, по праздничному оживлению, видно было, что впереди их ждут чудеса и возвышенные хлопоты. Увидеть своими глазами как спускается с купольного поднебесья Чудотворная Почаевская икона, набрать водицы из-под стопы Божьей матери, выстоять праздничные литургии в Успенском и Троицком храмах, приложиться к святым мощам, съездить к источнику Святой Анны, еще много чего.

Пока мы неспешно добирались до Почаева, я пытался вникнуть в нравоучительные двенадцать добрых дел, перечисленные на дверях Богоявленского собора.

Правда от смерти избавляет.

Представить не просто. Иную смерть, кроме физической, трудно вообразить, а физическая — очевидна. А вот к следующему тезису комментариев не нужно. Про Кременец лучше не скажешь. *Смирения сам сатана трепещет.*

Так оно и есть…

Киев, 2002 год

Уроки колдовства

Я получил приглашение от Веры, зайти к ее подруге Гале — поэтессе. Галя — тонкий, изящный, подсушенный стебелек с седой челкой и раненым взглядом. Когда-то Галя работала в Институте этнографии, поехала в экспедицию в Карпаты. Давно, лет двадцать назад. В Карпатах познакомилась с человеком по имени Иван и стала наезжать к нему, погостить. Жить у Ивана (Ивасика, как его называла Галя) было интересно. Он был местным целителем, и год от года слава его росла. Для Гали место всегда находилось, тем более, она дома не засиживалась, с утра уходила в лес. Там ей легко думалось и сочинялось. Галя представляла собой неизбывный тип русской интеллигентки, от которого на душе почему-то становится празднично и тоскливо одновременно. Объяснить трудно, но, прочувствовав, уже не забудешь. Столетие миновало, все переменилось, а тип сохранился. Только наметился переход с папирос на сигареты с фильтром, хотя старшее поколение еще докуривает «Беломор».

В хождениях по лесам Гале было хорошо. Поэты ценят такие минуты. Потому Галя любила наезжать к Ивасику. Но в последний приезд вдохновение стало барахлить, как-то разладилось. Причем странно. Поначалу шло, как прежде. Пока Галя карабкалась на любимую поляну, рифма раскручивалась сама собой. Как барабан колодца, она посылала пока еще пустую емкость — сосуд вдохновения, чтобы вернуть его полным живительной влаги — слияния элементов первоосновы, рождающих поэзию. Не зря ведь *источник, родник* служат расхожей (в банальности — истина) метафорой творчества. Первая пчелка-разведчица еще только зависала над трепетным цветком вдохновения, еще чуть слышный зарождался перебор таинственных касаний, и клейкая нить поэтического размера стежок за стежком заполняет форму, взад-вперед, будто раскачивается мостик над карпатским ущельем, над кипящей внизу водой. Хорошо! Но вот ощущение, которое Галя ценила и считала своей настоящей жизнью, стало глохнуть. Какие-то помехи разрушали гармонию, толкали под руку, рвали нить, рассыпали нанизанные камешки. Становилось почему-то обидно и даже мучительно. Появилось странное тяготение к украинским словам, как у беременной к мелу — зачем-то нужно, но зачем? Нет, все было бы ничего. Галя любила музыку украинской речи, но как творить на двух языках сразу? Даже просто изъясняться, если, конечно, грамотно. А так в голове, как в плохом радиоприемнике, постоянно вертелась словесная чушь, шум,

обрывки разговоров, даже музыка, будто это была не драгоценная голова поэта или, точнее, поэтессы, а местный базар перед Пасхой — ярмарочный балаган с гирляндами бумажных цветов, геометрическими узорами мохнатых одеял-лижников, акварельным разливом керамической глазури — кружек, мисок, составленных в долгие ряды и отзывающихся на цвет выбеленного весеннего неба, полного ожидания Пасхального чуда.

Как избавиться от навязчивого бормотания? Сначала Галя объясняла просто — жизнь в украинском селе, среди неиспорченного городским кошмаром языка должна дать результат. Именно ей, работающей над словом. Но почему так? Что за испытание без понятного смысла? Чепуха какая-то. Но постепенно стало проявляться. Среди привычной мешанины стали проскакивать фразы примерно такого содержания. *Допоможі нашій Україні. Допоможі рідній Україні. Ти ж добра жінка, допоможі.* Много раз подряд. Причем заклинания проявлялись не механически, тупо, а проникновенно, хотелось немедленно все бросить и бежать помогать. Отзывчивая Галя была совсем не против, но (опять же) что делать? Прятать, размножать, бинтовать… Кого? Где? Не было ясности. А благородные призывы мешали сосредоточиться и искать свое. Галя тяготела к лирике личной, а не гражданской и стала нервничать. Потом голос прорезался полностью, окреп и принял устойчивую интонацию, с ним стало можно общаться и спорить. Именно на этой стадии врачи ставят диагноз. Шизофрения. Никаких сомнений. Видно, и Гале была пора, тем более, что она подрабатывала сценариями просветительских фильмов, в том числе, на медицинские темы. Все становилось ясно. Она еще (наивная) попыталась объясниться с голосами, но те заладили хором и слышать ничего не хотели. *Допоможі, допоможі.* Вот так самая возвышенная и спасающая идея может обернуться безумием. Галя долго стояла босиком, прислонившись к сосне, вдыхала глубоко, даже приклеилась к дереву затылком. Не полегчало. Опять и опять. *Допоможі допоможі.* А чем? Самой было впору вызывать карету. Она еще посидела на склоне, глядя на туман, поднимающийся со дна ущелья, на склон, укрытый, как камуфляжем, серыми, коричневыми, зелеными квадратами и угольниками огородов. Как-то мрачно и болезненно получалось. Приедет — и тут же на обследование, на рентген черепа (черепа! — страшно звучит), пенсию, наверно, дадут. Но тут прозвонили в церкви. Наступал светлый вечер. Галя еще прошлась, стараясь не нарушить хоровод луговых цветов. Пора, пора прощаться с прекрасной жизнью, зачерпнуть пригорошней

томительное безумие, в котором пребывают поэты и бунтари, спрятать в него лицо, забыться в коварном, вкрадчивом шепоте. Галя еще подумала, что ее шизофрения похожа на приступы зубной боли, то стихает, то разгорается, пульсирует, долбит. Вот опять. *Допоможі.* А сейчас передышка. Чуть ниже потянулось с мычанием стадо. Опять ударил дальний колокол. И тут до Гали дошло. Ну, наконец, до чего просто. Она слетела с горы, перебежала мостик и ворвалась в дом. Ивасик сидел спиной и позы не изменил.

— Ивасик. — Сказала Галя твердо. — Зачем ты меня уговариваешь? Я — за. Только прошу, не мешай. А ты, прямо, агитатор.

Тут Ивасик обернулся. Лицо у него оказалось виноватое. — Галя. *Ти ж мене вибач. Я ж не сильно. Ти, мабуть, у Києві усіх знаєш. Скажі там. Це моя мрія*[9].

— Ничего себе не сильно. Я чуть с горы не свалилась, две недели только и слышу. Допоможи, допоможи. Поехали, сам допоможешь. Посажу перед ЦК и уговаривай. Хоть целый день. Я тебе буду передачу носить. Или нет, перед ЦК тебя арестуют. Лучше перед *Спилкой*. А то письменныки так славят, что стыдно слушать. А меня не агитируй. Я — за.

— *Ти мені підкажі, хто допоможе. Я своіх загітував усіх. Це ж вам — росіянам потрібно прояснити.*

— Лично я согласна. Меня больше не трогай. И росияне согласны. Ты ЦК уговори, диячив вашых.

— *Я нікого там не знаю.* — Признался Ивасик. — *А тебе знаю.*

— Начинай с райкома. — Посоветовала Галя.

— *Мабуть так і прийдеться.* — Вздохнул Ивасик. — *Але ж скільки з ними роботи буде. Ой, матінко.*

— А что ты думал? — Сказала Галя безжалостно. — Это тебе не я. Это тебе райком. — И увидев, что Ивасик приуныл, утешила. — Ничего. Я тоже поговорю со своими.

— *Поговори.* — Попросил Ивасик. — *А я буду своє робить.*

В тот же день голоса стихли, Галя прожила у Ивасика еще две недели. Время это запомнилось ей, как самое счастливое. По возвращении в Киев Галя выполнила обещание и довела просьбу Ивасика до сведения своих друзей, в основном, художников — людей творческих.

— Я полностью согласна. — Подтвердила подруга Вера. — Давно пора всем дать свободу. Мы тоже хотим.

Оставалось уговорить остальных. Тут могли возникнуть трудности, но само время меняло обстановку. Ивасик бывал в Киеве и останавливался у Гали. Занимался он, как утверждала Галя, только врачеванием, но кто в таком щекотливом деле

раскроет правду. Только-только началась антиалкогольная кампания. Как раз для Ивасика, он предпочитал общаться с трезвыми. Известно, что Галя несколько раз водила его в буфет *Дома писателей*, их *Спилка* находилась рядом с ЦК. При желании Ивасик мог разослать свои флюиды по двум организациям сразу. Тем более, что из писательского буфета убрали спиртные напитки, шампанское, и писатели пугали друг друга жуткими слухами, что вот-вот уберут пиво. А ведь, могло быть и так… По закону сообщающихся сосудов (а бутылка и есть самый лучший сосуд) понижение алкогольного градуса закономерно привело к повышению градуса общественного. Без пива социалистический реализм быстро становился критическим. Умы разогревались. Галя, конечно, клялась друзьям, что никакой агитации Ивасик не вел, она бы первая ощутила. Как знать. Со стороны, действительно, все выглядело вполне прозаически. Ивасик пил кофе и радовался, какой сытой и трезвой жизнью живут писатели. Сам он к тому времени полностью посвятил себя здравоохранению. Спустя несколько лет, когда я получил от Ивасика его визитную карточку, в ней значилось *Мельфар*. На русский язык весьма приблизительно можно перевести как *Целитель*, без дальнейших уточнений. Но тут я забегаю вперед…

Время шло, и мечты Ивасика стали сбываться. Причем не только мечты, не только Галю он уговаривал, кто в это поверит. Ивасик стал известен. И он приехал в Киев, официально зарегистрировать свою профессию. *Мельфар* — такой же трудящийся, как все мы — люди попроще, и требует министерского учета. Теперь, когда Ивасик стал наезжать часто, народ потек со всего города. Ивасик считал что талант мельфара — явление общественное, требующее полной отдачи, растворения в нуждах и бедах страждущих. Поэтому не отказывал никому. Галина квартира подверглась страшному нашествию.

Обо всем этом я знал от Веры, но теперь предстояло убедиться самому. Галя жила в бельэтаже монументального дома послевоенной архитектуры напротив выхода из метро «Университет». Дом окружали облетающие каштаны. На лавочке перед входом густо сидели. И стоя, толпились, как бывает перед выносом покойника. — Это к Ивасику. — Пояснила Вера. Дальше мое удивление только росло. На лестнице под стеной стояли плечом к плечу. Дверь в Галину квартиру была приоткрыта. Разговаривали тихо. Вера шла уверенно. — Вчера было столько же. — Пояснила она. Вся прихожая, коридорчик на кухню были сплошь уставлены людьми. Стояли в пальто, без эмоций, с мечтательным, каким-то нездешним видом. Таких — отрешенных

можно встретить и в обычных очередях, но здесь их было больше. С прикрытыми глазами, погруженные в себя, как караван в середине многодневного пути, когда до оазиса еще шагать и шагать, и лучше пережить неизбежное в полусне. Вид у очереди был относительно здоровый, костяк составляли родственники страждущих. Физического присутствия больного не требовалось. Ивасик находил недуг по личным вещам — платку или простыне, извлеченной из-под немощного тела.

Тут Вера взяла меня за руку и затянула в комнату, в лучшее время — Галину спальню. И теперь комната оставалась за ней, Ивасик распоряжался в другой. Гали не было, была ее сестра Нина. Она приехала из Москвы. — Отдохнуть. — Сказала Нина с большим сарказмом. Лицо у нее было схожее с теми в очереди — спокойное, даже более стоическое, чем у тех, в коридоре. — Все когда-нибудь закончится, — читалось на этом лице: и осень, и зима, и эта толкучка. И еще неизвестно, что сулят перемены. А пока нужно терпеть и трудиться, трудиться и терпеть. И давать пример другим — более нетерпеливым, и нервным. Ведь чего нельзя допускать в нашей действительности — разочарования, слабости и уныния.

Лицо у Нины было бледное, а лоб ярко-розовый. — Только сейчас компресс сняла, — пояснила Нина, кутаясь в платок. — Голова трещит.

— Здесь, наверно, вредно постоянно находиться. — Посочувствовал я. — Энергетика.

Нина только глянула. Она бы давно уехала, но не может бросить Галочку одну *в такой ситуации*. Ирония, в словах, конечно, была, но особенная, когда ничего другого не остается, и сама ирония служит пробой на жизнестойкость. — Народ, — бесстрастно рассказывала Нина, — повалил с самого приезда Ивасика и прибывает лавинообразно. На кухню выйти нельзя. Чай, вот, пейте, — Нина кивнула на электроплитку. — Все время горячий держу.

— Продукты есть. — Нина продолжала объяснять обстановку. — Ивасику приносят. Колбасу. — В углу были свалены штук десять колбасных палок. — Куры. Готовить негде. К холодильнику не подойдешь. Бульон на плитке, но лучше из кубиков, возни меньше. Денег Ивасик не берет категорически. А продуктами не все догадываются.

— Может, экономят. — Предположил я. — На Божьем человеке.

— Ах, — сказала Нина, — какая теперь разница. Хорошо, что я воду запасла…

Насчет туалета я спросить не решился.

— Жить можно. — Согласилась Вера. Честно говоря, я сомневался. Но у Веры недавно был пожар в доме, и она знала цену испытаниям.

— Да. — Подтвердила Нина. — Мы с Галкой меняемся. Она звонила, должна скоро придти. Я дверь на палку закрываю. Кушайте еще колбасу. Возьмите по курице с собой, все равно хранить негде.

— А за окном. В сеточке подвесить.

Нина махнула рукой и добавила туманно. — Теперь все равно.

В таких странных местах самые обычные вещи оказываются неожиданными. А заодно напоминают, как глубоко цивилизация пустила корни. Я удивился, когда зазвонил телефон.

— Возьмите трубку. — Попросила Нина. — Только построже. Можете их *послать*. Я стесняюсь. А вы мужским голосом.

— Кто это?

— Из газеты. Они все время трезвонят.

Действительно, оказались из газеты. Обходительный голос попросил позвать целителя. Я ответил, что невозможно. Тогда (только пожалуйста, не кладите трубку) скажите, что завтра придут на интервью. Просто передайте. А с кем я разговариваю?

— Друг. — Представился я. — Друг целителя.

— Просто напомните. Мы договаривались. Завтра утром.

— Боже, какие сволочи. — Сказала Нина. — Ивасик никому не отказывает. Газете, тем более. Так они пользуются. Час сидит, берет интервью, в потом лечит всю родню. На халяву.

— Без колбасы?

— Какой колбасы. Вот с такими портфелями прут. Как в прачечную.

— Не понял.

— Что тут непонятного? Вещи тащат, наволочки, белье. Ивасик приворожить может. Так они на любовников, любовниц. Один просил порчу наслать, знаете, на кого? На главного редактора. Жалуется, он им — демократам кислород перекрыл. С помощью Ивасика извести хотят. Узнали, что Ивасик за Украину болеет. И на своего: — Империалист. Росиянин. — Глаза у Нины были больные.

— А что Ивасик?

— Отказал. Потом ходил, переживал.

— Вам, когда все кончится, нужно дезинфекцию вызвать.

— Еще спрашивают. — Нина продолжала о своем. — За сколько вы ему сдаете квартиру? Вы слышите? Здесь и дезинфекцию, и ремонт нужно делать.

— А как номенклатура?

— Не заметно. — Нина сама удивилась. — В очереди стоять не привыкли, а через голову сейчас не больно попрешь. Разорвут. Я говорю, самая беспардонная публика — журналисты. Натурально.

— Но, вообще, помогает?

— Говорят, многим. — Серьезно отвечала Нина. — Потому и народа столько. Ешьте колбасу. Сейчас чай будет. В чашках завариваем. Курить хочется, Галка должна принести.

Но чаевничать не дали. Дверь распахнулась и в комнате объявились две распаренные дамы в шубах из синтетики.

— Мы тут посидим. — Смотрели они нагло.

— Боже мой. — Сказала Нина. — Вы дверь на палку не закрыли.

— Здесь жилая комната. — Сказал я.

Действительно, вроде бы, обстановка убеждала. Но то в обычной жизни. Сейчас, когда за дверью ощущалось шевеление масс, наше чаепитие казалось недопустимой роскошью.

Находчивость проявила Вера. Она освободила заваленный книгами стул — единственный еще свободный и понесла в коридор.

— Один на двоих. — Предупредила Вера.

— Нужно постоянно дверь закрывать. — Сказала Нина, когда штурм был отбит. — Они думают, что здесь зал Интуриста.

— Вот. — Вера вернулась с вылазки и положила перед Ниной две сигареты. — Одолжила в очереди.

— Я тоже выходила. — Сказала Нина. — Мне не дали.

— А за что вам давать? — Спросил я. — Расселись, комнату занимаете…

Пришла Галя. Увидела нас, не удивилась, поискала глазами, куда сесть, и устроилась на кровати.

— Вы на прием?

— Галя — это я. — Сказала Вера.

— А почему ты не можешь на прием?

— Мы бы с колбасой пришли. — Сказал я.

— Уходим, уходим. — Заторопилась Вера.

— Знаешь что. — Сказала Галя рассудительно. — Иди к себе. Мы скоро будем делать перерыв. Ивасик с утра не отдыхал. Если захочет, зайдем к тебе.

— Галя, опять они приходят. — Пожаловалась Нина.

— Я тебе сказала, — строго отвечала Галя, — закрывай дверь на палку и не реагируй.

— Если я не буду реагировать, будет, как позавчера.

— А что позавчера?

— Ерунда. — Галя махнула рукой. — Поздно вернулась, про

дверь забыла. А там в коридоре с вечера засели дожидаться. Ночью мужики заявились. Чтобы мы койку до утра сдали.

— Ничего страшного. — Утешила Вера. — У нас после пожара и не такое было.

— Ты, Верочка, для нас не пример, — Чопорно сказала Галя. — С тобой всегда какие-то истории…

— Вот они — русские женщины. — Думал я. — Можно вообразить, чтобы какую-нибудь англичанку или француженку зрелых лет удалось втравить в такую передрягу? Из-за чего? Из общественного долга. Они понятия такого не знают. Но живут. А тут буквально на глазах совершаются героические усилия по обогреву космического пространства…

Мы удалились под неодобрительные взгляды. Еще бы. Маяться, пока другие чаи гоняют. На прощанье я оглянулся, Ни апокалиптических чисел, ни прибитых черепов, ни листьего хвоста, куриной головы, или хотя бы ветки омелы — ничего этого я не увидел. Колдун, как и наши женщины, был не чета европейским, без форса и подделок. К тому же трудился бескорыстно, что и вовсе не принято. Белый цвет двери. Тени ползли, выбиваясь из-под неплотно пригнанного порожка, дымок клубился, казалось, болезни покидают измученные тела и усилия не напрасны…

Спустя два часа мы сидели в Вериной комнате вместе с Иваси-ком. Невысокий человек с черепом чуть прикрытым седыми волосами, с крестьянским темно золотитым цветом лица, и широкими скулами. Очки в простой оправе, каких в городе не осталось, сам живой, готовый к общению. На лацкане серого пиджака — блакитно-голубой флажок. Сбылась Ивасика мечта. Но тема эта сейчас неинтересна. Гораздо занимательнее профессия. Мы с Верой сидим бодрые, а Галя в белой шубке улеглась на составленные стулья и наблюдает за разговором, прикрыв глаза.

По дороге Ивасик купил книги: буддийского врачевателя Бадмаева, и вторую — по восточной медицине. Книги сложил неподалеку и поглядывал на них нетерпеливым взглядом книгочея.

Когда имеешь дело со знаменитостью, в любопытстве есть что-то нескромное. Неудобно выспрашивать в лоб. Но демократизм Ивасика невозможно переоценить.

Он рассказывает, как строга природа к человеку. Что болезнями он платит за грехи предков вплоть до седьмого колена. Что только молитвой удается разобрать обрушенную стену и вызволить из-под нее страдальца — жертву давних преступлений. Не ведали, что творили, а нынешним теперь отвечать…

Потом Ивасик достает из кармана шлифованный кругляш, похожий на морскую гальку. В разных направлениях на деревяшку намотаны струны, как леска для рыбной ловли. Ивасик разматывает самую толстую, вытягивает перед собой и свободным концом неожиданно цепляет себе за зуб. Они у него все металлические, покосившиеся, струна приходится точно впору. Это — музыкальный инструмент *дрында*. Перебирая пальцами у себя под носом, Ивасик извлекает из дрынды прыгающую мелодию, добавляет еще струну и усложняет произведение. — Это для Гали.

Галя жмурится, не открывая глаз. — Спи, спи, — говорит Вера, хотя под дрынду спать трудно. Музыка явно танцевальная. Дома Ивасик руководит ансамблем из шести женщин, они играют на таких дрындах. Недавно выступали на фольклорном фестивале в Праге. Дипломы получили.

Мне, однако, мало. Все слишком просто. Хочется историю.

Ивасик вытаскивает струны изо рта, аккуратно сматывает, убирает музыку в карман и отвечает на мой вопрос, я только потом спохватываюсь: я ведь не спрашивал, только подумал.

— *Це є такі люди, що несуть в собі зло.*

— А как у меня?

— *У вас є. Але не дуже. І ви через нього не маєте спокою. Воно в вас хоч невелике, але дуже прив'язчиве.*

— Как это?

— *Бентежить вас. Но то може бути. Є такі, що з ним мирно живуть, хоч мають набагато більше* [10].

Ивасик смотрит ровно поверх съехавших на нос очков, глаза у него бледно-голубые, а взгляд точный, неожиданный для случайного разговора. Потом переводит взгляд на Веру. — *А в вас зовсім нема. Зла нема.*

— Потому ты, Верочка, меня раздражаешь. — Сонно говорит Галя.

— А если захочу, как Фауст? — Спрашиваю я. — Много всяких планов. Хочется успеть побольше.

— *Я бачу.* (Я вижу.) — Говорит Ивасик просто.

— Ой, не надо. — Пугается Вера.

— *Це таке кокетство.* — Успокаивает ее Ивасик, а на меня смотрит серьезно. — *Але треба шукати. Якщо справді треба.* (Но нужно искать. Если действительно нужно.)

— Но где? Я видел в историческом архиве. Расписки писали козаки, когда хотели продать душу дьяволу. Кровью. Оставляли ночью на перекрестке, где нечистая сила. Главное, чтобы креста рядом не было. А теперь крестов не осталось, и нечистая сила гуляет, где хочет.

— *У наших козаків ведмовство було поширене дуже* (сильно распространено). *Я тому знаю, що рід мій по батьківскій лініі йде з самого Запоріжжя. Прадід мій був козацьким полковником. А по материнській — з Галичини.*

— Но где найти нечистую силу? Конкретно. — Спрашиваю я.

— *Вона нікуди не поділася.* — Мягко говорит Ивасик. — *Но треба спочатку прийняти рішення. І вона сама знайдеться. Коли серьозно. А інакше тим не треба кидатися.*

— Ты же — врач. — Упрекает Вера.

— *Це може мати непоганий результат.*

— Представляю. — Хмыкает Галя.

— *Раніш її можна було придбати.* — Сообщает Ивасик[11]. — *Где?*

— *До війни. Ще до першої.* — Ивасик устраивается удобно, прихлебывает чай, напоминает телевизионного ведущего из передачи «Спокойной ночи, малыши». — *За Польщі* (он произносит Польщ¢і с сильным ударением на последнем слоге*) було поблизу від нас таке місто Сегід. Тепер воно десь в Румунії, або в Угорщині. Так там у крамниці можно було купити собі диявола.* (Во времена Польши был недалеко от нас такой город — Сегид. Теперь где-то в Румынии или в Венгрии.)

— Да, да. — Я вспоминаю графа Дракулу. Как раз он из тех мест.

— *Це коштувало багато, але було можна.* — Продолжает Ивасик. — *Треба було знати, що то за крамниця. Вона така собі звичайна. Заходиш. Можеш не пояснять. Вони самі розуміють, що тобі треба. Придивляються, хто ти. Потім у першій кімнаті сплачуєш свої гроші і йдеш далі. У другій посередині стоіть стілець, а поруч крутиться такий собі панок. Каже роздягтись. Роздягає геть начисто і садовить у це крісло, зовсім голого. Попереджае, щоб ти не рухався і виходить. Там холодно, але ти мусиш сидіти. і тоді в кімнату заповзає білий змій. На голові має золоту корону. Повзе до тебе, ти сидиш. Заповзає на тіло і повзе далі по ньому, а сам жалом злизує мирро. На руках, на лобі, скрізь. Він сам знае, скільки його де було. Ще з крещення. Знаходить і злизує дочиста, геть усе. Сам холодний, наче мрець. Якщо ти хоч трохи здригнувся, усе пропало. Він тебе кидає і зникає. Усі твої гроші — то даремне. Но якщо ти висидів, то тебе вдягають в свої ж речі і ведуть до третьої кімнати. Там ти отримуеш такого сосуда, наче пляшку, але квадратну. На дні гойдается собі скаміечка, а на ній хлопець. В синьому камзолі, червоному плащі, на голові шляпа з царським пером, наче з жар-птиці. Сидить собі і погойдується. Дають тобі того сосуда і маєш йти з ним додому. Там мусиш стати обличчям між заходом і північчю. Ще можеш подумати. А*

далі, якщо не вагаешся, відчиняй. І тоді вже все. Бачиш, що там всередині скамієчка пуста, а в тебе на плечі — чорний кіт. Це і є твій диявол. Він тобі забезпечить, що тільки зажадаеш: гроші, скільки схочеш, золото, майно, худобу, жінок самих вродливих. Але по смерті забере твою душу до себе. От як було.[12]

В рассказе меня поразил облик дьявола. Камзол, шляпа с пером, изящество, корректность. Не наш отечественный душегуб с ржавым, как грабли, клыком, сажей в немытых ушах и хвостом в адской смоле.

Женщинам тоже понравилось. — А у Гойи они такие страшные — сказала Вера.

— По мере приближения к капитализму внешность и манеры будут улучшаться. — Предположил я. — Конкуренция.

— Еще неизвестно. — Галя села. — Ивасик пошли. Больные ждут. Ты за сегодня и завтра должен всех принять.

— А потом?

— А потом он идет в Министерство. Экзамены сдавать по нетрадиционной медицине.

Ивасик натянул серое пальто, шапку, взял в руки книги и стал похож на обычного горожанина, поспешающего в свой микрорайон, в тесную квартиру с коридором, завешанным сохнущим бельем, с линолеумом, выцветшим половиком, с сонными комнатушками (хорошо, если две), с приглушенным телевизором, с застывшей тишиной ночной кухни, винегретом в прикрытой тарелке и чуть теплой жидкостью в треснувшем чайнике с ситечком в металлическом носике. Представить человека редкой профессии там было невозможно. А, впрочем, почему нет?

Мы вышли на улицу и погрузились в темень. Вера с Галей, взявшись под руки, ушли вперед, а мы с Ивасиком побрели, не торопясь. Провинциала видно по тому, как он переходит улицу, присматривает издалека место, готовится, суетится и все равно умудряется попасть между встречных машин, на середине перехода, о чем будет вспоминать, как о счастливо завершившемся приключении. В сущности, улица, город были для Ивасика тем же, что ночной лес и река (не пляж, а именно, река) для коренного горожанина. Тем более, что улицы не освещались, и машины на подъеме с Крещатика выскакивали неожиданно из влажного сумрака. У Ивасика даже появилась одышка от напряжения. Но на разговоре это не отразилось. Я расспрашивал обо всем подряд: о переменчивой карпатской погоде, о голоде, о технологии сбора трав на полонине, о послевоенной партизанской войне. Вопросов я почти не задавал, Ивасик угадывал мой интерес. Я узнал о его детстве, о страстном

желании читать. Отец брал его на базар, в город и оставлял в книжном магазине или в библиотеке. На день или даже на два, по договоренности с хозяевами, за мелкую работу. Там он читал до одури все подряд. Потому сейчас свободно понимает и читает по русски, русские книги там тоже были. И потом он читал всю жизнь, не получив никакого образования, читал еще за Польщи, когда пришли русские, опять немцы, опять русские и так до сих пор.

…Через день я договорился сопровождать Ивасика в Министерство. Я подошел к дому, он спустился, и тут я застыл, пораженный. Ивасик был, как гуцул с картины: в вышитом кафтане (кептарике), расшитых штанах, высокой расшитой шапке с пером (ей Богу), в высоких вязаных носках — постолах и кожаных, похожих на галоши, черевиках с бантом. В руке — длинный резной посох с топориком вместо ручки. Ивасик нес посох наперевес, а иногда пользовался, ударяя об асфальт. Если бы на этом месте забил фонтан или проросли фиалки, я бы не удивился. Лицо у Ивасика было непреклонным и строгим. Даже очки смотрелись грозно. Вот теперь он был похож на мельфара. И мы отправились на экзамен. Народ дивился, я в обычной одежде ощущал себя крайне нелепо. Ивасик не отзывался на любопытные взгляды. Шли пока молча. Мне в голову некстати лез вчерашний спор с приятелем. Ученый экономист — он пребывал в состоянии эйфории. — От России нам нужно держаться подальше. — Предостерегал он. — Они нас заглотят.

— Главное, чтобы всем хорошо было.

— Сами разберемся. Неизвестно, что они там нареформируют.

— А литература? — Заводился я. — Киев — мать городов русских. А русскую литературу будут преподавать как зарубежную. Час, два в неделю. Это как?

— Логика развития. — Приятель пожимал плечами. — Именно зарубежная. А какая же?

— *Російська література,* — заговорил вдруг Ивасик лекторским голосом и, главное, ни с того, ни с сего, — *то найбільше багацтво, що мають слов'янські народи. Для нашого самосвідоцтва немає нічого більш важливого.*

— Какая, какая? — Я опешил.

— *Російська.*

— А украинская?

— *Українська — рідна. Мова батьків. Вона, як дихання. А я кажу про інше. Без чого весь наш слов'янський світ був би біднiший. Не тільки про товариство. Але про наш спільний вклад до людства*[13].

— Чего вы вдруг об этом заговорили?

— *Не знаю.* — Ивасик глянул на меня искоса. — *Так собі. А взагалі все буде добре.* (А вообще все будет хорошо).

— Что *все*? (Что все?)

— *Що вас турбує.* (То, что вас беспокоит).

— Вы, я вижу, неплохо подготовились к экзамену.

— *А як же.* — Отвечал Ивасик скромно.

Киев, 1996 год

Сказанного достаточно, чтобы сделать любые выводы

Вот перед вами белый лист былого.
Страница — топкая страна.
В ней крылья наши.
Имена.

Георгий Фенерли

С Жорой я познакомился раньше, чем его увидел. Мой товарищ — художник Борис Лекарь показывал в мастерской свои работы (у меня была привилегия водить к нему знакомых), и среди них непременно этот портрет. Портрет Георгия Ф. — философа-метафизика. Так художник его представлял. Он показывал работы с некоторой поспешностью, пробежкой перенося их со стеллажа на мольберт (к концу показа темп убыстрялся), но портрет выделял, акцентируя изображение названием и даже паузой (минута молчания!), подчеркивающей значительность момента. Давал насмотреться. Философ-метафизик. Ого. Зрители напрягались. Ишь ты, метафизик. Признаюсь, я отнесся скептически. Чего вдруг? Хотя портрет будоражил. Лицо занимало всю поверхность работы, будто человек прильнул к оконному стеклу и в таком состоянии пытается что-то сказать. В распахнутые черные глаза художник добавил безумия. Смолоду такое выражение в них присутствовало. Это я увидел позже на фотографии. Жаль, я не расспросил Жору об истории портрета. Возможно, и написан он был с помощью такой фотографии, и художник был озабочен не столько живописной задачей, а приданием своей натуре надмирности, к которой всегда стремился. Не помню, было ли тогда в ходу само это слово — *надмирность*, но понятно, что речь шла о некоей экзальтации, личному производству по переработке (в очередной раз) пошлой материи в нечто духовное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Выраженная в названии публичность этого процесса настораживала. Но Жора оказался одним из самых спокойных и рассудительных людей, каких только можно вообразить. Его можно было бы назвать *тихим*, если бы не некоторая двусмысленность, которая кроется в таком

определении.

Борис нас с Жорой и познакомил лет сорок тому назад. Обстоятельства я сейчас не помню, время было древнее, не намного ближе античного, если измерять личную историю в терминах этой науки. Страна жила как персонал в доме престарелых, с надписью *не беспокоить* и собственными заботами, пока клиентов переворачивают с боку на бок, пичкают лекарствами, а верткие помощники потягивают чутким носом застоявшийся воздух, добавляя в него от собственных флюидов. Все это осознается потом, когда под предлогом проветривания в доме разбивают окно, сквозь которое, как на пожаре, тащат все подряд. А то самое несвежее время отмечено Жориными стихами, живущими предчувствиями, ощущениями замкнутого пространства, в котором движение носит характер маятника, от стены до стены, и рифма мечется, как птица в клетке…

Тревога летних дум,
Тревога дум залетных…
Когда фонарь-колдун
Качается за окнами,
Когда
В окраины земель течет вода
И годы
В окраины надежд текут –
Ни дна, ни броду.
Там сказок и печалей
Качания случайны,
И черный бег дорог –
Куда зовущей встречи?
И ночи черный грог
На мир пролит из течи
Пустынь…

Жил Жора всегда в местах прозаических. Первым жильем, где я побывал, была квартира на улице с оглушительным названием, а точнее, *именем* — Шамрыло. Это название представляется мне сказочной роскошью, в духе языческого эпоса народов Севера, первая — маска Шам, вторая — подлинное пугающее состояние натуры из застывшего тюленьего жира и крови. К моменту нашего знакомства первая северная часть имени казалась несменяемой и дарила эпохе показной оптимизм.

Шаманское имя Жоре бы подошло. Он не сомневался в

магическом устройстве мира, и искал дверцу, чтобы туда протиснуться. Как сказал бы Жора, преодолению невозможного противостоит не реальность, а отсутствия воображения.

В том первом его жилище все было аккуратно, подогнано одно к одному, комната представляла замкнутый мир, прочая его часть находилась не только за стеной, но где-то в отдельном пространстве. Жену (Таню) я видел раза два, не больше, и теперь не могу вспомнить ее лица. Кажется, она была парикмахершей. Таня была второй, о первой жене я только слышал (не от Жоры), та была искусствоведом, водила музейные экскурсии и после развода оставила себе Жорину фамилию.

Позже Жора знакомил меня с предками, но я сохранил лишь общее впечатление добротных дореволюционных фотографий, с факсимильной подписью золотом на паспарту и оттиснутым штампом. Жора был отчасти грек, или скажем по другому, еврейской крови в нем не было. Не лишнее уточнение, когда рассказ идет о необычном, настораживающем чуткое обывательское ухо. (Или все-таки караим? Я знал, но почему-то забыл.) Сам Жора был слит со средой обитания обликом и обстоятельствами жизни. Он «не состоял, не привлекался и не участвовал». Он был *странник*, а такие люди не ищут чужого одобрения. Я легче мог представить его поправляющим обувь где-нибудь на обочине Млечного Пути (сравнение в Жорином духе), чем на «обязательном мероприятии», которыми время от времени одаривала нас унылая реальность.

И глаз чугунные решетки
Бросают тени на прохожих…
И полосатые спешат в календари,
Где много места
И неслышен крик
Ни старика, забытого за дверью,
Ни памяти,
Согбенной, как старик.

Внешняя сторона его жизни была проста. Фильмы Жора предпочитал индийские, за ясность отношений, и прямоту противодействия добра и зла. Он — бывший ученый, кандидат наук, стал жить плодами своих рук. С социумом он поддерживал поверхностные отношения и много от него не требовал. *Не заменяй жизнь памятью о ней.* С этой идеей он отказался от карьеры химика, а ударился в ремёсла, изготовление

керамических украшений, шитье модных сумок и дизайнерство, что давало минимальный заработок и свободное время для живописи, чтения и размышлений. В таком виде я его и застал — автором двух книжек, которые были распечатаны на множительной технике и даже забраны в обложку (в то время повод для серьезного чекистского расследования). Книжки излагали *учение* идеалиста-романтика, набор афоризмов (которые интересно перечитывать), притч и поучений на ту же тему.

Учение, как оно было задумано автором, похоже на лодку или плот, построенный для плаванья (строительство как раз и описано), но отвязавшийся и уплывший сам по себе без пассажира. Мне так кажется, но спорить в связи с другими идеями по этому поводу я не стану. Нечто подобное случилось в бурю с плотом Геккльберри Финна. Эту историю Фолкнер (могу ошибаться) считал лучшей книгой американской литературы. И вообще (если вспомнить), перечень предметов, необходимых в плавании (или выброшенных на берег кораблекрушением), занимает воображение во множестве книг, рекомендованных для юношества. Не заменяются ли они с возрастом поиском неких истин? Мне кажется, такова общая судьба всех идеалистов. Нужда в компасе и порохе.

Зарабатывал на жизнь Жора совместно с напарником, таким же, как и он, деклассированным (а как еще назвать?) художником-оформителем. Мастерская была в начале улицы Нагорной в подвальном этаже большого дома. Теперь такие помещения на вес золота, а раньше представляли отстойники для иной жизни. Напарник обеспечивал их обоих (и собственную жену) заказами. Он был человек контактный и общительный. По существу, это была небольшая артель, так что Жора неплохо устроился.

Я помню Жору в разных обстоятельствах, как в декорациях. Мы провели вместе немало времени, дома, а еще больше во всяких прогулках, до которых Жора был большой охотник. Он великолепно знал городские окрестности, в любое время года было на что посмотреть. Летом мы обязательно ездили в Ходосовку — недальний пригород Киева. Вдоль изгородей, за которыми раскинулись деревенские огороды, мы выходили к холмам. Взбирались на покатые склоны, укрытые цветным ковром. Жора хорошо знал растения, но не собирал, *не заготавливал*. К каждому цветку он присматривался как бы отдельно. На верхушке мы усаживались отдыхать, глядя как навстречу нам тяжело восходят взмокшие от жары дельтопланеристы. Они располагались неподалеку, навешивали на спину крылья и бросилась с разгона на лежащий внизу луг. Разговаривали мы мало, лежали и смотрели. Когда забываешь о

времени, разговор только мешает.

И потому в заливах голосов
Растут ракушки желтые,
И ныне, как вчера,
Уходят в промежутки вечера.
И потому за словом непрозрачным
Стоит неизреченного гора.

Исчезал и появлялся Жора внезапно, хоть я знал, где его найти. Но если он искал встречи, то мог быть настойчив. Он звонил мне между двенадцатью и часом ночи, и я, беря спросонок трубку, мог с уверенностью сказать, это Жора. Телефонный голос — негромкий, с покашливанием и посипыванием, как бы с телефонными искажениями, создающими некий потусторонний фон, — очень располагал к разговору именно к ночному. Однажды он меня удивил.

— Да, вот. Медовый месяц…

(За год до этого, во время прогулки, Жора буднично сообщил, что закончил отношения с женщинами).

— А Таня?

— Ушла. Она мне не подходит. И как человек, и в эзотерическом плане.

— В эзотерическом?

— В перспективе — для вечной жизни.

— Как это?

— Вот так. Живем здесь. Потом я ухожу. Или она. И там встречаемся.

— А потом?

— А потом сливаемся в одну частицу. Андрогин.

— Андрогин?

— Андрогин. Ангелоподобная субстанция, образовавшаяся из слияния мужского и женского начала. Андро-гин. От Гермеса и Афродиты. Из нее формируется духовный космос. Что, ты не знал?

— Как-то смутно. А Таня для вечной жизни не подходит?

Жора (кротко). — Она и для земной не очень подходит. Она меня не понимает. А Валя понимает.

— Валя? Это новая жена? Она подходит?

— Точно еще не знаю. Иногда кажется, подходит, иногда нет.

— Ну, хорошо. А как она к этому относится? К язычеству твоему. Она может с тобой не согласиться.

— Это не важно. Сейчас не согласится, согласится в следующем воплощении. Главное, найти друг друга.

— А если не найдешь, что тогда?

— Есть два пути: путь любви и путь отшельничества. Значит, останется второй путь.

— Ну, а дальше?

— Все равно будешь искать. Только в следующей жизни, не в этой.

— А ты, значит, нашел?

Жора (не раздражаясь): — Иногда кажется, нашел, а иногда вижу, что нет.

— Мне кажется, это удобная модель… для некоторых случаев…

— Для некоторых случаев есть более удобное объяснение. А этот путь для себя. Себя надолго не обманешь…

У Вали было плоское монгольское личико и фигурка цирковой гимнастки. Она не восхищала, не разочаровывала, она (скорее всего) озадачивала полнейшей обыденностью. От Жоры этого как бы, не ожидали, хоть, чего было ждать, оставалось неизвестно.

В связи с женитьбой и разменом квартиры Жора переехал в полуподвал на Подоле. Окно выходило в выложенный кирпичом стакан, поверх которого мелькали ноги прохожих. Художник-оформитель звал Валю Валентой, она, по видимому, влилась в артель, хоть в детали я не вникал. Достоинство было только одно — сугубо для меня личное, было легко добираться до нового жилья. Стоило пройти от метро три квартала, прогулка по Подолу никогда не была для меня в тягость.

В Жорином распорядке мало что изменилось, он находил время для общения и искал его, пожалуй, даже более настойчиво. Как ни странно, он любил зрелища. Не вовлеченность в них, как болельщик на стадионе, а присутствием *постороннего*. Помню Велогонку Мира, отставшую на две недели от взрыва в Чернобыле. Трассу отгородили от зрителей барьерами, а в проходах поставили милицию. Стояли они своими компаниями, праздно, заложив руки за спину, или облокотясь на ограждение, ворковали, как девушки на танцплощадке, дожидающиеся приглашения. Потом раздался металлический голос, служивые подтянулись, заглядывая в перспективу улицы. И, наконец, стоящая позади толпа ахнула. Едут. Мимо мчались велосипедисты в длинных трусах, скорченные, как эмбрионы, бешено суча ногами, будто норовили выпасть поскорее из материнского чрева. Никто не выпал. Больше всего народа собралось на площади Толстого, там был вираж вокруг клумбы.

Но и там обошлось.

Потом Жора оказался по киевским меркам далековато — в районе станции метро Святошино (не помню уже, почему), о той квартире сказать нечего. Осталось только одно неслучайное воспоминание. Мы вместе ехали в город. Валя связала два одинаковых белых свитера. Они стояли, держась за руки, посреди вагона, одинаковые (они были одного роста), глядели друг на друга, не отрываясь, и не замечали никого вокруг. Тогда я вспомнил об андрогине.

Последняя квартира была на Харьковском массиве. Валя достроила кооператив, начатый еще до замужества. На новоселье Жора пригласил с утра. Было нас четверо: оформитель с подругой, Жора и я. За завтраком мы выпили водки и отправились гулять по пустынным околицам. Район еще застраивался. Погода была хорошая, майская. Мы стояли на огромном пустыре, как на другой планете, и играли в ножичка. Бросали его в очерченный круг, постепенно отвоевывая друг у друга жизненное пространство, до тех пор, пока на нем можно было разместиться одной ногой. Выиграл оформитель. Мы вернулись в новую квартиру, допили водку и разошлись.

Разгуливать здесь мне довелось еще раз, спустя несколько лет. Ландшафт к тому времени сильно изменился. Мы с Жорой сидели на берегу плоского, как лужа, озера, возникшего во время местных гидротехнических работ. На другой стороне озера стояли новые дома и торчали трубы теплоцентрали. Местность стоило рассматривать в бинокль, пытаясь отыскать что-то интересное, или не рассматривать вовсе. Жора к тому времени был болен и заговаривался. Он подбивал меня съездить вдвоем в Крым, за тем он меня и вызвал, чтобы уговорить. У меня хватило ума отказаться (через месяц он умер), но безрассудной частью своего сознания я понимаю, что был неправ. А пока мы просто сидели на берегу среди кустиков ивняка, курили и смотрели на воду.

Заботу о Жориной памяти Валя взяла на себя. Ежегодно мы собирались в конце апреля. Народа прибавлялось. Валя вела работу, появились люди, невиданные мной при Жориной жизни. Выступал какой-то бородатый мужичок из Перми. Жорино учение распространилось до Урала. Подробностей я не запомнил. Я был поглощен созерцанием шпротины, которую сосед уронил мне на светлые брюки. Он только что вернулся из индийского ашрама и сейчас отметил свою оплошность здоровым индийским смехом. Конечно, все это мелочи, которым не стоило бы придавать значения. Но я стараюсь быть точным, в деталях, как известно, больше смысла, чем в общих словах. Дьявол прячется именно там — это не только констатация факта, а предупреждение. В

метафизике нет мелочей, кто знает, что кого ждет в *иной реальности*. Тут я заговорил Жориными словами.

Потом Валя попросила помочь. Я связал ее со знакомой, она провела Валю по кругам преисподней, и сообщила мне, что результаты неутешительны. У Вали обнаружился рак. Давно было пора оперировать. Валя отказалась. Я поговорил с ней и переубеждать не стал.

Прошел год, и я получил приглашение зайти. На кухне мы пили портвейн. Валя вынесла книгу. Жорину. Она издала. Если бы пошла на операцию, книги бы не было. А так, напечатала. Был еще третий — Сергей, из знакомых, которыми Валя обзавелась после Жориной смерти. Сидели тихо. Валя жаловалась на боли, но как-то легко. Потом задрала свитер и показала грудь. Правая выглядела обычно, а левая сплошь была багрово-черной, зрительно схожей с адским пламенем, как его изображают на иконах.

Разговор между тем шел заурядный. Потом я услыхал звонок. Тут нужно быть точным. Это был реальный звонок, вернее, *звоночек*. Внятный, отличный от грубого дверного и пронзительного телефонного. Звук возник прямо из воздуха. Я, помню, удивился. Решил, что звонят у соседей, хоть звук был где-то совсем рядом, и какой-то иной, необычный. Я так и сказал. Странный какой-то звоночек.

— Это Жорик звонит. — Валя оживилась. Заявление было не слабее самого звонка, и я перевел взгляд на третьего участника застолья. Тот кивком, как само собой разумеющееся, подтвердил. Да, звонит. А что тут такого? Валя убежала в комнату. Я тоже решил отнестись обыденно, будто при таких звонках присутствую постоянно. И оказался прав. Валя вернулась радостная (и вообще ее тогдашнее состояние я бы назвал *просветленным*) и подтвердила, Жорик звонит, не забывает, и говорят они на вполне бытовые темы, как это и бывает при постоянном общении. Правда, хоть обыденно, но она записывает. — И можно поглядеть?.. Валя охотно принесла большую «тетрадь учета» в дермантине, заполненную почти на треть. Красным чернилом, с обозначением дат. — Можно? — Спросил я, удивляясь собственной бестактности. Валя тут же разрешила. Я стал листать. Разговоры, действительно, носили характер будничный. Ничего *запредельного* (любимое Жорино словечко) я второпях не нашел, а вчитываться вот так, на ходу было неловко. — Можно взять? Посмотреть? — Я не могу объяснить, как я решился на эту просьбу. Но Валя согласилась. Она протянула мне тетрадь. Я запомнил ее жест, легкий, открытый. И я остановился. Сразу много причин, и я не стану объяснять почему. Я тетрадь отложил.

В тот вечер Валя была в приподнятом настроении. Как будто закончила все дела и может, наконец, заняться собой…

… Теперь, когда я вспоминаю тот вечер, меня удивляет обыденность собственных впечатлений. Ничего подобного я раньше не испытывал. Я сам услыхал этот звонок. Немного необычный, странный, я бы даже сказал (если так можно о звонке) *деликатный*, но вполне материальный, как любой другой городской или домашний шум. Я же и объявил о нем, не предполагая ничего сверхестественного. И, тем не менее, это был звонок *оттуда*. Я могу поклясться, перекреститься, положить руку на Библию, все было именно так. А если так, то это значит, что перегородка, отделяющая нас от *того* мира, от наших ушедших и близких, прозрачна и тонка. Они помнят о нас, и мы напряжением своей памяти, чувств и веры можем ощутить их участие.

Через пару месяцев Валя позвонила и стала расспрашивать, как унять боли. Такова подлость нашего здравоохранения, оставлять человека одного, без помощи в самые трудные минуты его земного бытия. Мы обсудили, что можно сделать. Валя была спокойна, только жаловалась, что терпеть трудно. Я ей поверил, хоть голос у нее был бодрый, я бы сказал, *незаинтересованный*. Помощь не требовалась. Потом мне позвонили и сообщили, когда похороны. Я хотел еще расспросить, думал, звонит знакомый. Но нет. Голос спокойно уточнил, что таково задание: обзвонить по списку, который составила сама Валя. Фамилия, имя и телефон. Моя фамилия в списке. Вот и все. Не знаю, кого она еще включила, но народа оказалось немного. И лица были незнакомы. Видно, еще из прежней Валиной жизни. Сын приехал, я знал, он был корабельным поваром, коком. Общих знакомых не было. Участников тех самых застолий. Валя осталась Жориной тенью, а с тенью не церемонятся. Ей как бы мстили быстрым забвением. А, может, она сама не пригласила. Я думаю, ее устраивал любой вариант. Она торопилась встретиться со своим Жориком.

… Куда уходит сон названьями деревьев,
Где опадают безымянные цветы,
Веков гранит
Во мне молчит
И дремлет,
И опадает в очи пустоты,
Как ты.

Неизвестно. Возможно, это про любовь. Или про разочарование. Состояние недостаточно точно определено, чтобы судить однозначно.

Однажды, я был бабочкой, вся жизнь которой лишь одно короткое «Ах!». Постигая это новое для меня ощущение времени, я понял, что истина подобна этой бабочке. Она — слишком нежное создание для наших грубых рук: пытаясь завладеть ею, мы ее просто уничтожаем…

Что еще? Как-то я увидел на Жориной руке свежий шрам. Оказалось, от сигареты. Жора прижег руку во время Валиного рассказа о злоключениях ее прошлой жизни. Вполне заурядная история из таких, что у женщины наготове. Я читал (у Хемингуэя) про индейца, который не смог перенести страданий рожающей жены. Но одно дело читать, другое — увидеть собственными глазами. Жора был экспериментатор.

Мы ползем на четвереньках в интригующую даль…

Это Жорино. От себя добавлю. — А почему бы и нет? И опять Жорино. ***Сказанного достаточно, чтобы сделать любые выводы.***

Киев, 2006 год

notes

Примечания

1

Моим спутником был художник Александр Павлов. Мы часто путешествовали вместе.

2

Я видел вырезку из английской газеты: Чемпион Фриц толкает ядро. Видел гражданские права Фрица на вождение машины, мотоцикла и спортивного самолета.

3

Сведения о Королевской фамилии записаны исключительно со слов Фридриха Бернгардовича.

4

Автор работал с профессором А. Д. Динабург и дружил, несмотря на разницу в возрасте. Анна Давыдовна была замечательным человеком — добрым и мудрым, и выдающимся врачом.

5

Автор видел фотографию Ферганюка — дома, на балконе, так сказать, без всяких претензий — и готов подтвердить: вылитый Леонид Ильич. При этом автор с глубоким уважением относится к Л. И. Брежневу, тем более, наблюдая, как история страны пошла дальше).

6

Ольга Анстей (Штернберг) из книги Берега. Стихи поэтов второй эмиграции.

7

— Что ты забыла в этом парке. Все нашли без тебя.

— Мой Карол был там с солдатами.

— Нет там ничего. Люди все перекопали. Нашли, если бы было.

Уходи, потому что нужно спать.

8

— Вот так они ценят независимость. Хорошо, что вы подошли. Теперь с вами пятеро. Можно начинать.

— Четверо. А тот без билета.

— Ну, и что, что без билета. Он что — слепой? Будет же смотреть.

— Ой, мужчина, ходите, ходите, а будто не знаете. Сеанс, когда не меньше пяти билетов в кассе. Того не считайте. Мне директор сказал, пускать его без билета, я и пускаю. А здесь что? Вы, эти двое, девушка… А где еще?

— Так директор того и имел в виду, чтобы был кворум.

— Не знаю, что там за кворум, в кассе четыре билета, а должно быть пять.

— Что вы за женщина? Так и будем ждать? В Киеве зал был полный. А у нас. Позор. Это разве свободные люди? Это — рабы.

— Мужчина, идите и отдохните немного. Рабы, не рабы. Для четверых не будет. Требуете — прямо политбюро…

— Ну, так что? Будем крутить? — Будем, если есть терпение. Идите в зал. Начинаем. Проходите, проходите… О-о… Смотрите, теперь ему в туалет захотелось…

9

Галя, ты меня извини. Я не сильно. Ты, наверно, в Киеве всех знаешь. Скажи там. Это моя мечта.

10

Волнует вас. Но может быть. Есть такие, имеют намного больше, а живут спокойно.

11

Раньше ее можно было приобрести.

12

Это стоило дорого, но было можно. Нужно было знать, где этот магазин. Самый обычный. Заходишь. Они сами понимают, что тебе нужно. Присматриваются, кто ты. Потом в первой комнате платишь деньги и идешь дальше. Во второй посредине стоит стул, а рядом крутится такой себе господинчик. Просит роздеться. И сажает раздетого в это кресло, совсем голого. Предупреждает, чтобы ты не двигался, и выходит. Холодно, но ты должен сидеть. И в комнату заползает белый змей. На голове у него золотая корона. Подползает, ты сидишь. Заползает на тело, ползет по нему, а сам жалом слизывает мирро. На руках, на лбу, везде. Он сам знает, где и сколько его было. Еще с крещения. Находит и слизывает полностью. Сам холодный, как мертвец, Если ты вздрогнул, все пропало. Он тебя бросает. Все твои деньги — зря. Но если ты высидел, тебя одевают в твои же вещи и ведут в третью комнату. Там ты получаешь сосуд, вроде бутылки, но квадратный. На дне качается скамеечка, а на ней паренек. В синем камзоле, красном плаще, на голове шляпа с царским пером, будто с жар-птицы. Сидит себе и качается. Дают тебе этот сосуд и идешь с ним домой. Там должен стать лицом между западом и севером. Еще можешь подумать. А дальше, если не сомневаешься, открывай. И тогда уже все. Видишь, в середине скамеечка пуста, а у тебя на плече — черный кот. Это и есть твой дьявол. Он тебе даст все, что хочешь, деньги, золото, добро, скот, женщин самых красивых. А после смерти заберет твою душу к себе…

13

— Украинская — родная. Язык отцов. Это как дыхание. А я говорю про другое. Без чего весь наш славянский мир был бы беднее. Не только про общество. А про наш совместный вклад в историю человечества.